

РОМАН ГУЛЬ
ЛЕДЯНОЙ ПОХОД
А.И. ДЕНИКИН
**ПОХОД И СМЕРТЬ
ГЕНЕРАЛА
КОРНИЛОВА**
БАРОН А.БУДБЕРГ
ДНЕВНИК





РОМАН ГУЛЬ
ЛЕДЯНОЙ ПОХОД

А.И. ДЕНИКИН
**ПОХОД И СМЕРТЬ
ГЕНЕРАЛА
КОРНИЛОВА**

БАРОН А.БУДБЕРГ
ДНЕВНИК



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1990

ББК 63.3 (2) 712
Г 94

Г $\frac{4702010000-156}{078(02)-90}$ КБ—008-043-90

ISBN 5-235-01493-6 (2-й з-д)

© Издательство
«Молодая
гвардия»,
1990 г.

СЛЕДУЯ КРЕСТНОМУ ПУТИ

*...Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу...*

А. С. Пушкин. «Борис Годунов»

Эти книги — «Ледяной поход» Романа Гуля, «Поход и смерть генерала Корнилова» А. И. Деникина и «Дневник» барона А. Будберга, отражающий события в Харбине и участие автора в колчаковском правительстве 1919 года, — несомненно предстанут перед читателем как своеобразные фрагменты огромной будущей летописи России XX века.

«Походы» взаимодополняют друг друга. Генерал и прапорщик, взгляд «сверху» и «снизу», точный язык документов, реляций, приказов, строго дисциплинированных размышлений главнокомандующего Деникина и пульсирующие болью и страстью живые человеческие образы, увиденные рядовым участником событий Романом Гулем на юге России...

Барон А. Будберг дополнит эту картину дотошно-ядовитым рассказом о зауральской белой эпопее: характеристиками отдельных лиц и скрупулезными, почти ежедневными дневниковыми записями о происходящем на фронте и в тылу у адмирала Колчака.

* * *

В своей мемуарной трилогии «Я унес Россию. Апология эмигранта» (т. 1 — «Россия в Германии»; т. 2 — «Россия во Франции»; т. 3. — «Россия в Америке») Роман Борисович Гуть пишет, что с детства любил генеалогию. Дед Сергей Петрович (отец мамы) показывал ему родословное древо дворян Вышеславцевых. Это широко разветвленное древо, усеянное множеством кружочков, вызывало в мальчике чувство тайны собственного бытия, истока рода, ощущение, что и его маленькая жизнь уже неразрывно связана со множеством кружочков этого древа (по линии матери — с Вышеславцевыми и Ефремовыми, со стороны отца — с Гулями и Вреде, шведского происхождения).

Там же, в своих предсмертных записках, Р. Гуть сочувственно процитирует слова протоиерея Сергея Булгакова, объясняющие отчасти подоснову детской любви:

«Родина есть священная тайна каждого человека, так же, как и его рождение. Тем же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он через лоно матери со своими пред-

камин и прикрепляется ко всему человеческому дереву, он связан через родину и с матерью-землей, и со всем божьим творением... Моя родина... Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своем существе, так что дальнейшая моя, такая ломаная и сложная, жизнь есть только ряд побегов на этом корне. Все, все мое — *оттуда*... Рассказать о родине так же трудно, как и рассказать о матери» (Прот. Сергей Булгаков. Автобиографические записки, Париж, 1946).

Здесь уже названы те главные духовные реальности — родина, мать, божий мир, — которые определили основное содержание жизни писателя Романа Гуля.

Отец его — Б. К. Гуль — был видным общественным деятелем Пензы, нотариусом, домовладельцем и помещиком. В 1913 году в возрасте сорока шести лет от сердечного приступа он скончался. Юноше было тогда семнадцать...

Он родился 1 августа 1896 года, и выкормила его для долгой жизни (умер 30 июня 1986 года в Нью-Йорке) пензенская крестьянка Марья Проина. «В семье у нас была фотография, — вспоминал Р. Гуль, — Марья в полном уборе кормилицы, в кокошнике, в сарафане... держит младенца (меня). Свою «кормилку» я хорошо помню, ибо, когда мне было уже лет десять-двенадцать, она часто приезжала из села к нам посмотреть на «своего Рому».

Позднее, в книге «Тухачевский, красный маршал» (Берлин, 1933), Р. Гуль будет вспоминать, что после домашнего обучения он поступил в Пензенскую первую мужскую гимназию, ту самую, где в свое время учились «разные достопримечательности» — террорист Дмитрий Каракозов, повешенный за покушение на Александра II; неистовый Виссарион Белинский; расстрелянный маршал Тухачевский... Кстати, в те годы многие из неимущих учащихся гимназий жили в доме Гулей на их полном попечении...

Весной 1914 года, окончив гимназию, Р. Гуль поступает на юридический факультет Московского университета.

Летом 1916 года студентов его возраста, перешедших на третий курс, призывают в армию, и Р. Гуль в ноябре 1916 года, закончив четырехмесячную школу прапорщиков и пренебрегши открытыми ему выгодными вакансиями, уезжает в родную Пензу, в 140-й запасный пехотный полк. Это была самая последняя ни-фантерня, самая «последняя пехтура», но молодой прапорщик хотел одного — быть рядом со своей одинокой матерью.

Революция застала его в Пензе. В автобиографической книге «Конь Рыжий» (Нью-Йорк, 1952) Р. Гуль подробно рассказывает об этом периоде своей жизни.

Весной 1917 года с маршевым батальоном Роман Борисович отправляется на Юго-Западный фронт, где началось бесславное так называемое «наступление Керенского». «В моем послужном

списке, — вспоминал писатель, — романтически стояло: «Участвовал в боях и походах против Австро-Венгрии». Верно. Где только теперь эта Австро-Венгрия?»

На фронте он сначала командовал ротой, потом был полевым адъютантом командира полка Василия Лавровича Симаковского. Побывал он и товарищем председателя полкового комитета (от офицеров), где, по собственным словам, пытался как-то «остановить обольшевиченье полка».

«Оставался я на фронте, — свидетельствовал Гуль, — до полного его развала, пока Василий Лаврович мне не сказал: «Ну, Рома, езжайте-ка домой в вашу Пензу!» И я уехал в Пензу в солдатской теплушке, переполненной озверелыми и одичавшими за войну, да еще пьяными дезертирами».

В конце ноября 1917 года В. Л. Симаковский (он был близок к генералу Л. Г. Корнилову) прислал в Пензу нарочного: звал бывшего сослуживца бросить все и пробираться на Дон, к Корнилову. «Пойдем на Москву... наш полк будет охранять Учредительное собрание!» «Увы, — вспоминал через много лет Р. Гуль, — ничего этого не случилось: ни Москвы, ни полка, ни Учредительного собрания».

В эти декабрьские дни 1917 года Россия, казалось ему, была в полном разгаре своего «окаянства». Из народных недр вырвалась ранее невидимая и неизвестная страсть всеразрушения, всеистребления и дикой ненависти к закону, порядку, праву, покою, обычаю. Точно по «Бесам» Ф. М. Достоевского — «все поехало с основ»; исполнилось заветное — «надо все переверотить и поставить вверх дном»; «надо развязать самые низкие, самые дурные страсти, чтоб ничто не сдерживало народ в его ненависти и жажде истребления и разрушения».

Все эти дикие бакуинские бредни (см.: Р. Гуль, Бакунин. Историческая хроника. Нью-Йорк, 1974), как казалось Р. Гулю, воплотились теперь в каждом дне русской жизни. Это был именно тот всенародный бунт, о котором Пушкин писал: «бессмысленный и беспощадный». «Мы в нем, — свидетельствовал писатель, — в этом омерзительном бунте — жили. «Грабь награбленное!» — и в Пензе бессмысленно грабят все магазины на Московской улице. «Жги помещичьи усадьбы!», «Убивай буржуев!» И жгут. И убивают всех, кто «подлежит уничтожению». Ведь нет уже ни судов, ни судей, ни тюрем, ни полиции. «Все поехало с основ», как хотели того Шигалев и Верховенский».

Р. Гуль самым активным образом не принимал того, что происходило на его глазах теперь. Это «теперь», проникновенно писал он, действовало в то время совершенно мистически. «Теперь все по-другому», «теперь власть народная, теперь всем свобода!», «теперь нет тюрем!», «теперь нет полицейских, стражников, урядни-

ков», «теперь все наше, народное!» И я видел воочию, как в это *теперь* народ сдуру, сослепу верит».

Скажем прямо, что позиция Р. Гуля оставалась неизменной на протяжении всей его последующей жизни, отличаясь разве что еще большей резкостью и категоричностью.

«Подпольщики-большевики, в октябрьские дни захватившие власть над Россией, — писал он, — в большинстве своем носили псевдонимы: ...Бронштейн — Троцкий, Джугашвили — Сталин, Радомысльский — Зиновьев, Скрябин — Молотов, Судрабс — Лацис, Валлах — Литвинов, Оболенский — Осинский, Гольдштейн — Володарский и т. д. По-моему, в этом есть что-то неслучайное и страшное. Тут дело не только в конспирации при «царизме». Псевдонимы прикрывали *полулюдей*. Все эти заговорщики-захватчики были природно лишены естественных человеческих чувств... Жизни псевдонимов были вовсе не жизнью людей. Их жизнью была исключительно — партия. В партии интриги, склока, борьба, но главное — власть, власть, власть, власть над людьми».

В декабрьские дни 1917 года «смерть» еще неосознанно ощущалась писателем в странной и страшной тревоге: псевдонимы, по его мнению, несли и физическую смерть множеству людей, и духовную смерть исторической России.

Как показали события, во многом Р. Гуль заблуждался, но нельзя считать его совершенно слепым. Так, он вполне справедливо, как теперь для всех очевидно, сознавал, что российская мужицкая вольница, разлившаяся по стране после Октября, вызвала у части тогдашнего руководства страной известные опасения, считалась «потенциальным врагом». И мужика сначала укрощали комбедами, заградотрядами, продотрядами. И, наконец, Сталин при раскулачивании просто убил «пятнадцать миллиончиков» крестьян, как писал об этом А. И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ». «Пятнадцать миллионов жизней (мужчин, женщин, детей) — это примерно 5 Норвегий, или 3 Швейцарии, или 5 Израилей... И что же? — вопрошает Р. Гуль, хорошо узнавший на чужбине истинную цену левацкой и либеральной болтовни. — Чем ответил на это массовое убийство культурный Запад? А ничем. В левых и социалистических органах статьями о том, что коллективизация может быть «интересным социальным и экономическим экспериментом»! 15 миллионов убитых в России вызвали... «научный интерес»...»

Тогда, в декабрьские дни 1917 года, вспоминал участник «ледяного похода» в старости, «во мне жили два чувства: дневное и ночное. Дневное говорило: единственный путь — ехать на Дон и оттуда силой, железом подавлять всеобщий развал и бунт, дабы ввести страну в берега законности, правопорядка и отстоять идею Учредительного собрания». Но ночью молодого офицера охватыва-

ло другое, жутко-пронизывающее чувство. Ему казалось, что Россия летит в пропасть и «дна у этой пропасти нет и никогда не будет, что страна гибнет навсегда, навек».

«Признаюсь, и теперь, через 60 лет, — писал он уже в 1977 году, — ко мне то и дело возвращается это ночное чувство. Кажется, что стремительный лет России в бездонную пропасть не кончился и через 60 лет, что Россия все еще куда-то летит и летит, не достигая дна. А до дна дойдет только во всеобщем космическом атомном катаклизме, когда и она, и другие страны превратятся в отравленные полупустыни с миллионами трупов».

В сочельник 1917 года Роман Гуль с братом Сергеем (скончавшимся в 1945 году во Франции) все же решают поехать на Дон, к Корнилову, на вооруженную борьбу с большевизмом.

В «ледяном походе» писатель участвовал как рядовой боец Корниловского офицерского ударного полка... На Кубани под командой Кореновской в атаке на красный бронепоезд («мы шли на него с одними винтовками») он был ранен в бедро пулеметной пулей. «Попади красная пуля на полвершка правее — перебила бы кость, и меня бы оставили умирать на чужом, темневшем вечернем поле, — честно признавался Р. Гуль, — таких раненых не подбирали. Тыла у нас не было. И меня, наверное, добили бы красные. Но пуля, к счастью, не перебила кости, и меня взяли в обоз с ранеными. В обозе раненых я и доделал ледяной поход».

Когда братья (Сергей был ранен тоже) вернулись из похода в отбитый казаками у большевников Новочеркасск, их вскоре здесь, в лазарете, отыскала мать.

Все бросив в Пензе, с большим риском для жизни, она пробралась из Пензы до Волги, потом по Волге и по Северному Кавказу на Дон, искать своих сыновей. И нашла.

«Как добровольно я вступил в Добармию, — свидетельствовал Р. Гуль, — так же добровольно и ушел».

Он не мог оставаться там ни по политическим причинам, ни по душевным. Политически потому, что чувствовал: такая армия победить не может. Несмотря на доблесть и героизм ее бойцов, поражение ее неминуемо. И вовсе не потому, размышлял молодой прапорщик, что «псевдонимы» сильнее, а просто потому, что *народ не с ней*. «К белым народ не хотел идти: господя. Здесь сказались один из самых больших грехов старой России: ее сословность. И связанный с ней страшный разрыв между интеллигенцией и народом... мужик не верил. В этом была беда и мужика, и всей России».

Другая причина ухода из Добармии была душевно-личная. У Р. Гуля был предметный опыт гражданской войны. Он был простым бойцом с винтовкой в руках и узнал до конца, что значат на деле эти слова: гражданская война. «Это значило, что я дол-

жеи убивать неких неизвестных мне, но тоже русских людей, в большинстве крестьян, рабочих. И я почувствовал, что убить русского человека мне трудно. Не могу. Да и за что? У меня же нет с ним никаких счетов. За что же я буду вразумлять его пулями?»

Братья и мать решили из Новочеркасска ехать к тете в Киев, а там — что будет. И в октябре 1918 года их поезд пересек границу Всевеликого войска Доиского и тихо пошел по Украине. «Украина была тогда некоей восставшей не то Мексикой, не то Македонией, — вспоминал Роман Борисович. — Большие города и железнодорожные станции заняты немцами. Откуда-то с запада идет Петлюра. А с севера вот-вот навалятся большевики».

В эмиграции, в Берлине, в 20-х годах Алексей Толстой показывал автору «Ледяного похода» одну фотографию — сфотографировав каким-то уездным фотографом ражий детина, довольно обезьянообразный, с головы до ног увешанный арсеналом оружия. Дитина сидит «развалевшись» в глубоком кресле на фоне дешевых декораций, а рядом — круглый стол, на котором отрубленная человеческая голова. И дитина дико-напряженно уставился в объектив фотографического аппарата. Это атаман Ангел. Алексей Толстой над этой фотографией дико хохотал. Гуль никак не мог разделять его веселья, так как знал: это была сфотографированная действительная Украина 1918 года.

В Киеве в ноябре 1918 года братьев, как офицеров, призвал в войска гетман Скоропадский — «весьма не блестящая фигура гражданской войны». Они должны были защищать Киев от наступающего Петлюры. Защита эта была, конечно, вполне беспомощная и трагичная, ибо в Киеве царило уже тогда полное разложение всех и вся, и в этом развале, как вспоминал Гуль, «некоторые наши начальники просто смылись. А под Киевом гибла брошенная туда военная молодежь, такие же, как я и брат».

Им повезло — они уцелели. Но попали к петлюровцам в плен, и их (около 3 тысяч человек), обезоружив, заключили под стражу в Педагогическом музее на Владимирской. Живы они остались только благодаря предприимчивости немцев и счастливому стечению обстоятельств, что уберегло военнопленных от расправы.

К тому времени Р. Гуль уже чудовищно устал от этой «все-русской колошматницы и человекоубийцы».

«В те дни, — писал он, — я возненавидел всю Россию: от кремлевских псевдонимов до холуев-солдат, весь народ, допустивший в стране всю эту кровавую мерзость. Я чувствовал всем существом, что в такой России у меня места нет».

Неожиданно их, голодных, полуголых, вшивых, под немецким конвоем вывозят.. в Германию. 3 января 1919 года они пересекли ее границу.

Началась эмиграция..

*...В сердце, явственном после вскрытия,
Ледяного похода знак...*

М. Цветаева

Писать Роман Гуль начал уже в Германии, в 1919—1920 годах, когда, пройдя через лагеря Деберниц, Альтенау, Клаусталь, Нейштадт, жил с братом Сергеем в лагере военнопленных в Гельмштедте провинции Брауншвейг.

От дальнейшего участия в братоубийственной гражданской войне Р. Гуль наотрез отказался. Места своего он в ней не нашел и искать его не хотел. Русскому лагерному начальству о своем отказе «ехать в гражданскую войну» он заявил открыто, и ничто — ни угрозы, ни возможное насилие — поколебать его уже не могло.

Р. Гуль остался в Германии, став рабочим на лесоповале.

«Мысль записать все, что я пережил, что видел в гражданской войне, — засела во мне. Но если писать, — думал я, — писать надо совершенно правдиво-оголенно. Где геройство — пусть геройство... А там, где зверство, — пусть будет зверство, где доблесть, пусть доблесть, а где грабеж — пусть грабеж. И в свободное от лесной работы время я стал писать... Чтoб проверить, я читал по вечерам отрывки брату и друзьям. Все они прошли гражданскую войну... все хорошо ее знали».

Автор видел, что написанное им впечатляет. Даже брат, самый суровый его критик, говорил: продолжай, пиши. И друзья: пиши, пиши, все это обязательно надо записать. «Так я и написал свою первую книгу «Ледяной поход», которая позднее стала известна в литературе о гражданской войне».

Стараясь напечатать книгу, Р. Гуль завязывает первые литературные знакомства и приезжает в Берлин, где получает от В. Б. Станкевича предложение переехать в столицу совсем — для редактирования журнала «Жизнь».

Так и случилось. Уже в 1920 году Р. Гуль переехал в Берлин.

В «Жизни» были опубликованы отрывки из «Ледяного похода», которые имели успех, но, признавался молодой автор, далеко не у всех, ибо по своему тону они резко отличались от той литературы о белой армии, которая уже стала появляться в русском зарубежье. «Жизнь» же просуществовала недолго: с апреля по октябрь 1920 года.

Конец журнала был для Р. Гуля финансовым крахом. Гроши, которые он получал за статьи в «Голосе России» или «Времени», были грошами. Хорошо, что вскоре ему удалось продать издательству С. А. Ефрона свой «Ледяной поход». Книга имела успех, однако весьма особенный. Круги Русского общевосточного союза

(РОВСа), например, отнеслись к ней неприязненно: мол, сгущены краски на темных сторонах.

Были и приятные отзывы. Как-то Р. Гулю сказали, что приехавший в Берлин Максим Горький будто бы читал «Ледяной поход» и даже хорошо о нем отозвался. Дебютант написал Горькому, спрашивая, действительно ли тот читал его книгу. Ответ, хотя и краткий, пришел быстро: «Уважаемый г-н Гуль, я действительно читал Вашу интересную книгу...» «Меня эта «интересная книга» очень обрадовала, — вспоминал Гуль. — Я — мальчишка, первая книга, а тут сам Максим Горький, мировая знаменитость, «всероссийский гигант», автор всяких Буревестников, Челкашей, Мальв, Песен о Соколе и прочее, пишет — «интересная книга».

Любил Р. Гуль вспоминать и о таком факте. Однажды он встретился с издателем З. И. Гржебиным, который затеял в Берлине грандиозное издательское дело в уверенности, что книги пойдут в Советскую Россию. Гржебин был вхож в советские сановные сферы, высшие издательские круги. «И вот, — вспоминал Р. Гуль, — когда я с ним поздоровался, Гржебин с улыбкой говорит: «А я ведь вашу книгу в России еще видел». — «Где же ее видели?» А Гржебин, улыбаясь: «На столе у В. И. Ленина».

Порадовал начинающего писателя отзыв Ю. И. Айхенвальда, тогдашней российской знаменитости, который прочел «Ледяной поход» еще в Москве.

Ю. И. Айхенвальд сказал Р. Гулю: «Книга там имеет успех, но они, наверху, ее тупо расценивают, как какое-то разоблачение белого террора, по сути же она против гражданской войны вообще, а это вода вовсе не на их мельницу!»

Отзыв Юлия Исаевича был приятен Р. Гулю хотя бы уже потому, что оказался пророческим и в отношении воды и в отношении мельницы.

Имевший в СССР читательский успех роман этот вскоре исчез с книжного рынка, попав в «запретные фонды».

Почему?

Его пафос не соответствовал тогдашней «генеральной линии» Сталина, выраженной им в письме М. Горькому, когда тот предложил вождю издание журнала «О войне».

Горький хотел рисовать ужасы войны.

А Сталин по этому поводу писал: «На книжном рынке фигурирует масса художественных рассказов, рисующих «ужасы» войны и внушающих отвращение ко всякой войне (не только к империалистической, но и ко всякой другой). Мы против империалистической войны, как войны контрреволюционной. Но мы за освободительную антиимпериалистическую войну, несмотря на то, что такая война, как известно, не только не свободна от «ужасов кровопролития», но даже изобилует ими...»

К сожалению, в предисловии не место подробно описывать сложную, многогранную и содержательную жизнь Р. Гуля в Германии, Франции, Америке; нет возможности рассказать более или менее внятно о его сотрудничестве в различных журналах («Новая русская книга», «Накануне», «Новый журнал» и т. д.); о женитьбе на Ольге Андреевне Новохацкой и об их трогательно-нежной совместной жизни (она умерла в Нью-Йорке в 1976 году); о многочисленных книгах писателя: «В рассеянии сущие», «Пол в творчестве», «Жизнь на фукса», «Белые по Черному», «Генерал БО» (Борис Савинков), «Скиф. Бакунин и Николай I», «Красные маршалы. Ворошилов, Буденный, Блюхер, Котовский», «Ораниенбург. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере», «Дзержинский (Менжинский, Петерс, Лацис, Ягода)», «Азеф», «Одвуконь. Советская и эмигрантская литература», «Одвуконь два» и многие другие.

И все же еще об одном случае просто необходимо рассказать читателю.

Когда Роман и Сергей были внезапно увезены из Педагогического музея, в чужом Киеве мать их осталась одна и о судьбе сыновей узнала только из газет. И тогда же решила уйти к ним. Но как? Пешком из Киева в Германию? В те-то времена?

Да. И другого пути не было...

Это решение стало смыслом ее жизни.

«...Мысль встретиться с вами, — писала она, — заняла все мои помыслы...»

И еще в 1921 году: «...дорогие, родные мои, в субботу, 15, по старому стилю, я двигаюсь в путь к вам, вместе с Анной Григорьевной (старая няня Гулей. — П. Г.). Не предпринимайте ничего — вот моя к вам просьба. Если что-нибудь случится по дороге, не горюйте: ваша мать видела много счастья. Отправляюсь в путь с верой и надеждой на Бога. Когда вы получите это письмо, я буду уже в пути... сердце переполнено надеждой увидеть вас...»

Девять-десять недель после этого братья не получали писем...

Нельзя без слез читать те страницы в книге Р. Гуля, где он рассказывает о пути двух женщин в Германию.

Надежда матери оправдалась. Пришло время, когда мать и няня сидели в крохотной комнатке братьев на Мейнингерштрассе...

Братья похоронили мать уже во Франции, в Гаскони.

«В груди пустота и остро пронизывающее чувство бездомности, — писал Р. Гуль. — Сейчас тело матери уйдет в эту гасконскую землю. Как часто в предчувствии смерти мать говорила, что хотела бы умереть в России, где похоронен муж, дети, отец, мать, родные...»

Я и брат закапываем мать...»

Объясняя читателям смысл заглавия своей последней книги «Я унес Россию», Р. Гуль писал: «Какой-то большой якобинец (кажется, Дантон), будучи у власти, сказал о французских эмигрантах: «Родину нельзя унести на подошвах сапог». Это было сказано верно. Но только о тех, у кого, кроме подошв, ничего нет... у кого же была память души и сердца, сумели унести Францию, И я унес Россию. Так же, как и многие мои соотечественники, у кого Россия жила в памяти души и сердца. Отсюда и название.., «Я унес Россию».

С этим нельзя не согласиться.

Единственное, в чем хотелось бы твердо и неуступчиво возразить Р. Б. Гулю: унести с собой «в памяти души и сердца» можно только образ России, бессмертную идею ее.. Ибо, все же невозможно взять в эмиграцию главное — ее народ, вечную его церковь, его живую Родину...

Писатель — в глубине душевной — мучительно сознавал это.

Заканчивая книгу «Россия во Франции», он тихо признавался читателям: «...иногда во сне я хожу в Россию...»

«Следуя моему крестному пути...»

*А. И. Деникин. Из приказа
по Добрармии от 3 апреля
1920 года*

В советской историографии как-то исподволь, но теперь уже довольно твердо, распространилось странное и невежественное мнение, будто офицерство Добровольческой армии — по своему происхождению и имущественному положению — исключительно помещики и капиталисты. Бездумно и необоснованно пишут, что Добровольческая армия была «буржуазно-помещичьей», а сами добровольцы ее — не только «знали, за что дрались», но, мол, не могли смириться с тем, что рабочие и крестьяне отняли у их отцов земли, имения, фабрики и заводы» (Спирин Л. М. Классы в партии в гражданской войне в России. М., 1968, с. 109).

Глубокий и добросовестный историк гражданской войны в России А. Г. Кавтарадзе, разоблачая нелепость подобных утверждений, опубликовал, в частности, очень показательные сведения из послужных списков семидесяти одного генерала и офицера — крупнейших организаторов и виднейших деятелей Добровольческой армии, участников «1-го Кубанского похода».

Оказалось, что 64 человека (90%) никакого недвижимого

имущества, родового или благоприобретенного, не имели вообще. В том числе и самые высокопоставленные генералы генштаба, такие, например, как Михаил Васильевич Алексеев (сын солдата сверхсрочной службы), Лавр Георгиевич Корнилов (сын коллежского секретаря), Антон Иванович Деникин (сын майора) и т. д.

Совершенно очевидно, утверждает исследователь, что имущественное положение у основной части участников «1-го Кубанского похода» — офицеров военного времени, юнкеров, воспитанников кадетских корпусов и гимназистов старших классов — было еще более скромным.

Что же касается социального происхождения, то из 71 человека потомственных дворян было всего 15 (21%), личных дворян — 27 (39%), а остальные происходили из мещан и крестьян или были сыновьями мелких чиновников и солдат (Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917—1920 гг. М., «Наука», 1988, с. 36—37, 227—230).

Так, Антон Иванович Деникин родился в мужицкой крепостной семье. Отец его, крепостной крестьянин, был сдан помещиком в рекруты и только после двадцати лет тяжелой солдатской службы николаевских времен добился прапорщичьего чина.

«Детство мое тяжелое, безотрадное, — писал о себе Деникин. — Нищета, 25 рублей пенсии после отца. Юность — в работе на хлеб».

После тяжелых лет учения положение вольноопределяющегося «в казарме, на солдатском котле» казалось будущему генералу совершенным отдыхом.

У Деникина, кстати, был личный опыт либерализма и демократичности. Последствия его очень поучительны. Молодого капитана были просто вынуждены отстранить от командования ротой, которая при нем — либеральном и демократичном — «вела себя средне, училась плохо и лениво». Деникин сознавался позднее, что после его удаления старый фельдфебель Сцепура собрал размяченную и разболтанную роту, поднял многозначительно кулак в воздух и произнес внятно и раздельно: «Теперь вам не капитан Деникин. Поняли?»

Кулак Сцепуры спас положение: «рота скоро поправилась».

Впрочем, правы исследователи: капитан Деникин совсем не похож на генерала Деникина, командира «железной дивизии», главнокомандующего, размышлявшего над задачами «национальной диктатуры».

«Эта революция, — писал Е. Н. Трубецкой уже после событий февраля—марта, — единственная в своем роде. Бывали революции буржуазные и пролетарские, но революции национальной, в таком широком значении слова, как нынешняя русская, — доселе не было на свете. ВСЕ участвовали в этой революции, ВСЕ ее де-

ляли — и пролетариат, и войска, и буржуазия, и даже дворянство... все вообще живые общественные силы страны».

Но делали, разумеется, каждый — по-своему.

У А. И. Денкина в его мемуарах тщательно собраны поразительные и неувядаемо-поучительные примеры — прекраснотушения и наивности, политической близорукости и преступного благородства, эффектно-балаганной глупости и неповторимого интернационального самозабвения.

Припомним хотя бы некоторые из них.

Вот В. Д. Набоков (убитый впоследствии рукой монархиста), упоенный отменой смертной казни: «Отрадное событие, признак истинного великодушия и проникательной мудрости!.. Смертная казнь отменена безусловно и навсегда... Наверное, ни в одной стране нравственный протест против этого худшего вида убийства не достигал такой потрясающей силы, как у нас... Россия присоединилась к государствам, не знающим более стыда и позора судебных убийств!»

Набоков еще при жизни мог оценить правоту своего прогноза: убивать стали не только без суда, но и без следствия.

А вот П. Н. Милуков в безбрежном разливе либерализма, ведущий спор с англичанами и требующий пропуска в Россию задержанных ими большевиков с Л. Троцким во главе: «...правительство признает безусловно возможным возвращение в Россию всех эмигрантов, без различия их взглядов на войну и независимо от нахождения их в так называемых «контрольных списках» (в контрольные списки вносились лица, заподозренные в сношениях с враждебными правительствами).

Когда же на родину стали прибывать серны эмигрантов, их велено было встречать почетным караулом с музыкой.

Приезд В. И. Ленина кадетская «Речь» вообще почтила особо: «Такой общепризнанный глава социалистической партии должен быть теперь на арене борьбы, и его прибытие в Россию, какого бы мнения ни держаться о его взглядах, можно приветствовать».

Приветствовать П. Н. Милукову пришлось недолго...

А вот утвержденная А. Ф. Керенским «Декларация прав солдата»: «Армии всех стран мира стоят вдали от политической жизни, тогда как русская армия становится первой армией, живущей всей полнотой политических прав».

По этому поводу А. И. Денкина, которого никак нельзя заподозрить в симпатиях к большевикам, резонно утверждал: «Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие...»

Кто-кто, а Денкин, знал, что говорит.

Полнота дарованных политических прав дошла до немыслимого предела.

«Искра» Мартова, например, настолько увлеклась интернационализмом, что в самый день занятия немецким десантом острова Эзеля напечатала статью под изумительным заглавием: «Привет германскому флоту!»

Вообще говоря, «Очерки русской смуты» А. И. Деникина (в которые входит «Поход и смерть генерала Корнилова») в целом — это не мемуары в собственном смысле слова. Это — по замыслу автора — история революции и, главное, история армии в годы революции.

«С русской армией неразрывно связана моя жизнь», — писал А. И. Деникин.

Развал и гибель царской армии, во-первых; воспоминания о царе и царских днях, во-вторых; и, наконец, бытовые черты революции российской, — вот три главные составные части книги А. И. Деникина, как считают исследователи (Василевский И. (Не - Б у к в а). Генерал Деникин и его мемуары. Берлин, 1924, с. 21—22).

Итоги, подводимые А. И. Деникиным, неутешительны: «Армия представляет из себя плоть от плоти и кровь от крови русского народа. А этот народ в течение многих веков того режима, который не давал ему ни просвещения, ни свободного политического и социального развития, — не сумел воспитать в себе чувства государственности, и не мог создать лучшего демократического правительства, чем то, которое говорило от его имени в дни революции...»

Вот как описывает главнокомандующий картину состояния России еще до большевиков, при Временном правительстве: «В стране творилось нечто невообразимое! Газеты того времени наполнены ежедневными сообщениями с мест, под многоговорящими заголовками: Анархия. Беспорядки. Погромы. Самосуды. И т. д. и т. д. Министр Прокопович поведал Совету Республики, что не только в городах, но и над армией висит злобещий призрак голода. Между местами закупок хлеба и фронтом — сплошное пространство, объятые анархией, и нет сил преодолеть его. На всех железных дорогах, на всех водных путях идут разбой и грабежи! Донесения с фронтов дословно говорили: «Теперь нет сил дольше драться с народом, у которого нет ни совести, ни стыда! Проходящие воинские части сметаю все, уничтожают посевы, скот, птицу, разбивают казенные склады спирта, напиваются, поджигают дома, громят не только помещичьи, но и крестьянские имущества! В каждом селе развито винокурение, с которым нет возможности бороться, вследствие массы дезертиров. Самые плодородные области погибают! Скоро останется голая земля!»

Иногда кажется, что перед тобой не тексты семидесятилетней давности: «В различных местностях России толпы озлобленных, темных, а часто и одурманенных спиртом людей, руководимые и натравливаемые темными личностями, бывшими городовыми и уголовными преступниками, грабят, совершают бесчинства, насилия и убийства!»

На вопрос «Кто виноват?» А. И. Деникин отвечает как тезисно, так и совокупностью всех фактов своей грандиозной книги. И ответы эти — надо признать — различны.

Тезисный ответ: «Революционная демократия... чуждые армии люди из социалистического лагеря, которые в высокомерном самознании, едва коснувшись армии, ломали устои ее существования, судили вождей и воинов, определяли диагноз ее тяжелой болезни, ...чуждые люди, которые и теперь еще, после тяжелых опытов и испытаний, не оставляют надежду на превращение армии, этого могущественного и страшного орудия государственного самосохранения, — в средство для разрешения партийных и социальных вожделений».

Один из ехидных рецензентов книги Деникина справедливо замечает по этому поводу, что вышеприведенные объяснения генерала все же несравненно мельче изображаемых им событий, не покрывают их, как часть не может исчерпать целого.

Детали, эпизоды, сценки, штрихи, заметочки, щедро разбросанные в книге, — в совокупности своей дают иной ответ на главный вопрос книги.

В частности, тот же рецензент припоминает один из характерных, по признанию самого Деникина, эпизодов: один из полков 4-й стрелковой дивизии искусно, с любовью и большим старанием построил возле позиции походную церковь. Наступили первые недели революции. Демагог-поручик решил, что его рота размещена скверно, а храм — это предрассудок. Поставил самовольно роту в храме, а в алтаре вырыл ровик для отхожего места. «Я не удивляюсь, — говорит об этом Деникин, — что в полку нашелся негодяй-офицер, что начальство было терроризовано и молчало. Но почему 2—3 тысячи русских, православных людей, воспитанных в мистических формах культа, равнодушно отнеслись к такому осквернению и поруганию святыни?»

Вот другой, не менее показательный пример: «Уже в конце октября 1917 года казаки в лице представителей Союза казаков Дона, Кубани, Терека, Астрахани и Северного Кавказа, — повествует Деникин, — искали связи с правительством, предлагая помощь против большевиков, но... обуславливая ее целым рядом экономических требований: беспроцентным займом в полмиллиарда рублей, отнесением на государственный счет расходов по со-

держанию казачьих частей и даже оставлением за казаками всей «военной добычи» (!), которая будет взята в предстоящей междоусобицей войне по свержению большевиков и возвращению власти в руки Временного правительства».

Еще больше подобных примеров в «Дневнике» барона А. Будберга.

В те годы оказалась поражена самая идея государственности даже в землях по-настоящему крепких, какими были, например, казачьи области. Деникин, к несчастью, прав, говоря о предательском отношении к России со стороны Германии, Антанты и... самой России.

«Так, в Екатеринодаре на Верховном круге трех казачьих войск, после горячего спора, из предложенной формулы присяги было вовсе изъято упоминание о России. Распятую Россию любить не стоит».

Бытовые штрихи в книге Деникина способны действительно потрясать. Чего стоит один рассказ о Верховном Главнокомандующем генерале Алексееве, который, как оказывается, до самой последней минуты не знал о своем увольнении. «В ночь на 22-е была получена телеграмма об увольнении генерала Алексеева от должности, с назначением и распоряжением Временного правительства и о замене его генералом Брусиловым. Уснувшего Верховного разбудил генерал-квартирмейстер Юзефович и вручил ему телеграмму. Старый вождь был потрясен до глубины души, и из глаз его потекли слезы: «Пошлаки. Рассчитали, как прислугу».

В. В. Шульгин в своей книге «1920 год» на вопрос о том, почему не удалось дело Деникина, принужден был ответить прямо и резко, что в старую солдатскую песню «Взвейтесь, соколы, орлами!» эпоха Деникина внесла поправку, воистину неожиданную: «Взвейтесь, соколы, ворами!» Население их просто ненавидит, сокращается Шульгин.

Деникин был прав, когда писал, что «не стоит подходить с холодной аргументацией политики и стратегии к тому явлению, в котором все — в области духа и творимого подвига». Значит, обреченность белого движения коренилась вовсе не в отдельных погрешностях «политики и стратегии», а именно в области духа и творимого подвига.

«Власть падала из слабых рук Временного Правительства, и во всей стране не оказалось, кроме большевиков, ни одной действительной организации, которая могла бы предложить свои права во всеоружии реальной силы».

Хотим мы того или не хотим, но так — в крестном пути нашей Родины — было...

Непримиримость старой эмиграции к стране «победившего социализма» общеизвестна. И. А. Буинг писал: «Россия! Кто смеет

учить меня любви к ней?.. Но есть еще нечто, что гораздо больше даже и России... Это — мой Бог и моя душа».

Так определил он для себя и своих единомышленников (Роман Гуль среди них) истинный прообраз высшего земного служения: «Святой князь Михаил Черинговский шел в орду для России; но и для нее не согласился он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть».

Возразить на это нечего.

И Бунин был бы непрекословно и навечно прав, не окажись в его символе веры соблазнительного союза «но». Ибо, конечно же, нельзя продать Родину, но сберечь душу. Просто святой Михаил и его верный боярин Феодор умирали на чужбине не за временную, а потому и сомнительную выгоду для страны, а за вечное и святое на Руси. Ведь в истоках своих наша Родина и душа — одной природы.

Свои критические книги о советской и эмигрантской литературе Р. Гуль не случайно назвал «Одвуконь»: «ехать одвуконь или двуконь, верхом, с подручной или запасной лошастью» — В. И. Даль.

Да, после 1917 года и последовавших за ним трагических событий гражданской войны русская литература действительно пошла «одвуконь» — одна ее часть осталась в стране «победившего социализма», а другая была выброшена на Запад и стала русской эмигрантской литературой.

Но Р. Гуль неизменно верил, что «время придет и история докажет, что зарубежная Россия прожила и проработала за рубежом не зря, а волей-неволей — для России же!». Верил и в то, что «придет день, и творчество советских писателей, тех, кто оставался духовно свободным, сольется с творчеством подлинно свободных русских писателей-эмигрантов», и тогда русской литературе не нужно уже будет ехать «одвуконь».

Конечно, ни сам Р. Б. Гуль, ни большинство его соотечественников-эмигрантов уже никогда не смогут вернуться к нам. Они умерли на чужбине... Но лучшее, заветное, что оставлено ими нам в наследство — их книги, а значит, умы, души, сердца, боровшиеся «за вечные божественные основы человеческого существования» (И. А. Бунин), — все же вернулись, и теперь, будем надеяться, навсегда...

Павел Горелов

РОМАН ГУЛЬ ЛЕДЯНОЙ ПОХОД

(С КОРНИЛОВЫМ)

Книгу посвящаю горячо любимой матери

Часть первая

С ФРОНТА — ДО РОСТОВА

С фронта

Была осень 1917 года. Мы стояли в Бессарабии... Голубые, морозные, душистые бессарабские дни. Желто-красно-зеленые деревья. Высокое, золотое, негреющее солнце. Красивый народ в кожаных, с рисунками, безрукавках. Белые хаты, внутри увешанные самоткаными коврами богатых, ярких тонов...

Я любил Бессарабию...

По утрам, переодетый, выбегаешь в сливовый сад, умываешься ледяной водой, пахнувшей какой-то особенной свежестью, вбираешь грудью морозный аромат слегка заиндеветшего утра и вспоминаешь где-то читанное: «...каждое утро, душа моя, у порога своего дома ты встречаешь весь мир...»

И там же вспоминается... Около старенькой церкви митинги толп вооруженных людей в серых шинелях. Злобные речи, почти без смысла. Знамена с надписями: «Мир без аннексий и контрибуций», «Долой войну», «Смерть буржуазии»...

Речи, полные злобы и ожесточения, рев толпы и тысячи махающих в воздухе рук...

Попытки сдержать бессильны...

Разливалась стихия...

Получил телеграмму: «Имение разграблено, проси отпуск». Командир отпускает, обнимает, провожает. Еду в обоз второго разряда. Сел на поезд. Все серо — все переполнено. Серые шинели лежат на полу, сидят на

скамьях, лежат на полках для вещей. Тронулись. Я смотрю на лица солдат: на всех одна и та же усталая злоба и недоверие.

С дороги пишу письмо знакомым: «...кругом меня все серо, с потолка висят ноги, руки... лежат на полу, в проходах... Эти люди ломали нашу старинную мебель красного дерева, рвали мои любимые старые книги, которые я студентом покупал на Сухаревке, рубили наш сад и саженные мамой розы, сожгли наш дом... Но у меня нет к ним ненависти или жажды мести, мне их только жаль. Они полузвери, они не ведают, что творят...»

Узловая станция. Вокзал, платформа, пути запружены тысячами людей в сером. Они все едут-бегут с войны. И это «домой» так сильно в них, что они замерзают на крышах поездов, убивают начальников станций, ломают вагоны, сталкивают друг друга...

Поезда нет. Матерная брань превращается в рев: «Ему вставить штык в пузо — будет поезд!» — «Для буржуев есть поезда, а для нашего брата подожди!!» — «Пойдем к начальнику!» — «Пойдем!!»

Тихо подходит поезд. Все лезут в окна. Звон разбитых стекол, матерная брань... Сели. Плохо едем, останавливаясь на каждом разъезде.

День... два...

Поздний вечер. Подъезжаем к родному городу. Тот же старенький вокзал. Зал 1 класса. Вон стоит знакомый носильщик. Прохожу. Сажусь на извозчика...

Темные улицы. Лошадь тихой рысью бежит по мягкому снегу, ударяются копыта в передок. Извозчик чмокает и постегивает лошадь кнутом.

Я смотрю на каждый дом, на каждый переулок. Все знаю. Все знакомое. Вот сейчас подъеду. Вот вижу огонь в дальней столовой. Извозчик остановился. Подхожу к двери. Что-то замирает, дрожит, сладко рвется у меня в груди. Сильная радость наполняет меня, и одновременно слегка грустно... Шаги за дверью. Отперли. Иду к коридору, отворяю дверь... Из столовой ко мне бросается мама... обнимает, плачет...

Я счастлив. Все счастливы, всем радостно...

.

Дома

Я несколько дней живу у себя, в семье, с любимыми людьми. Я не хочу ничего. Я устал от фронта, от политики, от борьбы. Я хочу только ласки своей матери. Я, помню, думал: «Истинная жизнь любящих людей состоит из любования друг другом». Я чувствовал всю шкурную мерзость всякой политики. Я видел, что у прекрасной женщины Революции под красной шляпой вместо лица — рыло свиньи. Я искал выхода. В душе подымались протесты и сомнения, но я пытался убедить себя: все это плохо, но не надо отстраняться, надо взять на себя всю тяжесть реальности, надо взять на себя даже грех убийства, если понадобится, и действовать до конца...

И мне показалось, что я себя убедил...

Был сочельник. Звонок. Я удивлен: входит прапорщик нашего полка К., разбинтовывает ногу и передает мне письмо моего командира.

«...Корнилов на Дону. Мы, обливаясь кровью, понесем счастье во все углы России... Нам предстоит громадная работа.... Приезжайте. Я жду Вас... Но если у Вас есть хоть маленькое сомнение — тогда не надо...»

Я напряженно думаю. День, два. Сомнение мое становится маленьким-маленьким. Может быть, я просто «боюсь»? — спрашиваю я себя. Может быть, я «подвожу теории» для оправдания своей трусости?.. Как зверски и ни за что дикие люди убили М. Н. Л. А. Шингарев? Кокошкин?.. Их семьи?! Тысячи других?! Нет, я должен, и я готов. Я верю в правду дела! Я верю Корнилову! И я поеду. Поеду, как ни тяжело мне оставлять мать, семью, уют. И одновременно со мной думает и страдает мама.

Я решил. Мама готова перенести новую боль...

Зимние сумерки темным узором ложатся на зеленую гостиную. Слышно, как около дома поскрипывает на морозе деревянный тротуар. В гостиной нет огня. Я сижу с мамой. Она плакала и тихо говорит: «...мне очень больно, но будет еще больнее, если ты поедешь и разочаруешься, если ты не найдешь там того, о чем думаешь...» — «Я об этом думал, и я этого боюсь, но гарантия — имя Корнилова и Учредительное собрание». И мы оба хотим верить.

И я верю...

Бы́л, ка́жется, тре́тий де́нь ро́ждества́. Мы уезжали: се́мь че́ловек офице́ров. Солда́тские докумен́ты, ви́д солда́тский, ме́шки — все гото́во. По́ра и́дти.

Ма́ма за́шивает лада́нки, на́девает на нас с бра́том и беззвучно пла́чет. Мы обо́дряем. Про́щаемся. И я чу́вствую на ще́ках сво́их сле́зы ма́тери.

Си́ний ве́чер. В во́здухе се́ребря́тся бле́стки. Небо́ зве́здное... Мы и́дем на вокза́л. На ду́ше гру́стно, но успоко́ением слу́жит: доброво́льно и́ду де́лать бо́льшее де́ло...

Вокза́л наби́т солда́тами. Все пере́полнено. Бра́т и дру́гие по́пали в убо́рную уходя́щего по́езда и уеха́ли. Я и Н. оста́лись. Мы жде́м сре́ди солда́т — на по́лу. Подхо́дит солда́т на́шего по́лка, о че́м-то развя́зно гово́рит.

Под у́тро, уста́лые, с тру́дом сади́мся в по́езд и е́дем на До́н...

На До́н

Сле́дующий де́нь зи́мний, я́ркий. По́езд ти́хо та́щится по́ сне́жным по́лям и подо́лгу сто́ит на ста́нциях. По́мню ста́нцию Ли́ски. Я по́слал ма́ме ши́фрованную телегра́мму. Пере́сели и е́дем.

Но́чью — обы́ск. В ва́гоне те́мно. Во́шли лю́ди с фо́нарем, в солда́тских ши́нелях, с ви́нтовками.

«Доку́менты предъя́вите... У ко́го е́сть ору́жие, сда́вайте, това́рищи».

Подо́шли ко́ мне. Я за́крыл гла́за и притво́рился спя́щим, прислони́вшись к окну́ ва́гона.

«А э́то че́й че́модан? (У ме́ня бы́л ме́шок-вью́к). Ва́ш, това́рищ? Това́рищ!» — сказа́л он и взя́л ме́ня за плечо́. Я «просну́лся».

«Мо́й». — «Откро́йте!» Откро́ваю. Он ро́ется. «А до́кументы е́сть?» — «Е́сть», — и лезу́ в карма́н. «Ну ла́дно», — и прохо́дят да́льше...

У́тро. Сла́ва бо́гу, пере́ехали на ка́зачью сто́рону. На́роду в по́езде ста́ло ма́ло. Я не бы́вал на До́ну: вгля́дываю́сь в лю́дей, сме́трю в оќна. Во́шли не́сколько ка́заков с ви́нтовками, ша́шками. Се́ли ря́дом. Разго́-

варивают. Я ищу новых, бодрых настроений — преграды анархии.

Казак лет 38, с рябым зверским лицом, с громадным вихром из-под папахи, сиплым голосом говорит: «Ежели сам хочет, пушай и стоит есаул, а мы четыре года постояли, с нас будя. Прошлый раз на митинге тоже стал: «Станичники, вы себя защищаете, казацкую волю не погубите» (он представил есаула). — «Четыре года слухали», — мрачно отозвался хмурый молодой казак.

Вскоре они вышли из вагона. Я понял, что эти казаки — из частей, стоявших на границе области на случай вторжения большевиков. Из разговора их было ясно: они самовольно расходились по домам, открывая дорогу войскам Крыленко...

Станция Каменская. Я вышел из вагона. На платформе много военных: солдат, офицеров, встречаются юнкера. Офицеры в погонах. Чувствуется оживление, приподнятость. Едем дальше...

Я думаю: «Скоро Новочеркасск». Туда сбежалось лучшее, лихорадочно организуется. Отсюда тронется волна национального возрождения. Во главе — национальный герой, казак¹ Лавр Корнилов. Вокруг него объединилось все, забыв партийные, классовые счета...

«Учредительное собрание — спасение Родины!» — заявляет он. И все подхватывают лозунг его. Идут и стар и мал. Буржуазия — Минины. Офицерство — Пожарские. Весь народ подымается. Организуются национальные полки, армии. Реют флаги, знамена.

Оркестры гремят какой-то новый гимн!..

«На Москву», — отдает приказ он.

«На Москву», — гудит везде.

И армия возрождения, горящая одной страстью: счастье родины, счастье народа русского, идет как один. Она почти не встречает сопротивления...

Ведь она народная армия!!

Ведь это нация встала!!

Ведь лозунг ее: все для русского народа!!

Бегут обольстители народные, бегут авантюристы и предатели.

Казак Корнилов спаял всех огнем любви к нации! Он спас родину и передает власть представителям народа — Учредительному собранию.

¹ Л. Г. Корнилов — не казак, он из мещан Семиречья.

Россия сильна счастьем всех граждан.

Она могуча своей свободой.

Она говорит миру «свое слово», и в слове этом звучит что-то простое, русское, христианское...

В воображении бегут радостные картины.

Поезд быстро мчит меня к Новочеркасску.

Новочеркассск

Яркие, морозные дни. Деревья улиц — белы от инея. На голубом небе блещут золотом купола Новочеркассского собора.

В городе — оживление: плавно несутся военные автомобили, шурша по снегу; крупной рысью пролетают верховые казаки; скользят извозчицьи сани, звеня бубенчиками; поблескивая штыками, проходят небольшие части офицеров и юнкеров.

На тротуаре трудно разойтись; мелькают красные лампасы, генеральские погоны, разноцветные кавалеристы, белые платки сестер милосердия, громадные папыхи текинцев.

По улицам расклеены воззвания, зовущие в «Добровольческую армию», в «партизанский отряд есаула Чернецова», «войскового старшины Семилетова», в «отряд Белого дьявола — сотника Грекова».

Казацья столица напоминает военный лагерь.

Преобладает молодежь — военные.

Все эти люди — пришлые с севера. Среди потока интеллигентных лиц, хороших костюмов иногда попадают солдаты в шинелях нараспашку, без пояса, с озлобленными лицами. Они идут не сторонясь, бросая злобные взгляды на офицерские погоны. Если б это было в Великороссии — они сорвали бы их, но здесь иное настроение, иная сила...

В воскресное утро идем в собор, к обедне.

Великолепный храм полон молящихся; в середине, ближе к алтарю, — группа военных, между ними генерал Алексеев, худой, среднего роста, с простым типично военным лицом.

На паперти встречаю кадета-выборжца Н. Ф. Езерского. С первых же слов Н. Ф. горячо говорит о генерале Корнилове и Добровольческой армии, верит, что Корнилов объединит вокруг себя людей разных направлений и создаст здоровую национальную силу. Он го-

ворит о тяжелой борьбе окраин с центром и верит, что первым удастся победить и снова сплотить возрожденную Россию...

Запись в армию

Через два дня мой командир полка С. приехал, и мы идем записываться в бюро Добровольческой армии.

Подошли к дому. У дверей — офицер с винтовкой. Доложил караульному начальнику, и нас провели наверх.

В маленькой комнате прапорщик-мужчина и прапорщик-женщина записывали и отбирали документы; подпоручик опрашивал.

«Кто вас может рекомендовать?»

«Подполковник Колчинский», — называю я близкого родственника генерала Корнилова.

Подпоручик делает мину, пожимает плечами и цедит сквозь зубы: «Видите, он, собственно, у нас в организации не состоит...»

Я удивлен. Ничего не понимаю. Только после объясняет мне подполковник Колчинский: офицеры бюро записи — ставленники Алексеева, а он — корниловец: между этими течениями идет скрытый раздор и тайная борьба.

Мы записались. Знакомимся с заведующим бюро и общежитием гвардии полковником Хованским. Низкого роста, вылощенный, самодовольно-брезгливого вида полковник Хованский говорит «аристократически», растягивая слова и любуясь собой: «Поступая в нашу (здесь он делает ударение) армию, вы должны прежде всего помнить, что это не какая-нибудь рабоче-крестьянская армия, а офицерская». После знакомства разместились в общежитии. Меня поражает крайняя малочисленность добровольцев. Новочеркасск полон военными разных форм и родов оружия, а здесь, в строю армии, — горсточка молодых, самых армейских офицеров.

Штаб армии

С каждым днем в Новочеркасске настроение становится тревожнее. Среди казаков усиливается разложение. Ожидается выступление большевиков. Каледин по-прежнему нерешителен. Войсковой круг теряется...

Штаб Добровольческой армии решает перенестись в

Ростов. Верхом, со своими адъютантами, переехал туда Корнилов. В этот же день переехали полковник С. и мы, первые офицеры его отряда.

В Ростове штаб армии — во дворце Парамонова. Около красивого здания — офицерский караул. У дверей — часовые.

Стильный, с колоннами зал полон офицерами в блестящих формах. Среди них плотная, медленная фигура Деникина. В штатском, хорошо сшитом костюме он больше похож на лидера буржуазной партии, чем на боевого генерала. Из угла в угол быстро бегают нервный, худой Марков. Появляется начальник штаба — молодой надменный генерал Романовский, хитрый Лукомский с лицом городничего, старик Эльснер; из штатских — член I Думы Аладьин, в форме английского офицера, сотрудник «Русского слова» — маленький, горбатый Лембич, живой, худенький брюнет, матрос Баткин, Борис и Алексей Суворовы...

Но и с перенесением штаба в Ростов общая тревога за прочность положения не уменьшается. Каждый день несет тяжелые вести. Казаки сражаться не хотят, сочувствуют большевизму и неприязненно относятся к добровольцам. Часть из еще не расформированных войск перешла к большевикам, другие разошлись по станицам. Притока людей из России в армию — нет. Командующий объявил мобилизацию офицеров Ростова, но в армию поступают немногие — большинство же умело уклоняется.

На вокзале

В это время в сто человек сформировался отряд полковника С., и через несколько дней мы несем первую службу — занимаем караул на станции Ростов.

Настроение в городе тревожное. Вокзал набит народом. То там, то сям собираются кучки, говорят и озлобленно смотрят на караульных.

Офицеры караула арестовали подозрительных: громадного роста человека с сумрачным лицом «партийного работника», пьяного маленького лакея из ресторана, человека с аксельбантами и полковничьи погоны, офицера-армянина и др.

Пьяный лакей, собрав на вокзале народ, кричал: «Афицера, юнкаря — это самые буржуи, с кем они воюют? С нашим же братом бедным человеком! Но придет

время — с ними тоже расправятся, их тоже вешать будут!»

Ночь он проспал в караульном помещении. «Отпустите его, сделайте внушение, какое следует», — говорит утром полковник С. поручику З.

Мимо меня идут З. и лакей. З. делает мне знак: войти в комнату. Вхожу. Они за мной. З. запирает дверь, вплотную подошел к лакею и неестественным, хриплым голосом спрашивает: «Ну, что же, офицеров вешать надо? Да?» — «Что вы, ваше благородие, — подобострастно засюсюкал лакей, — известно дело — спяна сболтнул...» — «Сболтнул!.. Твою мать!» — кричит З., размахивается и сильно кулаком ударяет лакея в лицо раз, еще и еще... Лакей шатнулся, закрыл лицо руками, протяжно завыл. З. распахнул дверь и вышвырнул его вон.

«Что вы делаете? И за что вы его?» — рванулся я к З.

«А, за что? За то, что у меня до сих пор рубцы на спине не зажили. Вот за что», — прохрипел З. и вышел из комнаты.

Я узнал, что на фронте солдаты избили З. до полусмерти шашками.

Человека с подполковничьими погонами и странно привешенными аксельбантами допрашивает полковник С. «Кто вы такой?» — «Я полковник Заклинский», — нетвердо отвечает опрашиваемый и стоит по-солдатски вытянувшись. «Где вы служили?» — «В штабе Северного фронта». — «Вы из генерального штаба?» — «Да». — «А почему у вас погон золотой и с синим просветом?» Заклинский мнется, смущается. «Я кончил пулеметную школу», — выпаливает он. «Так, — тянет полковник. — А почему вы носите аксельбанты так, как их никогда никто не носил?» Заклинский молчит. «Ракло ты! А не полковник! Обыскать его!» — звонко кричит полковник С.

Заклинский вздрагивает, бледнеет и сам начинает вытаскивать из карманов бумаги. Его обыскивают: бумаги на полковника, поручика и унтер-офицера. «К коменданту», — отрезает полковник С.

На вокзале офицер-армянин просил часового продать ему патроны. Часовому показалось это подозрительным, он арестовал его. При допросе офицер теряется, путается, говорит, что он «просто хотел иметь патроны».

Полковник С. приказывает его отпустить. Офицер спускается с лестницы. Кругом стоят офицеры караула. Вдруг поручик З. сильно ударяет его в спину. Офицер спотыкается, упал, с него слетели шпоры и покатились, звеня, по лестнице...

Многие возмутились, напали: «Что это за безобразие! Одного вы бьете, другого с лестницы спускаете!», «Что у нас, застенки, что ли?», «Да он и не виновен ни в чем», «Это черт знает что такое!» З. молчит.

Сменяться. Все налицо, кроме подпоручика Крупнина. Вчера вечером, после караула, он пошел на Термерник¹, сейчас уже вечер, а его нет.

Сменились, выстроились. Колонной по отделениям, четко отбивая шаг по звонкой мостовой, идем по залитому огнями вечернему городу. Тенора бравурно, отрывисто запевают:

Там, где волны Аракса шумят,
Там посты дружно в ряд
По дорожке стоят.

И гулко подхватывают все:

Сторонись ты дорожки той,
Пеший, конный не пройдет живой!

На тротуарах останавливаются прохожие, извозчики сворачивают с дороги...

Утром недалеко от вокзала, на путях, нашли труп подпоручика Крупнина; он лежал ничком, с раздробленным черепом...

На Новочеркасском фронте

Красная Армия наступает с севера на Новочеркасск и на Ростов с юга и запада. Красные войска сжимают кольцом эти города, а в кольце мечется Добровольческая армия, отчаянно сопротивляясь и неся страшные потери. В сравнении с надвигающимися полчищами большевиков добровольцы ничтожны. Они едва насчитывают 2000 штыков, а казачьи партизанские отряды есаула Чернецова, войскового старшины Семилетова и сотника Грекова — едва ли 400 человек. Сил не хватает. Командование Добровольческой армии перекидывает измученные, небольшие части с одного фронта на другой, пытаясь задержаться то здесь, то там.

¹ Расположенный около вокзала рабочий поселок, большевистски-буйно настроенный (здесь и далее прим. автора).

Наш отряд послан на станцию Горную.

Вечером на вокзале погрузили обоз и тихо, без огней отъезжаем. В вагонах полутемно и холодно. Почти никто не говорит. Иногда звякнут штыки сцепившихся винтовок...

Офицер в углу обтирает затвор полый шинели и пробует, щелкает им. Другой смотрит в темное окно с убегающими фонарями. Из соседнего вагона сквозь шум поезда слабо доносится военная песня, как будто ее поют далеко-далеко...

Тихо... Поезд мерно постукивает... Ночь... Серые фигуры склонились, держа меж колен винтовки... Дремут. Засыпают. В окна ползет серый рассвет. Поезд с медленным визгом остановился. Станция. По путям ходят усталые фигуры с винтовками.

«Кто приехал?» — «Отряд полковника С.». — «Накопец-то, а то хоть пропадай, нас всего пятьдесят человек, вторую неделю не спим», — недовольно и со злобой отвечает партизан... Полковник С. идет к начальнику участка — генералу Абрамову. Генерал сам недавно приехал, у него нет никаких определенных сведений.

Известно: противник многочислен.

Приказано: держаться во что бы то ни стало.

Нужна разведка. Два паровоза, один с вагоном I класса, другой с площадкой с пулеметами, рядом идут на станцию Сулин¹.

В первом генерал Абрамов, полковник С. и несколько офицеров, во втором — пулеметчики. Поезда остановились у моста под Сулином. Генерал Абрамов, полковник С. и офицеры идут на станцию.

Увидя подъехавшие поезда, сюда сходитесь народ. Мы стоим с винтовками у комнаты, где говорит с начальником станции генерал. Нас окружили рабочие, смотрят злобно и не желают этого скрыть, разговаривают меж собой, к нам не обращаясь.

Генерал вышел. Идем по платформе. За нами — все, слышны какие-то замечания, смешки. Мы остановились у лавочки, покупаем. И все стали кругом. Я, торопясь, плачу деньги. «Эй, господин, получите-ка». — «Забыли, наверное, — нынче господ нет», — серьезно и резко отвечает кто-то из толпы.

Генерал Абрамов выдвинул к Сулину паровоз с пулеметной площадкой, но не прошло и получаса, как с противоположной стороны к станции подъехали два

¹ Заводской рабочий поселок.

эшелона большевиков, с бронированным поездом впереди. Наш поезд отступал, обстрелянный артиллерией и пулеметами, а по отступающему поезду жители Сулина стреляли из винтовок.

Большевики заняли Сулин.

Мы стоим на Горной в поездах, охраняясь полевыми караулами. На случай наступления большевиков выбрана позиция. В вагонах день проходит в питье чая, разговорах о боях и пении песен... Из караула пришел подпоручик К-ой и капитан Р. Подсели к нашему чайнику. «Сейчас одного «товарища» ликвидировал», — говорит К-ой. «Как так?» — спрашивает нехотя кто-то. «Очень просто, — быстро отвечал он, отпивая чай. — Стою вот в леску, вижу — «товарищ» идет, крадется, оглядывается. Я за дерево — он прямо на меня, шагов на десять подошел. Я выхожу — винтовку на изготовку, конечно, — захохотал К-ой. — «Стой!» — говорю. Остановился. «Куда идешь?» — «Да вот домой, в Сулин», — а сам побледнел. «К большевикам идешь, сволочь! Шпион ты... твою мать!» — «К каким большевикам, что вы, домой иду», — а морда самая комиссарская. «Знаю, — говорю, — вашу мать! Идем, идем со мной». — «Куда?» — «Идем, хуже будет», — говорю. «Простите, — говорит, — за что же? Я человек посторонний, пожалейте». — «А нас вы жалели, — говорю, — вашу мать?! Иди!..» Ну и «погуляли» немного. Я сюда — чай пить пришел, а его к Духонину направил...» — «Застрелил?» — спрашивает кто-то. «На такую сволочь патроны тратить! Вот она, матушка, да вот он, батюшка». К-ой приподнял винтовку, похлопал ее по прикладу, по штыку и захохотал¹.

Сулин

Полковник С. задумал взять Сулин обратно. Но так как силы были неравны, то план, рассчитанный всецело на недисциплинированность и паничность противника, строился немного фантастично.

Ночью храбрейший офицер, георгиевский кавалер штабс-капитан князь Чичуа должен с десятью офицерами пробраться в тыл большевистских поездов, взорвать пути, обстрелять, короче — «произвести панику в тылу

¹ К-ой в мирное время был артистом плохого шантана; глядя на него, я часто думал: что привело его в «белую» армию? Погоня? Случайное офицерство? И мне казалось, что ему совершенно все равно, где служить: у «белых» ли, «красных» ли, — грабить и убивать везде было можно.

противника», а отряд по этому сигналу ударит в лоб и с флангов на станцию.

Была холодная ночь. Дул сильный, колющий ветер... Часть отряда пошла прямо по железной дороге, а другая с полковником С. поехала на поезде влево по частной ветке.

Подъехали к будке, слезли. Вдали сквозь метель за ревом светит Сулин. Князь Чичуа с десятью офицерами быстро ушел вперед. Артиллеристы устанавливают два орудия наобум, по направлению вокзала. Вся пехота пошла, скрылась в черно-белой степи...

Ночь черна, ни звезды. Ветер поднял в степи метель, носит белесыми столбами снег, не пускает вперед и протяжно воем на штыках. Дорогу замело. Впереди проводник сбивается, разыскивает и ведет. Дошли до большого белого оврага, перелезли и остановились. По ветру доносится лай собак — это в Сулине. Теперь недалеко. Здесь будем ждать сигнала...

Метель не перестает. Ветер еще злее. Мерзнут руки, лицо, ноги. Каждый напряженно прислушивается: не будет ли сигнала-взрыва. Прошел час, прошел другой, а сигнала нет. Хоть бы скорее, думает каждый, пошли бы вперед, быстро согрелись бы. Ветер с воем налетает, засыпает снегом. Люди жмутся один к другому, ложатся на снег. Свертывается один, другой, третий.

На белом снегу — темно-серое пятно, это все, плотно прижавшись друг к другу, лежат в куче, и каждый старается залезть поглубже, согреться, спрятаться от ветра. Один полковник ходит около серого пятна, постукивает ногами и руками и, волнуясь, ждет сигнала...

Выстрел!.. Один, другой...

Темная куча зашевелилась, люди вскакивают, и сразу как будто не холодно... Вот опять: та-та-та, пачками... И тихо...

«Видно, заметили наших», — шепотом говорит кто-то.

«Перебили, может», — еще тише говорит другой.

Та! — отдельный выстрел, и все замерло.

Опять один за другим ложатся, прячась от холода, и опять полковник ходит около темного пятна, но теперь он больше волнуется. «Знаете, — тихо говорит он мне, — боюсь, не попались ли. Подстрелят кого-нибудь — не уйдет ведь по такому снегу».

Скоро рассвет. Надо идти, а князя нет. Люди подымаются. Идем в вагоны, торопимся: рассветет — заметят.

В степи показались какие-то фигуры.

«Смотрите, люди, вон люди, — зашептали один, другой. — Вон, вон с винтовками». Каждый хватается за винтовку, снимает с плеча, по телу пробегают холодная дрожь.

«Может, наши — князь», — говорит кто-то.

Несколько человек идут вперед. «Кто идет?» — «Свои, свои, князь», — отвечают фигуры. Все довольны, винтовки на ремень, спешат к нашим. «Ну, как? Это по вас стреляли?»

Князь докладывает полковнику: «Невозможно, господин полковник: только стали к Сулину подходить, по нас караулы сразу огонь открыли; залегли, переползли, хотели другой дорогой — то же самое». — «Вот как, охраняются хорошо, сволочи, а я думал, что они дрыхнут всю ночь. Ну, идемте, слава богу, что никто не ранен».

Вкатываем орудия на платформу, едем «домой» на Горную. Только что приехали, генерал Абрамов показывает приказ: немедленно отъезжать, противник пытается отрезать нас у Персиановки. Поезд, не останавливаясь, мчит к Новочеркасску. Успеем ли проскочить? Проехали Персиановку. Новочеркассск. В вагон вбегает офицер: «Господа, Каледин застрелился!» Быть не может!.. Конец казакам, теперь на Дону все кончено. Куда же мы теперь пойдем??

Вечером приехали к Ростову. С вокзала отряд идет в казармы с песней, но песня не клеится, обрывается, замолкает...

Я с полковником С. поехали в штаб армии. Там суета. Полковника вызвал Корнилов. «Сейчас же поедете на Таганрогский фронт. Знаю, что вы устали, измучены, с фронта, — но больше некого послать, а там неладно».

Хопры

Утро. Мы на вокзале. На Таганрогский фронт.
Ждем состава. На платформе публика.
Добровольцы поют, и гулко разносится припев:

Так за Корнилова! За родину! За веру!
Мы грянем громкое «ура»!

Кончили песню.

«Князь! Князь! Наурскую! Наурскую! Просим!!»
Все расступаются кругом, поют, хлопая в ладоши,

а красивый мингрелец, князь Чичуа, несется по кругу в национальном танце...

«Браво! Браво!» — аплодисменты.

Подали состав. Шумно садятся в вагоны. Некоторых провожают близкие... Около нашего вагона подпоручик К-ой. Его провожает молодая женщина с добрым, хорошим лицом. Она плачет, обнимает и крестит его.

Сели. Едем... Станция Хопры. Здесь фронт. На путях несколько поездных составов: классные вагоны — штабов, товарные — строевых, площадки с орудиями.

Командует участком гвардии полковник Кутепов. Людей, как всегда, очень мало. На позиции — Георгиевский полк. В нем восемьдесят солдат и офицеров. Зато штаб полный: командир, помощник, адъютант, зав. хозяйством, командир батальона, начальник связи и др. Мы стали резервом.

Мороз сменился оттепелью. Капает сверху, под ногами грязно. В товарных вагонах — холодно.

Раньше стоявшие здесь рассказывают: «Вчера бой был, сильный, понесли большие потери, но отбили и даже пленных взяли...»

«Там на станции сестра большевистская, пленная, и два латыша», — говорит, влезая в вагон, прапорщик Крылов.

«Где? Где? Пойдем, посмотрим!» — заговорили...

«Ну их к черту, я ушел... Ну и сестра, — начал он. — Держит себя как!» — «А что?» — «Говорит: я убежденная большевичка...» Этих латышей наши там бить стали, так она их защищает, успокаивает. Нашего раненого отказалась перевязывать...»

«Вот сволочь!» — протянул кто-то.

«Пойдемте, посмотрим». — «Да нет, их в вагон приказано перевести».

Часть вылезла из вагона и пошла к станции...

Немного спустя ко мне быстро подошел штабс-капитан князь Чичуа: «Пойдемте, безобразие там! Караул от вагона отпихивают, хотят сестру пленную заколоть...»

Мы подошли к вагону с арестованными. Три офицера, во главе с подполковником К., и несколько солдат Корниловского полка с винтовками лезли к вагону, отпихивали караул и ругались: «Чего на нее смотреть... ее мать!.. Пустите! Какого черта еще!»

Караул сопротивлялся. Кругом стояло довольно мно-

го молчаливых зрителей. Мы вмешались: «Это безобразно! Красноармейцы вы или офицеры?!»

Поднялся шум, крик...

Бледный офицер, с винтовкой в руках, с горящими глазами, кричал князю: «Они с нами без пощады расправляются! А мы будем разводы разводить!» — «Да ведь это пленная и женщина!» — «Что же, что женщина?! А вы видали, какая это женщина? Как она себя держит, сволочь!» — «И за это вы ее хотите заколоть? Да?»

Крик, шум увеличивался...

Из вагона выскочил возмущенный полковник С., кричал и приказал разойтись.

Все расходились.

Подпоручик К-ой шел, тихо ругаясь матерно и бормоча: «Все равно, не я буду, заколю...» Я припомнил, как его, плача, провожала и крестила женщина с добрым, хорошим лицом.

Солдаты расходились кучками. В одной из них шла женщина-доброволец... Они, очевидно, были в хорошем настроении, толкали друг друга и смеялись.

«Ну, а по-твоему, Дуська, что с ней сделать?» — спрашивал курносый солдат женщину-добровольца.

«Что? Завести ее в вагон, да и... всем, в затылок, до смерти», — лихо отвечала «Дуська»¹. Солдаты захохотали.

Первый расстрел

В то время благодаря агитации, с одной стороны, и внезапному страху приближения большевиков — с другой, поднялись казаки ближайших к Ростову станиц. Поднялись, главным образом, старики. Кто в чем, бородатые, на разномастных конях, с разнообразным оружием, казаки напоминали войска Ермака, Разина, Булавина.

Как-то раз на станцию возвращается разъезд таких казаков. Они едут, галдят...

Впереди на великолепном рыжем англичанине, в кавалерийском седле, с мундштуками, старый казак.

«Откуда конь-то такой, станичник?» — «Большевистский, захватили», — отвечает казак, легко спрыгнув с коня, и подвел привязать у изгороди...

¹ Позднее по приказу командующего эту добровольцу, «Дуську», женщину типа городской проститутки, в одной из кубанских станиц подвергли телесному наказанию за присвоение офицерской формы.

Казачи спешились. Обступили коня. Наперебой, громко крича, рассказывают, как они захватили разъезд, и восторгаются добычей...

Нервный конь перебирает мускулистыми, крепкими ногами и бычится. Другой казак подвел захваченную кобылу. Кобыла — хуже. Всем нравится рыжий англичанин. Казачи спорят о нем и нападают на старика.

«На что он тебе?!», «Отдай молодому!», «Все равно продашь», — кричат казачи. Старик отнекивается: «Да я же его взял!» — «Ты взял, а я где был?!» — кричит, вскидывая головой и размахивая руками, молодой казак-претендент.

Во время спора я заметил среди них высокого, черноусого, с бледным лицом солдата, в серой, хорошей шинели. Он стоял немного поодаль, не вмешиваясь в разговор.

«Это ваш казак?» — спросил я старика.

«Нет, их, захватили», — нехотя отмахнулся он, ему было не до разговоров — казачи отбивали коня в пользу молодого.

Пленного никто не замечал, все были увлечены спором о коне, о нем забыли.

Солдат не выдержал, дернул крайнего казача за рукав и тихо спросил: «Ну, куда же мне-то?» Тот недовольно обернулся: «Постой... Ребята, кто-нибудь отведите пленного к начальнику. Ведерников, отведи ты», — приказал казак, и опять все загалдели вокруг коня.

Ведерников нехотя вышел из толпы. Солдат, на ходу поправляя пояс, двинулся за ним.

Я стоял — смотрел на галдеж казачов, но вдруг сзади услышал разговор проходивших солдат: «Видал? Поймали одного, сейчас расстреливать», — и пошел вместе с ними к путям. Навстречу мне солдаты Корниловского полка с винтовками в руках вели этого самого черноусого солдата. Лицо его было еще бледнее, глаза опущены.

Со всех сторон из вагонов выпрыгивали и бежали люди: смотреть.

Черноусого солдата вели к полю. Перешли последний путь... Я влез в вагон. Выстрел — один, другой, третий...

Когда я вышел, толпа расходилась, а на месте осталось что-то бело-красное. От толпы отделился, подошел ко мне молоденький прапорщик: «Расстреляли. Ох, неприятная штука... Все твердит: «За что же, братцы, за

что же?» А ему: ну, ну, раздевайся, снимай сапоги... Сел он сапоги снимать. Снял один сапог. «Братцы, — говорит, — у меня мать-старуха, пожалейте!» А тот курносый солдат-то наш: «Эх, да у него и сапоги-то дырявые...» — и раз его, прямо в шею, кровь так и брызнула».

Пошел снег. Стал засыпать пути, вагоны и расстрелянное тело...

Мы сидели в вагоне. Пили чай.

У генерала Корнилова

На другой день от офицеров отряда я и штабс-капитан князь Чичуа выехали в Ростов к генералу Корнилову просить его не разлучать нас с нашим начальником полковником С.¹

Было около 9 часов утра, когда мы пришли в переднюю штаба и вызвали адъютанта Корнилова, подпоручика Долинского. Он провел нас в приемную, соседнюю с кабинетом генерала.

В приемной, как статуя, стоял текинец. Мы были не первые. Прошло несколько минут, дверь кабинета открылась: вышел какой-то военный, за ним Корнилов, любезно провожая его.

Л.Г. был одет в штатский потертый костюм, черный в полоску, брюки заправлены в простые солдатские сапоги, костюм сидел мешковато.

Он поздоровался со всеми. «Вы ко мне, господа?» — спросил нас. «Так точно, ваше высокопревосходительство». — «Хорошо, подождите немного», — и ушел.

Дверь кабинета снова открылась: Корнилов прощался с штатским господином. «Пожалуйста, господа». Мы вошли в кабинет — маленькую комнату с письменным столом и двумя креслами около него. «Ну, в чем ваше дело? Рассказывайте», — сказал генерал и посмотрел на нас. Лицо у него бледное, усталое. Волосы короткие, с сильной проседью. Оживлялось лицо маленькими, черными, как угли, глазами.

«Позвольте, ваше высокопревосходительство, быть с вами абсолютно искренним». — «Только так, только так и признаю», — быстро перебивает Корнилов.

Мы излагаем нашу просьбу. Корнилов, слушая, чертит карандашом по бумаге, изредка взглядывая на нас черными пронизательными глазами. Рука у него малень-

¹ Отряд мог быть влит в другую часть.

кая, бледная, сморщенная, на мизинце — массивное, дорогое кольцо с вензелем.

Мы кончили. «Полковника С. я знаю, знаю с очень хорошей стороны. То, что у вас такие отношения с ним, меня радует, потому что только при искренних отношениях можно работать по-настоящему. Так должно быть всегда у начальников и подчиненных. Просьбу вашу я исполню». Маленькая пауза. Мы поблагодарили и хотим просить разрешения встать, но Корнилов нас перебивает: «Нет, нет, сидите, я хочу поговорить с вами... Ну, как у вас там, на фронте?» И генерал расспрашивает о последних боях, о довольствии, о настроении, о помещении, о каждой мелочи. Чувствуется, что он этим живет, что это для него «все».

В моем рассказе промелькнуло: «Я видел убитых на платформах». Корнилов встрепнулся, вспыхнул, блеснувшие глаза остановились на мне: «Как на платформах! В такую погоду! Почему? Разве нет вагонов?!» Ответить на вопросы я не могу. Корнилов взволновался, быстро пишет что-то на клочке бумаги¹. Разговор продолжался. В конце его Корнилов спросил, где мы служили на фронте, и, когда узнал, что в его армии, задержал нас, расспрашивая: а были там-то? А были в таком-то деле?

Генерал прощался. «Кланяйтесь полковнику С.», — говорил он нам вслед. Выходя из кабинета, мы столкнулись с молодым военным с совершенно белой головой. «Кто это?» — спрашиваю адъютанта. Он улыбается: «Разве не знаете? Это Белый дьявол, сотник Греков. Генерал узнал, что он усердствует в арестах и расстрелах, и вызвал, кажется, на разнос».

Пройдя блестящий зал штаба, мы вышли. Корнилов произвел на нас большое впечатление. Что приятно поражало всякого при встрече с Корниловым — это его необыкновенная простота. В Корнилове не было ни тени, ни намека на бурбонство, так часто встречаемое в армии. В Корнилове не чувствовалось «его превосходительства», «генерала от инфантерии». Простота, искренность, доверчивость сливались в нем с железной волей, и это производило чарующее впечатление.

В Корнилове было «геронческое». Это чувствовали все и потому шли за ним слепо, с восторгом, в огонь и в воду.

Казак Корнилов казался «национальным героем».

¹ Позднее я узнал, что генерал требовал по этому поводу объяснений от начальника участка.

Кругом же были «просто генералы». И когда я узнал от близких к Корнилову лиц про интриги вокруг него, я понял, что это происходит именно поэтому.

Чалтырь

Мы с князем возвращались на фронт. За несколько дней положение на Таганрогском фронте изменилось. Поднялись казаки ближайших станиц (вернее, их искусственно подняли, так как настроение казаков было неуверенное), и хорунжий Назаров, начальник партизанского отряда, решил ударить с ними на село Салы, где, по сведениям, находились большевики. Разведки достаточной не было. Хорунжий бросился на «ура» и налетел на значительные силы большевиков с артиллерией.

Казаков разбили. Они в беспорядке бежали, оставив под Салами раненых и убитых. «Подъем» упал, казаки замитинговали: «Нас продали», «Нас предали», «Опять ахвицара!»

Подъезжая к Хопрам, мы застали такой митинг. Казаков пробует уговорить новый начальник участка генерал Черепов, но бесполезно: казаки решили расходиться по домам. Пробует уговорить их и священник станицы Гниловской с распятым на груди¹. Он поднимал казаков, ходил с ними в бой, но теперь его не слушают. «Чего нам говорнты!», «Сами знаем, что делать!», «Идем по домам!», «Нет, где этот начальник наш, туды его мать? Где он, мать его?.. Убежал, сволочь!»².

Казаки разошлись. Их выступление только обострило положение. К нашему отряду придана часть кавалерийского дивизиона полковника Гершельмана, и мы двинулись к селу Чалтырь, на окраине которого и расположились.

Село Чалтырь — очень богатое. Жители его — армяне. Мы ждали радушного приема, но жители сторонятся нас, стараются ничего не продавать, а что продают, то по крайне дорогой цене. В разговорах с ними пытаешься рассеять неприязненное отношение, но наталкиваешься на полное недоверие и злую подозрительность.

Стоим день. На другой, поздним вечером, получен приказ: отойти на Хопры.

Вышли в степь. Мороз, ветер, темь, метель. Засыпа-

¹ Священника ст. Гниловской, взяв станицу, повесили большевики.

² Это относилось к Назарову, который действительно был уже в Ростове.

ет снегом, трудно вытаскиваются ноги, колонна растянулась по одному... Идем, вязнем в снегу; остановились — дороги нет. Ветер налетает, гудит по винтовкам. «Провод телефонный ищите! По нему пойдем!» — кричит кто-то. Люди толпятся как стадо, мерзнут, ругаются, лезут по снегу искать дорогу. Слышны голоса: «Руку отморозил», «Давай сюда винтовку!», «Оттирай, оттирай скорей!» Начинается легкая паника. Трут друг другу руки, лицо. Более слабые стонут.

Наконец нашли дорогу, опять поплелись по глубокому снегу. То и дело слышно: «Пожалуйста, потри, потри, совсем замерзла, не слышу, ей-богу...»

Кто-то едет навстречу, поравнялся с головой колонны, и все остановились. По ветру доносится раздраженный голос полковника С.: «Так чего же раньше не телефонировали! Я людей обморозил!» — «Генег'ал отменил приказание, — отвечает лейб-улан полковник Гершельман, — вам надо возг'атиться в Чалтыг'ь».

Среди отряда ропот, ругань... «Сволочи, это всегда у нас так!», «Сидеть в вагоне — не в степи мерзнуть», «Безобразие, не могли раньше позвонить!»

«Я впег'ед поеду, полковник», — говорит Гершельман, садится в сани и скрывается в холодной темноте.

Повернули назад. Теперь еще холоднее, ветер бьет в лицо. Люди торопятся, сбиваются с дороги, еще чаще: «Потрите, господа, ради бога», «Ох, не могу идти». Останавливаются кучки, некоторых оттирают, других еле-еле ведут под руки.

«Господа, капитан в поле остался», — кричит кто-то.

«Ну что же делать, из села пришем подводу», — отвечают другие, торопясь вперед.

Огоньки — пришли в Чалтырь. Поверка людей — трех недостает. В поле идет подвода и два офицера: искать.

Из 102 человек 60 обморозились. Тяжело обмороженных отправляют на Хопры и в Ростов.

Полковник С. доносит, требует теплых вещей. «Выслано, выслано», — отвечают из штаба, и мы ничего не получаем по-прежнему. Весь отряд обвязан бинтами, платками, тряпками...

Бой

А ранним утром следующего дня в хату вбежал офицер: «Господин полковник! Большевики наступают!» — «Как, где?» — «Разъезды уже в село въезжают, а там показались цепи...»

«В ружье! Всем строиться! Выходить!»

День зимний, яркий. Торопясь выбегают из хат люди, поблескивая на солнце штыками. Эта окраина села возвышенной: видно, как к противоположной подъезжают конные — игрушечные солдатики, а на ярко-белой линии горизонта появились черные, густые цепи.

«Вторая рота, построиться! Будем залпами стрелять по разездам», — кричит полковник С.

Рота вытянулась серой лентой. Лица напряжены, слегка бледны. Никто ничего не говорит. Щелкнули затворы, взлетели винтовки, шеренга ошетибилась.

«Ротта! — Замерли. — Пли». Гремит залп. Черненькие, игрушечные фигурки-кавалеристы остановились, метнулись...

«Ротта — пли!» Залп! Фигурки повернулись, вскачь несутся к цепям.

«Скачут, сволочи, — бросает полковник. — Рота — пли».

Вж... вж... — шуршит в ответ шелковой юбкой первая шрапнель, и за нами вспыхивает белое, звонкое облачко.

«Перелет», — говорит кто-то.

На взмыленной, задохнувшейся лошади подскакал ординарец: приказано отойти к Хопрам. Начали отступление. По белому, топкому снегу, блестящему миллионами цветов и блесок, растянулись черными пятнами две цепи, а сзади, застилая горизонт, густыми, черными полосами движутся на нас большевики.

«Смотрите, у них кавалерия на фланге», — говорит кто-то.

Видно, как справа от пехотных цепей, мешаясь, неровно колышется кавалерия.

Глухой выстрел! Приближаясь, свистит снаряд... по нас, по нас... нет... перелет... по первой цепи... с визгом и звоном взрывает белый снег граната, оставляя черное пятно. Люди упали. Все ли встанут? Нет, встали, цепь движется.

Чаще, чаще, свистят, рвутся снаряды. Большевики движутся быстро, наседают, наседают...

Скачет второй ординарец: приказано занять позицию южнее станции Хопры — станцию оставили.

Перелезли поросший кустарником овраг, рассыпались по возвышенности и залегли.

Впереди открытая белая степь, по ней ползут черные полосы — цепи, влево и вправо от них уступами колышется кавалерия...

Над нами звонко рвутся белым облачком шрапнели. Около нас с визгом роют землю гранаты...

Но вот и за нами приятно громынуло: наша бьет. Еще и еще через головы с воем уходят снаряды. Все жадно ловят: как разрывы?

«Недолет», «Хорошо», «Прямо по цепям», — слышатся возгласы...

Артиллерия бьет часто и метко. В цепях большевиков замешательство. Залегла первая — остальные оставились. Видно, как смыкаются, толпятся... «Смотрите, смотрите, товарищи митингуют!»

Вместо цепей на снегу уже пятна, неровные, колеблющиеся.

Вот опять медленно расходятся, передняя цепь двинулась вперед, наступают...

Рвутся их снаряды, и клокочут уходящие наши. Пулеметчик прижался к пулемету. Пулемет ожесточенно захлопал, дрожит, выбрасывает струйку белого дыма и рвется вперед, как скаковая лошадь.

Пиу... пиу... — свистят, мягко тыкаясь, пули. Защелкали винтовки. Серые фигуры вжались в белый снег. Лица бледны, серьезно ожесточенны. Глаза выбирают черные точки на противоположной стороне, руки наводят на них винтовки, глаза зорко целятся...

Мы — горсточка. Единственная наша защита — артиллерийский огонь. Полковник С. зовет меня: «Сейчас же на будке возьмите лошадь, скачите к начальнику участка, доложите, что на нас наступают два полка пехоты, охватывают фланги батальона по два, кроме того, с флангов кавалерия... Спросите приказаний и не будет ли подкреплений...»

Я сажусь верхом. Усталая лошадь не хочет идти. Бью ее, скачу.

На крыше вагона офицер и генерал Черепов. Генерал в бинокль смотрит вдаль — на бой. Сидя верхом, приложив руку к козырьку, докладываю приказание полковника С. и прошу распоряжений.

Вдали слышатся разрывы снарядов, ружейная пальба и пулеметы...

Генерал Черепов секунду молчит. «Голубчик, доложите все это генералу Деникину, он здесь в поезде, в другом, сзади...»

Еду, ищу. «Вагон командующего?» — «Вон, второй вагон-салон...»

Спрыгиваю с лошади — вхожу в вагон. «Вам кого?» — спрашивает офицер в красивой бекеше и выходных сапогах. «Генерала Деникина, с донесением». — «Сейчас...»

Выходит Деникин. В зеленой бекеше, папахе, черные брови сжаты, лицо озабочено, подает руку... «Здравствуйте, с донесением?» — «Так точно, ваше превосходительство».

Повторяю донесение... «Полковник С. приказал спросить, не будет ли подкрепления и не будет ли новых приказаний?»

Лицо Деникина еще суровее, «подкреплений не будет», отрезает он.

«Что прикажете передать полковнику С.?»

«Что же передать? Принять бой!» — с раздражением и резко говорит он.

Сажусь на лошадь. Проносится злобная мысль: хорошо тебе в вагоне с адъютантами «принимать бой». Ты бы там «принял». И тут же: ну что же Деникин мог еще сказать? Отступать ведь некуда, подкреплений нет. Стало быть, все ляжем...

«Ну, что?» — кричит издали полковник С. «Подкреплений не будет. Принять бой приказал генерал Деникин», — отвечаю я, спрыгивая с лошади. «Деникин? Он здесь? Вы ему все сказали?» — «Все». — «И принять бой?» — «Да». — «Стало быть, всем лечь. Хорошо», — говорит полковник С., и в голосе его та же злоба.

Несут раненых. «Куда ранен?» — «В живот», — тихо отвечают несущие.

Цепи наступают. С ревом, визгом рвутся гранаты, трещат винтовки, залились пулеметы. Все смешалось в один перекатывающийся гул...

Но вот первая большевистская цепь не выдержала нашей артиллерии, дрогнула, смешалась со второй.

По дрогнувшим цепям чаще затрещали винтовки, ожесточенней захлопали пулеметы, непрерывно ухает артиллерия...

Большевики смешались, отступают, побежали...

Отбили. И сразу тяжесть свалилась с плеч. Стало легко. «Слава богу».

Смолкают винтовки, пулеметы, редко бьет артиллерия.

Полковник С. стоит около цепей на холмике. К нему идет генерал Деникин с адъютантом. Полковник рапортует. Деникин сумрачно смотрит на цепи. «А это что у вас за люди, полковник?» — «Это цепочка для связи, ваше превосходительство». — «Людей нет в цепи, а вы столько отвлекаете для связи? Как же это, полковник? Ведь вы же «необыкновенный»¹.

Кончился бой. Смеркалось. В тишине вечера молчаливо сходятся усталые люди.

Ночью на краю оврага заняли маленькую дачу из двух комнат. Все повалились на пол, заснули мертвым сном.

Из караула приходит офицер, расталкивает смену: «Вставай — смена!» — «Сейчас, ладно», — бормочет тот спросонья, лениво встает, берет холодную винтовку и, потягиваясь, выходит на мороз из душной, битком набитой комнаты.

Всю ночь полковник С. посылает рапорта генералу Черепову с просьбой позаботиться о теплых вещах и довольствии, которого за день не получили...

Рассвет чуть бледнеет. Люди на ногах. Внутри неприятно тянет, сосет: «Сейчас опять наступление, бой».

Вчера измятый снег розовеет. Выкатывается край багряного солнца. Люди лежат в цепи час, два. Но большевики не наступают, даже молчит артиллерия. От взводов остаются дежурные — остальные уходят греться.

Так стоим на этой позиции несколько дней. Мы не отдыхали с выхода на Сулин, почти все обморожены, теплых вещей — нет, довольствия — почти нет, многие заболели — уехали в Ростов.

Полковник С. просит о нашей смене. Долго отказывают. Наконец нас сменяют отряд Белого дьявола в 30 человек и капитан Чернов с 50 офицерами.

Мы едем в Ростов.

Опять у Корнилова

Рано утром с вокзала полковник С. посылает меня с докладом к генералу Корнилову.

С обязанным, обмороженным лицом, в холодных

¹ Полковник С. был очень близок генералу Корнилову, за что его не любили генералы штаба.

сапогах, в холодной шинели, я пришел в штаб армии. У дверей блестящий караульный офицер-кавалерист грубо спрашивает: «Вы кто? Вам кого?» — «Я к генералу Корнилову». — «Подождите». — «Позовите адъютанта генерала подпоручика Долинского».

Вышел Долинский, провел меня в свою комнату, соседнюю с кабинетом генерала. «Подождите немного, там Романовский и Деникин, я доложу тогда... Ну, как у вас дела?» — любезно спрашивает адъютант. Я рассказываю: «...не ели почти три дня... обмерзли все... под Хопрами пришлось туго... Корниловцы на станции раненых своих бросили...» Он смотрит мимо меня. «Да, да... ужасно, но знаете, у нас тоже здесь каторга...» — в чем-то оправдывается адъютант.

В кабинете смолкли голоса, в комнату вошел Корнилов. Я передаю записку полковника С. и докладываю. «Столько обмороженных! Не получали консервов?! До сих пор нет теплого! — кричит Корнилов, хватаясь за голову. — Идемте сейчас же за мной».

Быстрыми шагами, по диагонали, генерал перерезает зал штаба, где все с шумом вскочили, вытянулись и замерли. Мы входим в кабинет начальника снабжения — генерала Эльснера. «Генерал, послушайте, что вам доложит офицер отряда полковника С.», — грубо говорит Корнилов, поворачивается и уходит.

Я докладываю. Эльснер нетерпеливо морщится. «Это неверно, все было выслано...» — «Не могу знать, ваше превосходительство, мы не получали. Мне приказано доложить вам». Он нетерпеливо слушает: «Не знаю, этого не могло быть, ваша фамилия?»

Я вышел в зал. Некоторые офицеры штаба бесшумно скользят по паркету новыми, казенными валенками, другие шумно топают новыми солдатскими сапогами, а у нас на фронте ни того, ни другого. И здесь, как всегда и везде, фронт и штаб жили разной жизнью, разными настроениями.

Это ясно сказалось, когда полковник генерального штаба К. перебил рассказ полковника С. о тяжелом положении фронта своим возмущением: «Нет, вы знаете! Какое у меня кипроко вышло с Романовским! Вчера мне замечание! Да в какой форме! В каком тоне!.. Ну, сегодня он ко мне обращается, а я такую морду сделал! Раз, два, наконец очень любезен стал».

Последний день Ростова

В этот приезд в Ростове ощущалась необыкновенная тревога. Обыватели взволнованы, чего-то ждут, по городу носятся жуткие слухи о приближении большевиков, слышны глухие удары артиллерии. До Ростова уже начали долетать тяжелые снаряды из Батайска. На улицах появились странные, чего-то ждущие люди, собираются кучками, что-то обсуждают. Но штаб армии спокоен — и мы спокойно собираемся отдохнуть. Рано утром 9 февраля 1918 года, когда мы еще спали, в казармы вбежал взволнованный полковник Назимов: «Большевистские цепи под Ростовом!» — «Как? Не может быть?» — «Мои студенты и юнкера уже в бой ушли...»

Приказ: никому не отлучаться, быть в полной боевой готовности. Вышли на двор (мы на краю города) — слышна артиллерийская, ружейная, пулеметная стрельба. Стоя здесь, мы очутились резервом.

С каждым часом стрельба близится. На дворе, около казармы, уже рвутся снаряды. Артиллерия гудит кругом, и в три часа дня получен приказ: оставляем город, уходим в степи... мы назначены в арьергард.

Офицеры бросают свои вещи. Большая комната-склад завалена бекешами, выходными сапогами, синими, зелеными галифе, шапками, бельем. Некоторые торопливо переодеваются в лучшее — чужое. Некоторые рубят вещи шашками и сыпят матерную брань.

Мы, в шинелях, с винтовками, патронташами, с мешками на спинах, ждем выступления. В комнате тихо. Все молчат, думают. Настроение тяжелое, почти безнадежное: город обложен, мы захвачены врасплох, куда мы идем? И сможем ли вырваться из города?

Откуда-то привели в казармы арестованного, плохо одетого человека. Арестовавшие рассказывают, что он кричал им на улице: «Буржуи, пришел вам конец, убегайте, никуда не убежите, постойте!» Они повели его к командующему участком, молодому генералу Б. Генерал — сильно выпивши. Выслушал и приказал: «Отведите к коменданту города, только так, чтоб никуда не убежал, понимаете?»

На лицах приведших легкая улыбка: «Так точно, ваше превосходительство».

Повели... недалеко в снегу расстреляли...

А в маленькой, душной комнате генерал угощал пол-

ковника С. водкой. «Полковник, ей-богу, выпейте». — «Нет, ваше превосходительство, я в таких делах не пью». — «Во-от, а я, наоборот, в таких делах и люблю быть в полсвиста», — улыбался генерал.

Темнело. Кругом гудела артиллерия. То там, то сям стучал пулемет.

Вдруг в комнату вбежала обтрепанная женщина с грудным ребенком на руках. Бросилась к нам. Лицо бледное, глаза черные, большие, как безумные... «Голубчики! Родненькие! Скажите мне, правда, маво здесь убили?» — «Кого? Что вы?» — «Да нет!» — «Мужа маво два офицера заарестовали на улице, вот мы здесь живем недалечко, сказал он им что-то... миленькие, голубчики, скажите, где он?» Она лепетала как помешанная, черные большие глаза умоляли. Грудной ребенок плакал, испуганно-крепко обхватив ее шею руками... «Миленькие, они сказали, он бальшавик, да какой он бальшавик! Голубчики, расстреляли его, мие сказывал сейчас один». — «Нет, что вы, тут никого не расстреливали», — пробовал успокоить ее я, но почувствовал, что это глупо, и пошел прочь.

А она все твердила: «Господи! Да что же это? Родненькие, скажите, где он?»

Я подошел к нашим сестрам: Тане и Варя. Они стояли печальные, задумчивые. «Вот посоветуйте, идти нам с вами или оставаться,— говорит Варя.— Мама умоляет не ходить, а я не могу и Таня тоже». — «Советую вам остаться: ну куда мы идем? Неизвестно. Может быть, нас в первом переулке пулеметом встретят. За что вы погибнете? За что вы принесете такую боль маме?» — «А вы?» — «Ну, что же мы, мы пошли на это». Варя и Таня задумались.

Совсем стемнело. Утихла стрельба. Мы строимся. Все тревожно молчат. На левом фланге второй роты в солдатских шинелях, папах, с медицинскими сумками за плечами Таня и Варя.

«Сестры! А вы куда?» — подходит к ним полковник С. «Мы с вами». — «А взвесили ли вы все? Знаете ли, что вас ждет? Не раскаетесь?» — «Нет, нет, мы все обдумали и решили», — взволнованно-тихо отвечают Таня и Варя.

Толпимся, выходим во двор. В дверях прислуживавшие в кухне женщины плачут в голос: «Миленькие, да куда же вы идете, побьют вас всех! Господи!»

Отступление армии

Тихий синий вечер. Идем городом. Мигают желтые фонари. На улицах — ни души. Негромко отбивается нога. Приказано не произносить ни звука. Попадаются темные фигуры, спрашивают: «Кто это?» Молчание. «Кто это идет?» Молчание. «Давно ждали вас, товарищи», — говорит кто-то из темных ворот. Молчание...

Город кончился — свернули по железной дороге. Свист — дозоры остановились. Стали и все, кто-то идет навстречу.

«Кто идет?» — «Китайский отряд сотника Хоперского». Подошли: человек тридцать китайцев, вооруженных по-русски. «Куда идете?» — «Ростов, большевик стреляй». — «Да не ходите, город оставляем, куда вы?» — говорим мы идущему с ними казаку. Казак путается: «Мы не можем, нам приказ». — «Какой приказ? Армия же уходит. А где сотник?» — «Сотника нет».

Китайцы ничего не хотят слушать, идут в Ростов, скрылись в узкой темноте железной дороги...

«И зачем эту сволочь набрали, ведь они грабить к большевикам пошли», — говорит кто-то. «Это сотник Хоперский, он сам вывезенный китаец, вот и набрал. В Корниловский полк тоже персов каких-то наняли...»

Дошли до указанной в приказе отступления будки. Здесь мы должны пропустить армию и двигаться в арьергарде.

Мимо будки в темноте снежной дороги торопится, тянется отступающая армия. Впереди главных сил, с мешком за плечами, прошел Корнилов. Быстро прошли строевые части, но обоз бесконечен.

Едут подводы с женщинами, с какими-то вещами. На одной везут ножную швейную машину, на другой торчит граммофонный рупор, чемоданы, ящики, узлы. Все торопятся, говорят вполголоса, подгоняют друг друга. Одни подводы застревают, другие с удовольствием обгоняют их.

Арьергард волнуется. Хочется скорее уйти от Ростова: рассвет, большевики займут город, бросятся в погоню — нас всего 80 человек, а тут бесконечно везут никому не нужную поклажу. Наконец обоз кончился, и мы отходим на станицу Александровскую. В Ростове слышна стрельба, раз долетело громовое «ура». В Александровской на улицах казачьи патрули, казаки настроены тревожно. И не успели мы остановиться, как от станич-

ного атамана принесли бумагу: немедленно уходите, казаки не хотят подвергать станицу бою.

Отступаем на Аксай. Уже день. Расположились по хатам. Опять от станичного атамана такая же бумага. Полковник С. резко отвечает.

Ночью аксайские казаки обстреливают наши посты. Полковник С. грозит атаману вызвать артиллерию, «сместить станицу».

Сутки охраняем мы переправу через Дон. Здесь сходятся части, отступающие из Новочеркасска и Ростова.

По льду идут орудия, подводы, идут пешие.

Кончилась переправа, и мы уходим через Дон в степи на станицу Ольгинскую...

Часть вторая

ОТ РОСТОВА ДО ЕКАТЕРИНОДАРА

В донских степях

В Ольгинской расположилась вся армия. День солнечный, теплый — тает снег, на улицах черные проталины, в колеях дорог вода. По станице снуют конные, пешие, кучками ходят казаки, с любопытством смотря на кáдетов...¹

Здесь армия наскоро переформируется. Пехота сводится в три полка: офицерский с командиром генералом Марковым, партизанский с командиром генералом Богаевским и Ударный Корниловский с командиром подполковником Нежинцевым.

В офицерском полку — три роты по 250 человек.

В Корниловском — три батальона, всего около 1000 человек².

В партизанском — человек 800—1000.

Конные отряды: полковника Глазенапа, полковника Гершельмана, есаула Бокова, имени Бакланова — всего 800—1000 человек.

Артиллерия: пушек 10 легких и к ним немного снарядов.

Обоз сократили.

Штатским Корнилов приказал оставить армию.

Через день выступаем в степи на ст. Хомутовскую. Шумит, строится на талых улицах пехота, скачут конные, раздаются команды, крики приветствия... Армия тронулась. В авангарде — генерал Марков, в арьергарде — корниловцы.

День весенний. Небо голубое. Большое блистающее солнце. Прошли станицу — раскинулась белая, тающая степь без конца, и в этом просторе изогнулась черной змейкой маленькая армия, растянулись пешие, конные, обозы...

«Корнилов едет! Корнилов едет!» — несется по рядам сзади.

«Полк, смирно! Равнение направо!»

¹ Так называли нас на Дону и Кубани.

² Наш отряд влился в Корниловский полк тремя офицерскими ротами.

Все смолкло, выравнились ряды, повернулись головы...

Быстро, крупной рысью едет Корнилов на светло-буланом английском коне. Маленькая фигура генерала уверенно и красиво сидит в седле, кругом него толпой скачут текинцы в громадных черных, белых папахах...

Генерал поравнялся с нами. Слегка откинувшись, сдерживая коня, кричит резким, не идущим к его фигуре басом: «Здравствуйте, молодцы-корниловцы!» — «Здраем желаем, ваше высочество!» — на ходу, нестройно, но громко и восторженно отвечают корниловцы.

Генерал рысью пролетел, за ним перекатываются нестройные приветствия.

Появление Корнилова, его вид, его обращение вызывают во всех чувство приподнятости, готовности к жертве. Корнилова любят, к нему благоговейно.

Останавливаясь, отдыхая, тянется армия...

В белой дали показался табун диких коней. Пригнувшись, поскакали за ним кавалеристы...

«Пускай поймают», — иронически ухмыляется верховой казак.

Метнулся табун, в стороны понеслись молодые кони. Кавалеристы гоняются за ними, носятся по степи, но не поймать диких. На взмыленных, тяжело дышащих конях возвращаются к дороге...

К вечеру пришли в Хомутовскую. По улицам мечутся квартирмейстеры. Не хватает хат. Люди разных частей переругиваются из-за помещений. Переночевали... Ранним утром торопятся, пьют чай, звенят, разбирая винтовки. Та-та-та... — протрещало где-то.

«Что это? Пулемет?» — «Какой пулемет — на дворе что-то треснуло».

На минуту все поверили. Но вот ясно затрещал пулемет, а за ним с визгом разорвались на улице две гранаты.

«В ружье!» — командует полковник.

«Большевики нагоняют», — думает каждый.

По полосатым от тающего снега улицам бегут взволнованные люди. Вылетают из ворот обозные телеги, бессмысленно несясь вскачь.

«Куда скачешь?» — кричат пехотинцы.

«Эта обозная сволочь всегда панику делает!»

Быстро идем на край станицы. Мимо нас скачет обоз, вон коляска с парой вороных коней — в ней генералы Эльснер и Денкин. А навстречу идет Корнилов с

адъютантами. «По обыкновению наши разъезды прозевали, ничего серьезного, будьте спокойны, господа», — говорит генерал.

Мы рассыпались в цепь за станицей. Редкие выстрелы винтовок, редко бьет артиллерия. Большевики ушли. Все смолкло.

Опять идем по бескрайней белой степи...

Один день похож на другой. И не отличить их, если б не весеннее солнце, начавшее заменять белизну ее черными проталинами и ржавой зеленью...

Прошли Кагальницкую, Мечетинскую, движемся в главных силах. Корнилов идет вместе с нами. То там, то сям запевают песни. Кругом дымится, потягивается от солнца уже черно-пегая степь.

Приостановилась колонна. Около нее стоит Корнилов, в зеленом полушубке, в солдатской папахе, в солдатских сапогах, задумался, смотрит вдаль, окруженный молодежью...

За войсками скрипит обоз. На телеге — группа штатских: братья Суворины с какой-то дамой. Подвода техинцев с Федором Баткиным¹. Трясется на подводе сотрудник «Русского слова» — Лембич. В маленькой коляске — генерал Алексеев с сыном...

Едут кругом подвод прапорщики-женщины.

Везут немногих раненых, взятых из Ростова, рядом идут сестры...

В Егорлыцкой — последней донской станице — дневка. Остановились у богатого казака. Хозяйка напекла блинов, пьем чай, разговариваем с хозяином. «А какой у вас пай, хозяин?» — «У нас, слава богу, — медленно отвечает казак, — на казака пай 28 десятин пахоты, а луга общие». — «Э, да вы буржуи настоящие». — «Какие там буржуи... вот теперь расход большой, — продолжает хозяин, — снарядить двух меньших пришлось, за коней по полтысячи отдал... кто знает, время лихое — народ молодой, может, еще воевать придется». Помолчали. «Ну, говорит, у вас генерал Алексеев-то», — одобрительно покачивает головой хозяин. — «А что? Речь, что ли, вам говорил?» — «Говорил... До слез довел, сам плакал, и казаки плакали, ей-богу... Начал издали, про нашу историю говорил, потом про войну, про теперешнее... Да я и не перескажу всего — больно хорошо». — «А Корнилов говорил?» — «Говорил, да он не красно, все ругался

¹ Баткина ненавидели гвардейцы, но он взят Корниловым и выступает вместе с ним перед казаками.

больше: мерзавцы, подлецы». — «Это кого же?» — «Кого? Известно кого — большевиков, сказывал, что сам простой казак, ну да не красно он говорил... матрос после него говорил — хорошо, а лучше всех генерал Алексеев...»

Из станицы Егорлыцкой мы должны идти в Ставропольскую губернию. Всех интересует: как встретят не казаки? Ходят разные слухи: встретят с боем, встретят хлебом-солью. Стало известно: к Корнилову приезжала депутация из села Лежанки. Корнилов сказал ей: пропустите меня — будьте покойны, ничего плохого не сделаю, не пропустите, огнем встретите — за каждого убитого жестоко накажу.

Депутация изъявила свою лояльность.

Казалось, что все обстоит благополучно.

Лежанка

Мы выступили...

Те же войска, тот же обоз потянулись по той же степи.

В авангарде генерал Марков. В главных силах — мы.

День чудный! На небе ни облачка, солнце яркое, большое. По степи летает теплый, тихий ветер.

Здесь степь слегка волнистая. Вот дойти до того гребня, и будет видна Лежанка...

Приближаемся к гребню.

Все идут, весело разговаривая.

Вдруг среди говора людей прожужжала шрапнель и высоко впереди нас разорвалась белым облачком.

Все смолкли, остановились...

Ясно доносилась частая стрельба, заливчато хлопал пулемет...

Авангард встречен огнем.

За первой шрапнелью летит вторая, третья, но рвутся высоко и далеко от дороги.

Мимо войск рысью пролетел Корнилов с текинцами. Генерал Алексеев проехал вперед.

Мы стоим недалеко от гребня в ожидании приказаний.

Ясно: сейчас бой. Чувствуется приподнятость. Все толпятся, оживленно говорят, на лицах улыбки, отпускаются шутки...

Приказ: Корпиловский полк пойдет на Лежанку

вправо от дороги, партизанский — влево, в лоб ударит авангард генерала Маркова.

Мы идем цепью по черной пашне. Чуть-чуть зеленеют всходы. Солнце блестит на штыках. Все веселы, радостны — как будто не в бой...

Расходились и сходились цепи,

И сняло солнце на пути.

Было на смерть в солнечные степи

Весело идти...—

бьется и беспрестанно повторяется у меня в голове. Вдали стучат винтовки, трещат пулеметы, рвутся снаряды.

Недалеко от меня идет красивый князь Чичуа, в шинели нараспашку, следит за цепью, командует: «Не забегайте вы там! Ровнее, господа!»

Цепь ровно наступает по зеленеющей пашне... вправо и влево фигуры людей уменьшаются, вдали доходя до черненьких точек.

Пиу... пиу... — долетают к нам редкие пули.

Мы недалеко от края села...

Но вот выстрелы из Лежанки смолкли...

Далеко влево пронеслось «ура»...

«Бегут! Бегут!» — пролетело по цепи, и у всех забила радостно-охотничья страсть: бегут! бегут!

Мы уже подошли к навозной плотине, вот оставленные, свежевырытые окопы, валяются винтовки, патрон-таши, брошенное пулеметное гнездо...

Перешли плотину. Остановились на краю села, на зеленой лужайке около мельницы...

Куда-то поскакал подполковник Нежинцев.

Из-за хат ведут человек 50—60 пестро одетых людей, многие в защитном, без шапок, без поясов, головы и руки у всех опущены.

Пленные.

Их обгоняет подполковник Нежинцев, скачет к нам, остановился — под ним танцует мышиного цвета кобыла.

«Желающие на расправу!» — кричит он.

«Что такое? — думаю я. — Расстрел? Неужели?»

Да, я понял: расстрел вот этих 50—60 человек с опущенными головами и руками.

Я оглянулся на своих офицеров.

Вдруг никто не пойдет, пронеслось у меня.

Нет, выходят из рядов. Некоторые смущенно улыбаясь, некоторые с ожесточенными лицами.

Вышли человек пятнадцать. Идут к стоящим кучкой незнакомым людям и щелкают затворами.

Прошла минута.

Долетело: пли!.. Сухой треск выстрелов, крики, стоны...

Люди падали друг на друга, а шагов с десяти, плотно вжавшись в винтовки и расставив ноги, по ним стреляли, торопливо щелкая затворами. Упали все. Смолкли стоны. Смолкли выстрелы. Некоторые расстреливавшие отходили.

Некоторые добивали прикладами и штыками еще живых.

Вот она, гражданская война: то, что мы шли цепью по полю, веселые и радостные чему-то,— это не «война»... Вот она, подлинная гражданская война...

Около меня — кадровый офицер, лицо у него как у побитого. «Ну, если так будем, на нас все встанут», — тихо бормочет он.

Расстреливавшие офицеры подошли.

Лица у них бледны. У многих бродят неестественные улыбки, будто спрашивающие: ну, как после этого вы на нас смотрите?

«А почему я знаю! Может быть, эта сволочь моих близких в Ростове перестреляла!» — кричит, отвечая кому-то, расстреливавший офицер.

Построиться! Колонной по отделениям идем в село. Кто-то деланно лихо запеваёт похабную песню, но не подтягивают, и песня обрывается.

Вышли на широкую улицу. На дороге, уткнувшись в грязь, лежат несколько убитых людей. Здесь все расходится по хатам. Ведут взятых лошадей. Раздаются выстрелы...

Подхожу к хате. Дверь открыта — ни души. Только на пороге вниз лицом лежит большой человек в защитной форме. Голова в луже крови, черные волосы слиплись...

Идем по селу. Оно как умерло: людей не видно. Показалась испуганная баба и спряталась...

На углу — кучка, человек двенадцать. Подошли к ним: пленные австрийцы. «Пан! Пан! Не стрелял! Мы работал здесь!» — торопливо, испуганно говорит один. «Не стрелял теперь! Знаю, сволочи!» — кричит кто-то. Австрийцы испуганно протягивают руки вперед и лопочут ломано по-русски: «Не стрелял, не стрелял, работал».

«Оставьте их, господа, это рабочие».

Проходим дальше...

Начинает смеркаться. Пришли на край села. Остановились. Площадь. Недалеко церковь. Меж синих туч медленно опускается красное солнце, обливая все багряными, алыми лучами...

Здесь стоят и другие части.

Кучка людей о чем-то кричит. Поймали несколько человек. Собираются расстрелять.

«Ты солдат... твою мать?!» — кричит один голос.

«Солдат, да я, ей-богу, не стрелял, помилуйте! Неповинный я!» — почти плачет другой.

«Не стрелял... твою мать?!» Револьверный выстрел. Тяжело, со стоном падает тело. Еще выстрел.

К кучке подошли наши офицеры.

Тот же голос спрашивает пойманного мальчика лет восемнадцати.

«Да, ей-богу, дяденька, не был я нигде!» — плачущим, срывающимся голосом кричит мальчик, синеватый от смертного страха.

«Не убивайте! Не убивайте! Невинный я! Невинный!» — истерически кричит он, видя поднимающуюся с револьвером руку.

«Оставьте его, оставьте!» — вмешались подошедшие офицеры. Князь Чичуа идет к расстреливавшему: «Перестаньте, оставьте его!» Тот торопится, стреляет. Осечка.

«Пустите, пустите его! Чего, он ведь мальчишка!»

«Беги... твою мать! Счастье твое!» — кричит офицер с револьвером. Мальчишка опрометью бросился... Стремглав бежит. Топот его ног слышен в темноте.

К подпоручику К-ому подходит хорунжий М., тихо, быстро говорит: «Пойдем... австриец... там». — «Где?.. Идем». В темноте скрылись. Слышится их голоса... возня... выстрел... стон, еще выстрел...

Из темноты к нам идет подпоручик К-ой. Его догоняет хорунжий М., и опять быстро: «Кольцо, нельзя только снять». — «Ну, нож у тебя?» Опять скрылись... Вернулись. «Зажги спичку», — говорит К-ой. Зажег. Оба, близко склоняясь головами, рассматривают.

«Медное!.. его мать! — кричит К-ой, бросая кольцо. — Знал бы, не ходил, мать его...»

Совсем темно. Черным силуэтом с крестом рисуется церковь. Едет кавалерия.

Идем размещаться на ночь. Около хат спор, ругань.

«Мы назначены сюда, это наш район! Здесь корниловцы, а не артиллеристы!» Артиллеристы не пускают. Шум. Брань.

Все-таки корниловцы занимают хаты. Артиллеристы, ругаясь, крича, уходят.

Хата брошена. Хозяева убежали. Раскрыт сундук, в нем разноцветные кофты, юбки, тряпки. На стенах наклеены цветные картинки, висят фотографии солдат. В печке нетронутая каша. Несут солону на пол. Полезли в печь, в погреб, на чердак. Достали кашу, сметану, хлеб, масло. Ужинают. Усталые солдаты засыпают вповалку на соломе...

Утро. Кипятим чай. На дворе поймали кур, щиплют их, жарят.

Верхом подъехал знакомый офицер В-о. «Посмотри, нагайка-то красненькая!» — смеется он. Смотрю, нагайка в запекшейся крови. «Отчего это?» — «Вчера пороли там, молодых. Расстрелять хотели сначала, ну, а потом пороть приказали». — «Ты порол?» — «Здорово, прямо руки отнялись, кричат, сволочи», — захохотал В-о. Он стал рассказывать, как вступали в Лежанку с другой стороны:

«Мы через главный мост вступили. Так, знаете, как пошли мы на них, они все побросали, бегут! А один пулеметчик сидит, строчит по нас и ни с места. Вплотную подпустил. Ну, его тут закололи... Захватили мы несколько пленных на улице. Хотели к полковнику вести. Подъехал капитан какой-то из обоза, вынул револьвер... раз... раз... раз — всех положил, и все приговаривает: «Ну, дорого им моя жинка обойдется». У него жену, сестру милосердия, большевики убили...»

«А как пороли? Расскажи?» — спросил кто-то.

«Пороли как? Это поймали молодых солдат, человек двадцать, расстрелять хотели, ну, а полковник тут был, кричит: всыпать им по пятьдесят плетей! Выстроили их в шеренгу на площади. Снять штаны! Сняли. Командуют: ложись! Легли. Начали их пороть. А есаул подошел: что вы мажете? Кричит, разве так порют? Вот как надо! Взял плеть, да как начал! Как раз — сразу до крови прошибает! Ну, все тоже подтянулись. Потом по команде «встать!» встали. Их в штаб отправили.

А вот одного я совсем случайно на тот свет отправил. Уже совсем к ночи. Пошел я за соломой в сарай. Стал брать — что-то твердое, полез рукой — человек!..

Вылезай, кричу. Не вылезает. Стрелять буду! Вылез. Мальчишка лет двадцати...

«Ты кто, говорю, солдат?» — «Солдат». — «А где винтовка?» — «Я ее бросил». — «А зачем ты стрелял в нас?» — «Да как же, всех нас выгнали, приказали». — «Идем к полковнику». Привел. Рассказал. Полковник кричит: расстрелять его, мерзавца! Я говорю: он, господин полковник, без винтовки был. Ну, тогда, говорит, набейте ему морду и отпустите. Я его вывел. Иди, говорю, да не попадайся. Он пошел. Вдруг выбегает капитан П-ев, с револьвером. Я ему кричу: его отпустить господин полковник приказал! Он только рукой махнул, догнал того... Вижу, стоят, мирно разговаривают, ничего. Потом вдруг капитан раз его! Из револьвера. Повернулся и пошел... Утром смотрел я — прямо в голову».

«Да,— перебил другой офицер,— я забыл сказать. Знаете, этих австрийцев, которых мы не тронули-то, всех чехи перебили. Я видел, так и лежат все кучей».

Я вышел на улицу. Кое-где были видны жители: дети, бабы. Пошел к церкви. На площади в разных вывернутых позах лежали убитые... Налетел ветер, подымал их волосы, шевелил их одежды, а они лежали, как деревянные.

К убитым подъехала телега. В телеге — баба. Вылезла, подошла, стала их рассматривать подряд... Кто лежал вниз лицом, она приподнимала и опять осторожно опускала, как будто боялась сделать больно. Обходила всех, около одного упала сначала на колени, потом на грудь убитого и жалобно, громко заплакала: «Голубчик мой! Господи! Господи!..»

Я видел, как она, плача, укладывала мертвое непослушное тело на телегу, как ей помогала другая женщина. Телега, скрипя, тихо уехала...

Я подошел к помогавшей женщине...

«Что это, мужа нашла?»

Женщина посмотрела на меня тяжелым взглядом. «Мужа», — ответила и пошла прочь.

Зашел в лавку. Продавец — пожилой благообразный старичок. Разговорился. «Да зачем же нас огнем встретили? Ведь ничего бы не было! Пропустили бы, и все». — «Поди ж ты, — развел руками старичок... — все ведь это пришлое виноваты — Дербентский полк да артиллеристы. Сколько здесь митингов было. Старики говорят: пропустите, ребята, беду накликаете. А они все

одно: уничтожим буржуев, не пропустим. Их, говорят, мало, мы знаем. Корнилов, говорят, с киргизами да буржуями. Ну, молодежь и смутили. Всех наблизовали, выгнали окопы рыть, винтовки пораздали... А как увидели ваших, ваши как пошли на село, бежать. Артиллеристы первые на лошадей да ходу. Все бежат! Бабы! Дети! — старичок вздохнул. — Что народу-то, народу побили... невинных-то сколько... А из-за чего все? Спроси ты их...»

Я прошел на главную площадь. По площади носился вихрем, джигитовал текинец.

На Кубани

Из Ставропольской губернии мы свернули на Кубань.

Кубанские степи не похожи на донские, нет донского простора, шири, дали. Кубанская степь волнистая холмистая, с перелесками. Идем степями. Весна близится. Дорога сухая, зеленеет трава, солнце теплое.

...Пришли в станицу Плотскую, маленькую, небогатую. Хозяин убогой хаты, где мы остановились, — столяр, иногородний. Вид у него забитый, лицо недоброе, неоткрытое. Интересуется боем в Лежанке: «Здесь слыхать было, как палили... а чевой-то палили-то?»

«Не пропустили они нас, стрелять стали...»

По тону видно, что хозяин добровольцам не сочувствует.

«Вот вы образованный, так сказать, а скажите мне вот: почему это друг с другом воевать стали? Из чего это поднялось?» — говорит хозяин и хитро смотрит.

«Из-за чего?.. Большевики разогнали Учредительное собрание, избранное всем народом, силой власти захватили, вот и поднялось». Хозяин немного помолчал. «Опять вы не сказали... например, вот, скажем, за что вот вы воюете?»

«Я воюю? За Учредительное собрание. Потому что думаю, что оно одно даст русским людям свободу и спокойную трудовую жизнь».

Хозяин недоверчиво, хитро смотрит на меня. «Ну, оно, конечно, может, вам и понятно, вы человек ученый».

«А разве вам непонятно? Скажите, что вам нужно? Что бы вы хотели?» — «Чего?.. Чтобы рабочему челове-

ку была свобода, жизнь настоящая, и к тому же земля...» — «Так кто же вам ее даст, как не Учредительное собрание?»

Хозяин отрицательно качает головой.

«Так как же? Кто же?»

«В это собрание нашего брата и не допустят».

«Как не допустят? Ведь все же выбирают, ведь вы же выбирали?»

«Выбирали, да как там выбирали, у кого капиталы есть, те и попадут», — упрямо заявляет хозяин.

«Да ведь это же от вас зависит!»

«Знамо, от нас, только оно так выходит...»

Минутная пауза.

«А много набили народу в Лежанке?» — неожиданно спрашивает хозяин.

«Не знаю... Много...»

Идем из Плотской тихими, мягкими, зелеными степями. В станице Ивановской станичный атаман со стариками встречают Корнилова хлебом-солью, подносят национальный флаг. День праздничный, оживление... Казаки, казачки высыпали на улицу, ходят, шелуша семечки. Казаки — в серых, малиновых, коричневых черкесах. Казачки в красивых, разноцветных платках.

Нас встречают радушно. Из хат несут молоко, сметану, хлеб, тыквенные семечки.

На площади кучками толпятся войска: пешие, конные. Бравурно разносятся военные песни. В кружках танцуют наурскую лезгинку. Казаки, казачки, угощая кто чем, с любопытством разговаривают с нами.

«Ну вот, я говорил вам, что на Кубани будет совсем другое отношение, видите», — говорят кто-то.

Поднялись выступать. Шумными рядами строятся войска. Около нас плачут две старые казачки: «Молоденькие-то какие, батюшки... тоже, поди, родных побросали...»

Мимо проходит юнкерский батальон. Молодой, стройный юнкер речитативом-говорком лихо запекает:

Во селе Ивановке случилась беда,
Молодая девчоночка сына родила,

И со смехом, гулко подхватывают все экспромт юнкера:

Трай-рай-раааай
Молодая девчоночка сына родила,...

На Кубани повеяло традицией старой Руси. Во всех станицах встречают радушно, присоединяются вооруженные казаки.

В станице Веселой остановились отдохнуть. В нашей хате — старый казак с седой бородой, в малиновой черкеске, с кинжалом, газырями. Рядом с ним его жена — пожилая, говорливая казачка. И муж и жена подвыпили.

«Россию восстановим! Порядок устроим! Так, братцы, так или нет?!» — кричит оглушительным басом казак, ударяя себя кулаком в грудь.

«А вы с нами пойдете?» — «Пойду, провалиться — пойду... я уж записался. Старый пластун с вами пойдет, понимаете?» И казак затаил:

Поехал казак на чужбину далеку,
На север на славном коне вороном.

Жена подхватила сильным, визгливым голосом.

Из Веселой надо переходить железную дорогу Ростов—Тихорецкая. Железнодорожная линия занята большевиками. Мы должны прорываться и, чтоб поспеть на раннем рассвете перейти, выступаем в 8 часов вечера.

Приказано: не курить, не говорить, двигаться в абсолютной тишине. Момент серьезен.

В темноте ночи тянутся темные ряды фигур, сталкиваются, цепляясь винтовками, звеня штыками.

Хочется спать. Холодно. Идем...

Черная темнота начинает сереть. С края горизонта чуть лезет бело-синий рассвет. Уже можно разобрать лица.

Теперь недалеко от железной дороги.

Остановились. Холод сковывает тело. Люди опускаются на землю.

«Господа, кто хочет греться по способу Петра Великого!» — зовет капитан. Встают, плотная куча людей качается, толкается, все лезут в середину.

Впереди ухнули взрывы — это наша конница рвет мосты.

Встать! Шагом марш! Идем... Уже вдали виднеются здания, железная дорога и станица — значит, авангард прошел благополучно. Подходим к станице Новолеушковской, наша рота заняла станцию.

Здесь мы охраняем переправу обоза.

Но через полчаса летит с подъехавшего бронированного поезда и рвется на перроне большевистская гра-

ната. Снаряды рвутся кругом станции, бьют по обозу. Видно, как черненькие фигурки повозок поскакали рысью. Но обоз уже переехал, и мы уходим от Леушковской по гладкой дороге меж зелеными всходами. Прорвались.

До отдыха — Старолеушковской — верст восемь. Мы идем открытой степью, а вправо и влево от дороги рвутся посылаемые с бронированных поездов гранаты, подымая землю черными столбами. Сейчас маленький гребень, и скроемся. Перешли его. Долетели два снаряда. Смолкло, стало легче, неприятное напряжение упало. Зашагали быстрее.

«Ну переход сегодня! Дойдем до Старолеушковской, и 72 версты!»

«А усталости почему-то не чувствуется».

«Когда гранатами кругом кроет — не почувствуешь, а вот приди в станицу...»

Разместились в Старолеушковской. Принесли в хату соломы. Пристают к хозяйке с ужином. «Да, ей-богу, ничего нема», — отговаривается недовольная хозяйка. Но достали и ужин, нашли и граммофон, захрипевший «Дунайские волны».

Два офицера закружились по комнате с Таней и Варей.

Выселки

Вся армия идет на Журавскую. Мы — на Выселки. Они заняты большевиками, и Корниловскому полку приказано: выбить.

Идем быстрым маршем. Все знают, что будет бой. Разговаривают мало, больше думают.

Спустились в котловину, поднялись к гребню и осторожно остановились. Командир полка собрал батальонных и ротных, отдает приказания...

Громыхая, проехали на позицию орудия. Развели по батальонам, а командир полка со штабом остался у холмика.

Мы вышли в открытое поле. Видна станция Выселки, дома, трубы. Идем колонной. Высоко перед нами звонко рвется белое облачко шрапнели. «Заметили, началось», — думает каждый.

«В цепи!» Раздается команда. Ухнули наши орудия. С хрипом, шуршанием уходят снаряды. Вдали поднялась воронкой земля. Звук. Разрывы удачны. «Смотрите, господа, там цепи, вон движутся!»

Идем, широко разомкнувшись,— полк весь в цепи. Визжат шрапнели, воют гранаты. Мы близимся...

Вот с мягким пением долетают пули. Чаше, чаще... Залегли, открыли огонь...

«Варя! Таня! Идите сюда! Где вы легли? Ну зачем вы пошли — говорили же вам!» — слышу я сзади себя.

Во второй цепи лежат Варя и Таня, в солдатских шинелях, с медицинскими сумками...

«Цепь, вперед!» Поднялись. Наша артиллерия гудит, бьет прямо по виднеющимся цепям противника.

«Смотрите! Смотрите! Отступают!» — несетя по цепи.

Видно, как маленькие фигурки бегут к станции.

Их артиллерия смолкла. Наша усиленно заревела.

«По отступающему — двенадцаты!» Все затрещало. Заварилась стрельба. Чаше, чаще... Слов команды не слышно...

С правого фланга, из лощины, вылетела лавой кавалерия, карьером понеслась за отступающими, блещет на солнце машущие шашки...

Мы идем быстро. Мы недалеко от станции. Впереди, перебежав полотно, бегут уже без винтовок маленькие фигурки. Пулеметчик прилег к пулемету, как застыл. Пулемет захлопал, рвется вперед. Маленькие фигурки падают, бегут, ползут, остаются на месте...

Мы на полотне. Кругом бестолково трещат выстрелы. Впереди взяли пленных. Подпоручик К-ой стоит с винтовкой наперевес — перед ним молодой мальчишка кричит: «Пожалейте! Помилуйте!»

«А... твою мать! Куда тебе — в живот, в грудь? Говори...» — бешено-зверски кричит К-ой.

«Пожалейте, дяденька!»

Ах! Ах! Слышны хриплые звуки, как дрова рубят. Ах! Ах! И в такт с ними подпоручик К-ой ударяет штыком в грудь, в живот стоящего перед ним мальчишку...

Стоны... Тело упало...

На путях около насыпи валяются убитые, недобитые, стонущие люди...

Еще поймали. И опять просит пощады. И опять зверские крики.

«Беги... твою мать!» Он не бежит, хватается за винтовку, он знает это «беги»...

«Беги... а то!» Штык около его тела, инстинктивно отскакивает, бежит, оглядываясь назад, и кричит диким голосом. А по нем трещат выстрелы из десятка винто-

вок, мимо, мимо, мимо... Он бежит... Крик. Упал, попробовал встать, упал и пополз торопливо, как кошка.

«Уйдет!» — кричит кто-то, и подпоручик Г-н бежит к нему с насыпи.

«Я раненый! Раненый!» — дико кричит ползущий, а Г-н в упор стреляет ему в голову. Из головы что-то летит высоко-высоко во все стороны...

«Смотри, самые трусы в бою, самые звери после боя», — говорят мой товарищ.

В Выселках на небольшой площади шумно галдят столпившиеся войска. Все, толкаясь, лезут что-то смотреть в центре.

«Пленных комиссаров видали?» — бросает проходящий офицер.

В центре круга наших солдат и офицеров стоят два человека, полувоенно-полуштатски одетые. Оба лет под сорок, оба типичные солдаты-комитетчики, у обоих растерянный, ничего не понимающий вид, как будто не слышат они ни угроз, ни ругательств.

«Ты какой комиссар был?» — спрашивает офицер одного из них.

«Я, товарищ...»

«Да я тебе не товарищ... твою мать!» — оглушительно кричит офицер.

«Виноват, виноват, ваше благородие...» — и комиссар нелепо прикладывает руку к козырьку.

«А, честь научился отдавать!...»

«Знаете, как его поймали, — рассказывает другой офицер, показывая на комиссара. — Вся эта сволочь уже бежит, а он с пулеметными лентами им навстречу: куда вы, товарищи! Что вы, товарищи! И прямо на нас... А другой, тот ошалел и винтовку не отдает, так ему полковник как по морде стукнет... У него и нога одна штыком проколота, когда брали, прокололи...»

Вошли на отдых в угловой большой дом. Пожилая женщина вида городской мещанки, насмерть перепуганная, мечется по дому и всех умоляет ее пожалеть.

«Батюшки! Батюшки! Белье взяли. Да что же это такое! Я женщина бедная!»

«Какое белье? Что такое? Кто взял?» — вмешались офицеры.

Штабс-капитан Б. вытащил из сундука хозяйки пару мужского белья и укладывает ее в вещевой мешок. Меж офицерами поднялся крик.

«Отдайте белье! Сейчас же! Какой вы офицер после этого!»

«Не будь у вас ни одной пары, вы бы другое заговорили!»

«У меня нет ни одной пары, вы не офицер, а бандит», — кричит молодой прапорщик. Белье отдали..

Я вышел из дома. На дороге стоят подводы. Прямо передо мной на одной из них лежит кадет лет семнадцати. Лицо бледно-синее, мертвенное. Черные, большие глаза то широко открываются, то медленно опускаются веки. Воспаленный рот хватается воздух. Он не стонет, не говорит.

Рядом с подводой — сестра.

«Куда он ранен, сестра?» Безнадежно махнула рукой: «В живот. Шрапнелью».

Кадет закрыл глаза, вздрагивает всем телом, умирает.

К вечеру мы выходим за Выселки. Отошли версты четыре.

«Господа, большевики уже заняли Выселки. Смотрите, у завода как будто орудия». И не успел офицер сказать это, как блеснул огонек, ухнула пушка, и возле нас рвется граната, другая, третья...

Обозные телеги метнулись, понеслись. Усталая за день пехота нервничает, бежит к насыпи железной дороги — скрыться. Отступаем под взрывы, треск, вой гранат.

В восьми верстах, в хуторе Малеванном, расположились ночевать. От нашей роты караул и секрет в степь. Усталые, ругая всех, идем. Темная ночь сровняла секрет с землей. Лежим. Тихо. В усталой голове бегут мысли о доме, воспоминания о каких-то радостях...

Но вот топот по дороге. Силуэты конных. По ночи ясно долетает разговор: «Стой! Кто идет?» — «Свой». — «Пропуск?» — «Штык». — «Проезжайте».

Кореновская

Тихое, ясное утро. Мы вышли из Малеванного. Усталые от боев и переходов, все хотят только одного — отдыха.

Идем степями. Скоро Кореновская. Где-то протрещали одинокие выстрелы.

К командиру полка подъехали какие-то конные, что-

то докладывают. И сразу облетело всех: Кореновская занята большевиками. Вместо отдыха — опять бой.

Мы уже цепью идем по степи. Рвутся снаряды их, уходят наши. Они пристрелялись — шрапнель рвется на уровне человеческого тела и немного впереди цепей. Лопнет белое облачко — и как придавит цепь: все падают. Сзади стон, кто-то ранен. Сестра повела его под руку. Еще кто-то упал. Чаше со злым визгом рвутся шрапнели, чаще падают идущие люди. Уже свистят пули, захлопали пулеметы. Мы залегли, наскоро оккупываясь руками, а над нами низко, на аршин от земли, с треском, визгом лопаются шрапнели и маленькое, густое, белое облачко расходится в большое, легкое и подымается вверх.

Вот захлопал вдаль пулемет. Вот снопом долетают пули, визжат, визжат, ложатся впереди, ближе, ближе поднимается от них пыль, как будто кто-то страшный с воем дотягивается длинными щупальцами. Цепь прижимается, вжимается в землю, «в голову, в голову, сейчас, сейчас...». Пулемет не дотянулся, перестал. Его сменил треск двух шрапнелей, и вслед за ним из второй цепи донеслось жалобное «ой... ой... ой...».

Все осторожно поворачивают головы. Раненого видно сразу: он уже не вжимается в землю и лежит не так, как все...

Кто-то ранен там, где лежит брат. Неужели он?

«Кравченко! — кричу я шепотом моему соседу. — Узнай, ради бога, кто ранен и куда!» Кравченко не оборачивается. Мне кажется, что он умышленно не слышит. «Кравченко!» — кричу я громче. Он мотает головой, спрашивает следующего. «В живот», — отвечает мне Кравченко.

«Кто, спроси кто!» Доносятся жалобные стоны. Я оборачиваюсь. Да, конечно, брат лежал именно там. Я уверен. В живот — стало быть, смертельно. Чувствую, как кровь отливает от головы. Путаясь, летят мысли, громоздятся одна на другую картины... «Вот я дома... вернулся один... брата нет... встречает мать...» Та-та-та-та... — строчит пулемет, около меня тыкаются пули. Оглушительно рвется шрапнель, застилая облаком...

«Лойко ранен!» — кричит Кравченко.

Лойко — слава богу, стало легко... И тут же проносятся: какая сволочь человек, рад, что Лойко, а не

брат, а Лойко ведь сейчас умирает, а у него тоже и мать, и семья...

«Тринадцать! Часто!» — кричит взводный Григорьев.

Я не понимаю. В чем дело? А он часто щелкает затвором, стреляет, стреляет...

«Что же вы не стреляете? Наступают же!» — кричит Григорьев, и лицо у него возбужденное, глаза большие...

Я смотрю вперед: далеко, колыхаясь, на нас движутся густые цепи, идут и стреляют...

Как же я не заметил, проносится у меня... Надо стрелять... Затвор плохо действует... Опять не почистил...

Кругом трещат винтовки...

«Отходят!» — кричит кто-то по цепи. Что такое? Почему?..

Все встают, отступают, некоторые побежали...

«Отступление! Проиграли!»

Но куда же отступать? Некуда ведь! Я иду, оборачиваюсь, стреляю в черненькие фигурки, иду быстро, меня обгоняют...

Смешались!.. Как неприятно...

«Кучей не идите!» — кричит кто-то. Сзади роем визжат, несутся пули, падают кругом, шлепая по земле. Неужели ни одна не попадет в меня?.. Как странно, ведь я такой большой, а их так много... Смотрю вправо, влево — все отступают. «Куда же вы, господа!» — раздаются крики. «Стойте! Стойте!..» — Раненого Лойко бросили, он полз, но перестал. Вот уже скоро наша артиллерия...

Сзади черненькие фигурки что-то кричат. Интересно, какие у них лица... ведь тоже — наши, русские... наверно, звери...

«Стойте же, господа! Стойте... вашу мать!» — кричат еще. Кое-где останавливаются отдельные люди, около них другие, третьи...

Цепь неуверенно замедляет шаг. Все равно ведь отступать некуда, лучше вперед, будь что будет...

«Вперед, братцы! Вперед!» — раздаются голоса. Двинулись вперед одиночки, группами... Крики ширятся. «Вперед! Вперед!..» Вся цепь пошла. Даже далеко убежавшие медленно возвращаются.

Что-то мгновенно переломилось. Так же свистят пули, так же густо наступают черненькие фигурки, но мы уже идем на них, прямо на них... Ура! Ура!..

И вправо, и влево, вся цепь идет вперед, выстрелы чаще, крики сильней... «Ура!.. Бей их... мать! Вперед!»

Пошли, все пошли — быстро. Лица другие — веселозверские, радостные, раскрасневшиеся, глаза блестят. Сходимся... В штыки. Все равно... вперед!.. Ура!.. Ура!..

Почему же они не близятся? Остановились?

Черненькие фигурки уже не кричат... Стали... Толпятся... Дрогнули. «Отступают! Отступают!» — громово катится по цепи, и все бросились бегом... Стреляют... Бегут... Штыки наперевес... Лица радостные... Ура! Ура!.. Ура!..

Вот пробежали наши окопчики. Бежим вперед. Ничто не страшно. Вон лежит их раненый в синей куртке, наверное матрос. Кто-то стреляет ему в голову, он дернулся и замер...

Впереди черненькие фигурки бегут, бегут, бросают винтовки...

Вот уже их окопы. Валяются винтовки, патронташи, хлеб...

Какая стрельба! Ничего не слышно. Кричат прицелы: «Десять! Восемь! На мост! На мост!»

Мы бежим влево на железнодорожный мост. Мост обстреливается пулеметом, но мы с братом уже пробежали его, сбежали с насыпи. Под ней, вытянувшись, лежит весь в крови, черный, бледный солдат, широко открывает рот, как птица...

«А, сдыхаешь, сволочь! — проносится у меня и тут же: — Господи, что со мной?» Но это мгновение. Все забылось. Мы бежим вперед. Тррах! Что такое? С поезда бьют на картечь. Кто-то упал и страшно закричал. Но это ничего. Надо только вперед...

Вперед некуда — уткнулись в реку. Черт возьми! Зачем мы пошли на мост? Надо назад! Тррах! Взрыв! Удар! Все кругом трещит. С поезда бьют на картечь! Опять упали раненые. Господа! Назад! Идти некуда! Бежим назад. Взрывы! Треск!

С поезда бьют часто, оглушительно...

На полотне наш пулемет, за ним прапорщик-женщина. Мерсье, прижалась, стреляет по поезду и звонко кричит: «Куда же вы?! Зачем назад?..»

Страшный удар. Убило бегущих пулеметчиков. Стонут лежащие раненые: «Возьмите, возьмите, ради бога, господа, куда же вы?..»

Одни быстро проходят мимо, как будто не замечая.

Другие уговаривают: «Ну куда же мы возьмем? Мы идем на новые позиции».

«Христиане, что ль, вы?!» — надтреснуто кричит большой раненый корниловец.

«И правда? Возьмем, господа?» Берем вчетвером на железнодорожный щит, тяжело нести, он стонет, нога у него раздроблена... «Ой, братцы, осторожно, ой, ой!»

Отнесли к будке, сдали сестре.

«Господа, надо найти кого-нибудь из начальников». — «Здесь на будке генерал Марков, сходите». Иду.

На крыльцо выходит генерал Марков, в желтой куртке по колено, в большой текинской папахе, с нагайкой.

«В чем дело?» Докладываю. «Зачем же вы зарывались, на мост лезть совсем не было надобности... Передайте, что положение прочное. Станица уже за нами. Бой идет по железной дороге. У вас есть старший, пусть ведет вас к вашим цепям. Догоняйте их».

Мы перерезаем поле, идем по улице станицы.

Вышли из боя — на душе стало мирно, хорошо. Возбужденность, подъем мгновенно исчезли. На смену им пришла мягкая, ленивая усталость, желание отдыха. Не хочется идти опять в бой, в шум, в крики, в выстрелы...

Уже вечерет. За станицей молчаливо, понуро стоят наши батареи. «Куда корниловцы пошли?» — «Вот так». Нашли свою роту. Она лежит в цепи, примыкая флангом к полотну железной дороги. Легли и мы. Тяжелая, равнодушная усталость вяжет тело. Не хочется ни стрелять, ни наступать, ни окапываться. Хочется отдохнуть.

А пули свистят. Видны большевистские цепи и далеко на полотне их бронированный поезд. Вяло трещат винтовки. Но вдруг по цепи пролетела суeta. Поезд наступает!

С белым, вздрагивающим и расплывающимся над трубой дымком поезд увеличивается, увеличивается...

Цепь нервничает. Люди встают. Уже отошли за будку. А поезд придвигается все ближе, ближе...

Приказ: в атаку на поезд.

Усталость сковывает тело. Как не хочется идти в атаку.

И что мы сделаем?

А поезд близится, с него стреляет пулемет.

«В атаку! Ура!»

Цепь неуверенно двинулась. Несколько человек быстро идут вперед, остальные вяло двигаются с винтовками наперевес.

«Вперед! Вперед!» Пошли быстрее. Выравниваются, кричат. Пошли...

Вот мы уже недалеко от поезда. С него вихрем несутся пули... Ура! Ура! Ура!..

Что это?! Кто меня ударил по ноге? Какая боль! Я покачнулся, схватился за ногу... Кровь... Ранен...

Недалеко, согнувшись, бежит брат, кричит «ура». Надо сказать ему.

«Сережа! Сережа!» Не слышит...

Я опираюсь на винтовку, тихо иду назад к будке. Сзади летят, жужжат пули. «Сейчас еще раз ранит, может быть, убьет», — проносится в голове. Нога ноет, как будто туго перетянута...

На будке одна сестра. Около нее сидят, лежат, стоят раненые.

«Сестрица, перевяжите, пожалуйста».

«Сейчас, сейчас, подождите, не всем сразу», — спокойно отвечает она.

«Вот видите, на позиции я одна, а все сестры где? Им только на подводах с офицерами кататься».

Сестра перевязывает и ласково улыбается: «Ну, счастливчик вы, еще бы полсантиметра — и кость». Нога приятно стягивается бинтом... Меня под руки ведут в станицу. Уже легли сумерки. По обсаженной тополями дороге ведут, несут раненых, вдали стучат винтовки, пулеметы, ухает артиллерия...

На площади, в училище, — лазарет. Помещение в несколько комнат завалено ранеными. Тускло светят керосиновые лампы. В воздухе висит непрекращающийся стон, нечеловеческий, животный.

Ууу-оой-айааа...

«Сестра, куда раненого положить?» — спрашивают приведшие меня.

«Ах, все равно, все комнаты переполнены», — отвечает быстро проходящая сестра.

Я лег. Пол завален людьми. Стоны не прекращаются. Тяжело. Болит нога. Засыпаю в изнеможении...

Чуть брезжит свет, ползет в окна. В комнате те же крики, стоны.

«Сестра, воды!» «Сестра, перевяжите!» «Сестра, я ничего не вижу! Не вижу, сестра! Доктора позовите, умо-

ляю!» — кричит толстый капитан. У него пуля прошла через височные кости, и он ослеп.

Две сестры и пленный австриец вытаскивают кого-то из комнаты. Руки волочатся по земле, голова свернулась. «Осторожней, осторожней», — стонут раненые.

«Кого это?» — «Кадет Бухгольц, умер ночью».

Умерших за ночь выносят, на их место приносят новых раненых.

«Что же это такое... У меня шесть дней повязки не меняли! Сестра? Сестра!» — полумычит раненный в рот юнкер...

Рядом со мной лежит кадет лет шестнадцати. У него разбита ключица, он тихо зовет доктора, сестру, но его никто не слышит за общим стоном...

Три сестры не успевают ничего сделать. Старые раны гноятся, перевязки не переменены, серьезные ранения требуют доктора.

Докторов почему-то нет, а в лазарете их восемь человек.

Кому же пожаловаться? Только Корнилову.

Я пишу его адъютанту:

«Любезный В. И.

Я ранен — лежу в училище. Считаю своим долгом просить Вас обратить внимание генерала на хаос, царящий в лазарете. Тяжелораненым неделями не меняют перевязок, раненые просят доктора — докторов нет...»

Раненный в лицо прапорщик Крылов понес записку. Штаб недалеко от училища, и не прошло и пятнадцати минут, как в дверях нашей комнаты появилась гневная фигура Корнилова. Около него заведующий лазаретом, старший врач...

Корнилов что-то говорит, резко жестикулирует. Видно, что он негодует.

Подпоручик Долинский подходит ко мне: «Я передал вашу записку, и вот, видите, уже разносит...»

Некрасовская

По зеленым, крутым холмам над реками Лабой и Кубанью раскинулась Усть-Лабинская белыми хатами. На обрывистых холмах повисли, вьются виноградники, мешаясь с белым цветом вишен, яблонь, груш.

Въехали в станицу. Остановились на улицах. Сестры бегут по хатам, покупают молоко, сметану своим раненым.

Но здесь мы не останавливаемся — едем дальше, в Некрасовскую.

Поздний вечер. Подвода за подводой, скрипя, движутся в темноте. Раненые заснули тяжелым, нервным сном. Изредка тряхнет на выбоине телегу, раздадутся стоны... И опять тихо...

Я проснулся. Темно. Тихо ползет подвода — по бокам черные силуэты домов. «Станичник, где мы?» — «В Некрасовскую приехали», — отвечает старичок казак.

Стало быть, сейчас отдых, но меня что-то тяжело давит, какое-то тяжелое чувство... Да, Сережа... Где он? Что с ним?

Въехали на круглую площадь. Кучей столпились повозки. Шум. Крик. Распределяют раненых по хатам. В темноте меж телегами ходят сестры. Сиют верховые...

«Да скоро, что ли, дадут хату!» — кричит мой товарищ по подводе.

«Борис Николаевич! Где вы?» — отвечает из темноты голос брата.

«Сережа, ты?!» — «Я!» — «Ранен? Куда?» — «В ногу, в ступню, с раздроблением!»

Мы уже в хате. Некоторые прыгают на одной ноге. Другие неподвижно сидят. З. хлопочет, устраивает ужин. Пришли Варя и Таня, меняют перевязки.

Старуха хозяйка охает, ворчит. «Что ты, бабушка?» — «Ох, да как что? Куда я вас дену? Хата малая, а вы все перестреляны, как птицы какие». — «Ничего, бабушка, уляжемся».

Постелили соломы, шинели, улеглись и заснули.

Наутро хозяйка успокоилась, разговорилась: «Всякие я войны видала... Помню еще, как черкесов мирили, как на турку ходили...» — «А теперь вот, бабушка, своя на своих пошла». — «Поди ж ты вот, пошла». — «Из-за чего ж это, бабушка?» — «Да я ж разве знаю, может, и есть из чего, а может, и нет, так все, зря».

Брат рассказывает нам о бое под Лабинской: «Нас под самой станицей огнем встретили. Мы в атаку пошли, отбросили их. Потом к ним с Тихорецкой эшелон подъехал — они опять на нас. Тут вот бой здоровый был. Все-таки погнали их и в станицу ворвались. На улицах стали драться. Они частью к заводу отступили, частью за станицу. Нам было приказано за станицу не идти, а Нежинцев зарвался, повел, ну, которые на завод отступили, и очутились у нас в тылу. Тут еще начали говорить, что обоз с ранеными отрезан. Мы бросились на завод — вы-

били. Они бежать в станицу, а там их Марковский полк штыками встретил, перекололи. Здесь такая путаница была, чуть-чуть друг друга не перестреляли... Из тюрьмы мы много казаков освободили. Часть большевики расстреляли перед уходом, часть не успели». — «А пленных много было?» — «Да не брали... Когда мы погнали их за станицу, видим, один раненого перевязывает... Капитан Ю. раненого застрелил, а другого Ф. и Ш. взяли. Ведут, он им говорит, что мобилизованный, то, другое, а они спорят, кому после расстрела штаны взять (штаны хорошие были). Ф. кричит: «Смотрите, капитан, у меня совершенно рваные и ничего больше нет!» А Ш. уверяет, что его еще хуже... Ну, тут как раз нам приказ на завод идти. Ш. застрелил его, бросил, и штанами не воспользовались». — «Молодец все-таки Корнилов! — перебивает другой раненый. — Еще станицу не взяли, а он уже влетает на станцию с текинцами. Его казаки там на «ура» подняли, качали». — «А в Кореновской-то он что сделал! — говорит капитан Р. — Собственно, и бой-то мы благодаря ему выиграли. Ведь когда наше дело было совсем дрянь, отступать начали, он цепи остановил, в атаку двинул, а сам с текинцами и двумя орудиями обскакал станицу и такой им огонь с тыла открыл, такую панику на «товарищей» навел, что они опрометью бежать кинулись...»

День мы отдыхаем в Некрасовской. По станице бьет большевистская артиллерия, по улицам во всех направлениях свищут пули — это обстреливают станицу выбитые из Некрасовской и Лабинской большевики, засевшие под ней в перелесках и болотах.

Несколько раз долетал похоронный марш. Хоронят убитых и умерших. Похоронный марш звучит в каждой станице, и на каждом кладбище вырастают белые кресты со свежими надписями.

По аулам

Мы едем мимо какого-то селения. «Что это такое, станичник? Аул, что ли?» — «Аул».

Я смотрю на маленькие белые хатки, и меня поражает: почему не видно никого? Замерли безжизненно дома. Ветер ударяет маленькими ставнями, подымает солому на крышах.

Крошечный аул — мертвый.

«Станичник, аул брошенный, что ли? Смотри, ни од-

ного человека не видно». — «Перебитый, — отвечает казак, — большевики всех перебили...» — «Как так? Когда?» — «Да вот не больно давно. Напали на этот аул, всех вырезали. Тут народу мертвого что навалено было... и бабы, и ребятишки, и старики...» — «Да за что же?» — «За что? У них с черкесами тоже война...» — «Какие же это большевики, из Екатеринодара или местные?» — «Всеякие были, больше с хуторов — местные...»

Мы проехали мертвый аул. В другом черкес рассказывал, что из 300 с лишним жителей малого аула более 200 были убиты большевиками. Оставшиеся в живых разбежались.

Уже темнеет. Въезжаем на ночевку в аул Нашухай. Расположились в маленькой грязной сакле. Лежим на полу. Хозяин гостеприимен, угощает своими кушаньями, ставя их на низкий круглый стол.

Наутро, сменив казака-возчика черкесом, выезжаем дальше на низкорослых, худых черкесских лошадях.

Едем по аулу. По холмам беспорядочно разбросаны сакли, крытые соломой. Шпилем к небу торчит старая, почерневшая мечеть. На улицах худой скот.

Бедная жизнь... Бедная природа...

«И чего это большевики напали на черкесов? Народ бедный, миролюбивый... А теперь черкесы им ведь не простят...»

«Да, черкесы поднялись теперь мстить. Из аула с нами столько поехало, на своих конях, с оружием...»

Аул Гатлукай... Те же беспорядочно, без симметрии разбросанные бедные сакли, такая же речушка, бурливая и злая. Низкорослые деревья и старенькая мечеть...

Отдохнули немного и двинулись на ночевку в Шенджий.

Шенджий больше других напоминает казачьи станицы. Дома просторные, лучше. Улицы прямые. Здесь разместились обоз раненых. Мы нашли просторную саклю: кое-какая городская обстановка, в углу граммофон. Хозяева принимают нас радушно.

Пожилая черкешенка плача что-то рассказывает Тане и зовет ее посмотреть. «Что такое, Таня?» — «Просит сына перевязать, большевики штыками искололи».

Таня торопливо роется в медицинской сумке, что-то взяла и отправилась в соседнюю комнату. Я пошел за ней.

Молодой черкес при виде ее завозился, приподнялся

с кровати. Мать заговорила с ним по-черкесски. Он встал, поднял рубаху для перевязки.

Тело бледно-желтое. Во многих местах черно-синие запекшиеся раны. Раны загноились.

Таня осторожно промывает их, что-то шепча, качает головой и накладывает перевязки.

Четырнадцать ран и ни одной особенно большой. Кололи, видимо, не убивая, а для удовольствия.

«За что же они вас так?» — невольно спрашиваю я.

«Буржуй, говорят», — ответил черкес.

Его мать быстро, ломано начала рассказывать, как большевики убивали и грабили в ауле.

На другой день в Шенджии — свидание Корнилова с генералами Эрдели и Покровским.

На площади около мечети гремит музыка, гудят войска.

Корнилов говорит, обращаясь к черкесам. Черкесы стоят конной толпой с развевающимся зеленым знаменем с белым полумесяцем и звездой.

Внимательно слушают они небольшого человека с восточным лицом. А когда Корнилов кончил, раздались нестройные крики, подхваченные тушем оркестра...

После парада на вышке минарета показался муэдзин, худой, черный. Долго слышались горловые выкрики его и ответный гул черкесской толпы. Муэдзин призывал к борьбе, к оружию, к мести за убитых отцов и братьев.

Вечером к нам зашел полковник С. «Корнилов вам привет прислал». Я улыбнулся. «Нет, серьезно. Я у него был сейчас. Спрашивал: как ваш отряд? Весь, говорю, перебит, переранен. А адъютант ваш? Ранен, говорю. Передайте ему привет, скажите, буду в лазарете — разыщу».

Утром мы выехали из аула.

Новодмитриевская

С ночи погода изменилась. Пошел мокрый, липкий снег с сильным, колючим ветром. Стало холодно.

Вышли строевые части. Растянулся по дороге обоз... Ехать долго. Только к вечеру можем прибыть на почевку в станицу Калужскую. Туда отправляют раненых. Строевые же части должны с боем брать большую, богатую станицу Новодмитриевскую.

Лепит мокрый снег. Дует злой, холодный ветер. Пехота идет вся белая, сжавшаяся.

На подводах раненых, кое-как прикрытых разноцветными тряпками, одеялами, занесло снегом, он тает, течет вода... Все мокрое... Холодно.

Дорога испортилась. Подводы вязнут, застревают. Худые, слабосильные лошади черкесов не в силах вытянуть.

К вечеру морозит. Падающий снег замерзает корой на одеялах, перевязки промокли. Раненые лежат в ледяной воде...

Упали первые течи, темнеет, а Калужской не видно. Холод сковывает тело. Теплая хата кажется блаженством...

Погода еще злее. Снег валит сизыми хлопьями... Обоз растянулся... В темноте нервные крики: «Да подождите же! Помогите подводу вытащить!» Но все спешат. Никто не слышит. Никто не помогает. Каждый погоняет своего возчика... Скорее... До хаты... Согреться...

Совсем темио. Мелькают огоньки. Калужская. Подводы въехали в станицу, размещаются сами, как попало. Нет ни начальников, ни квартирмейстеров. Только сестры, грязные, усталые, ходят по колена в снегу по улицам, помогая раненым устроиться на ночлег.

Утром заговорили: подводы не все! Поехали искать... Поздно. Восемнадцать раненых замерзли...

Завязли подводы, упали слабые лошади. Никто не помог: все торопились.

А строевые части свернули на Новодмитриевскую. Мокрые до нитки, замерзшие, продрогшие, идут в бой.

Темная ночь. Добровольцы обхватили станицу кольцом, наступают. Летит снег, дует ветер, хлещут промокшие ноги...

Марковский полк уткнулся в реку. Замялись. Но медлить нельзя — проиграется дело. А на реке ледяная кора.

«Полк, вперед!» — и генерал Марков первым шагает вброд. Идут в бой через ледяную реку, высоко в темноте держат виivotки...

Перешли. Ударили. Во главе с Корниловым ворвалась армия в станицу. Сониные большевики, захваченные врасплох, взяты в плен.

На другой день на площади строят семь громадных виселиц. На них повесили семь захваченных комиссаров.

¹ Этот эпизод, как и некоторые другие, дал повод генералу Маркову в публичной лекции в Новочеркасске назвать поход Корнилова «ледяным», после чего на Дону и Кубани это название утвердилось за походом.

К вечеру по Новодмитриевской бьет сильная артиллерия. На станицу идут густые, решительные цепи большевиков.

Темная ночь. Бой отчаянный. Мигают ленты огней, трещат винтовки, гулко хлопают пулеметы, зловеще ухает в темноте артиллерия.

Противники сходятся на сто шагов. Слышны команды обеих сторон. Даже перекрикиваются: «Ну, буржуи, сейчас вас оседлаем!» — «Подождите, краснодранцы!..»

Большевики ведут отчаянные атаки: Новодмитриевскую им надо взять.

Добровольцы не сходят с места: Новодмитриевскую им нельзя отдать.

Уже рассветает — большевики отбиты. Рассказывают, что красноармейцы закололи своих начальников, уговоривших их идти на Новодмитриевскую.

В станицу приехал обоз, а строевые части движутся дальше. Всех интересует, куда? Мнения генералов раскололись. Корнилов хочет брать Екатеринодар. Алексеев против этого. Но Корнилов главнокомандующий, и он ведет к Екатеринодару.

Вечер в Новодмитриевской. В дымной, маленькой хате лежат раненые. Разговоры одни и те же: кто убит? Кто куда ранен? Вспоминаются бои, эпизоды.

Кто-то достал засаленную книжку Дюма «Chevalier de maison rouge», читает вслух. Тускло горит свеча, все, слушая, задумались...

Входит Варя. Сапоги, платье грязные, вид усталый, лицо заплаканное. «Варя, что с вами? Варя?» Она падает на стол, громко рыдая. «Эраст убит! Эраст убит!» — «Быть не может! Где?» — «В слободе Григорьевской». Варя плачет. Тихо, незаметно вытирают слезы раненые.

Немного успокоившись, она рассказывает: «Они в цепи лежали. Минервин ранен был в ногу, просит его вынести, а большевистские цепи совсем близко. Говорят, подождите, капитан, а он все просит... Эраст, вы его ведь знаете, с Дрейманом взяли, понесли. Их одной пулей, в живот обоих. Дреймана навывлет, у Эраста застряла в мочевом пузыре... Как он страдал. — Варя опять заплакала. — Его в хату принесли. Хата скверная, кровати даже нет. На стол положили. Он все время о матери... Кричит: мамочка, милая, прости меня, мамочка, помолись за меня... Мамочка, неужели ты не

видишь — твой сын умирает... Меня вызвали из хаты. Я вернулась, а он уже умер, так, на столе...»

Эраст Ващенко. Мы вместе учились, вместе приехали на Дон. Он единственный сын. Одинокая мать жила только его любовью.

Вспоминается последняя встреча с ним в ауле. Эраст был усталый, измученный. «Как это все тяжело, как хочется отдохнуть, — говорил он, — мне кажется иногда, что я не выдержу больше...»

Теперь он зарыт, как тысячи других...

Под Екатеринодаром

Части Добровольческой армии по нескольким направлениям движутся к Екатеринодару. На пути с боем берутся станицы и станции. Прошли Георгиевскую, какой-то аул. Переправились через Кубань, взяли Елизаветинскую и кольцом обложили столицу кубанских казаков.

Обоз подъехал к Кубани. Не переправляется, расположился табором по широкому зеленому лугу. Дымятся костры. Пасутся лошади. Меж телег ходят сестры: перевязывают, кормят раненых.

На земле лежит группа штатских. К ней подъезжает на большом вороном коне М. В. Родзянко.

«Что это за трупы?.. А! Родзянко и прочие контрреволюционеры...» Смеется он густым, сильным басом.

Издадека доносится гул боя.

Начался штурм Екатеринодара.

Весь день проходит в ожидании. Вести из боя какие-то странные. Приедет верховой, сообщит: «Екатеринодар взят». По обозу несется «ура». Едет второй: не взят, наши отбиты с большими потерями. Томительно тянется день, другой... От Екатеринодара катится беспрерывный гул: штурмуют. К вечеру второго дня по наведенному парому обоз медленно переправляется через Кубань. Три подводы становятся на паром. Переплыли. И тихо едут по узкой дамбе до дороги в Елизаветинскую, отстоящую в восьми верстах от Екатеринодара...

Обоз раненых разместился по станице. Мы устроились в церковной сторожке, в ограде церкви.

Большая комната застлана соломой. Подряд лежат раненые...

Утро. Третий день штурма. День голубой, теплый. Артиллерия гудит без всякого перерыва. Ружья и пулеметы слились в беспрестанный, перекатывающийся треск.

Раненые сидят на паперти церкви. Прислушиваются к гулу боя, стараясь определить: близится иль нет? Ничего не поймешь. Как будто все на одном месте...

Красная каменная церковь вся истреляна снарядами. Старенький сторож-казак показывает в окне церкви небольшой, написанный на стекле образ Христа. Окно выбито снарядом. Кругом иконы — осколки гранаты и стекла, а образ стоит нетронутым, прислонившись к железной решетке.

Вечереет. Гул не стихает. Еще ожесточеннее, страшнее ревет артиллерия. Как будто клокочет вулкан...

«Я Львов, Перемышль брал, но такого боя не слышал, — говорит раненый полковник. — Они из Новороссийска тридцатью пятью тяжелыми орудиями палят. Слышите?.. Залпами...» Артиллерия ухала тяжелыми, страшными залпами, как будто что-то громадное обрывалось и падало...

Старенький священник прошел в церковь. Великопостная всенощная. Полумрак. Пахнет свежим весенним воздухом и ладаном. Мерцают желтые огоньки тонких свечей. Священник читает тихим голосом. Поют. Молятся раненые. Плачут склонившиеся женщины-казачки.

А со стороны Екатеринодара ревет артиллерия... Ухнет страшный залп. Содрогнутся маленькая церковка и все люди в ней.

Темнеет. Раненые в сторожке укладываются спать. Из боя пришли Варя и Таня. Варя упала на солому. Обе плачут. «Рота разбита. Саша убит, Ежов убит, Мошков умирает. Ходили в атаку наши, но их отбили, всю роту перебили. Из-за каждого шага бьются, то наши займут их окопы, то они — наши. Вчера, во время боя, мы своих раненых все под стога сена складывали, а к вечеру нас отбили, раненые остались между линиями, ближе к ним. Ночью видим — стога пылают. Стоны, крики слышны. Сожгли наших раненых».

Тяжелая ночь — почти без сна. Прибывают, прибывают раненые. Места нет нигде. Сторожка завалена. Кладут снаружи. Одолевает дремота. Но нет сил уснуть. Раненная в грудь сестра задыхается, кричит: «Воздуха! Воздуха! Не могу! Не могу!» Ее понесли из

комнаты... Стоны, стоны — и опять крики сестры...

Голубое утро. Опять все лежат, сидят в оgrade. Бой ревет по-прежнему. Четвертый день штурмуют город. Большевики сопротивляются как нигде. Укрепились, окопались, засыпают снарядами. Наша артиллерия молчит. Почти нет снарядов. Подымаются цепи за цепями. Идут атаки за атаками. Пехоту сменяет кавалерия. Отчаянно дерутся за каждый шаг.

Едут верховые, сообщают новости. Добровольцы заняли часть города, дошли почти до центра. Бой идет на улицах. Мобилизованные казаки плохо дерутся. У них матросы и тоже пластуны-казаки сопротивляются отчаянно.

Привезли раненую сестру, большевистскую. Положили на крыльце. Красивая девушка с распущенными, подстриженными волосами. Она ранена в таз. Сильно мучается. За ней ухаживают наши сестры. От нее узнали, что в Екатеринодаре женщины и девушки пошли в бой, желая помогать всем раненым. И наши видали, как эта девушка была ранена, перевязывая в окопе и большевиков, и добровольцев.

Опять вечером великопостная служба. Опять тихо читает Евангелие старенький священник, а церковь вздрагивает от залпов артиллерии... Все молятся, может быть, как никогда.

31 марта. Пятый день непрерывного гула, треска, взрывов.

Потери добровольцев стали громадны. Снарядов нет. Обоз раненых удвоился. Под Екатеринодаром легли тысячи. Мобилизованные казаки сражаются плохо, нехотя. А сопротивление большевиков превосходит всякие ожидания. Сделанные ими укрепления сильны. Их артиллерия засыпает тяжелыми снарядами. Они бьются за каждый шаг, отвечая на атаки контратаками...

Добровольцы охватили город кольцом, оставив большевикам лишь узкий проход. Но теперь, на пятый день боя, кольцо добровольцев охватывается наступающими с разных сторон войсками большевиков, спешащими на выручку Екатеринодара.

Бой с фронта. Бой с тыла.

Каждый час несет громадные потери. Подкреплений ждать неоткуда. Положение добровольцев грозит катастрофой.

Яркое солнце. Веселое утро. Но сегодня все особен-

но тревожны. Что-то носится неприятное, страшное. Как будто каждый что-то скрывает...

Знакомый текинец понес из церкви аналой... Подходит бледный, взволнованный капитан Ростомов. «Ты ничего не знаешь?» — «Нет. Что?» — «Корилов убит, — глухо говорит он, — но ради бога, никому не говори, просят скрывать...»

Куда-то оборвалось, покатилося сердце, отлила кровь от головы. Нельзя поверить!..

Около церкви, возле маленькой хаты — текинский караул. Входят и выходят немногие фигуры. В хате в простом гробу лежит бледный труп Л. Г. Корилова. Кругом немного людей...

«Лавр Георгиевич! Лавр Георгиевич!» — грузно упав на колено, рыдает Родзянко. Плачут немногие раненые, часовые-текинцы. Вдали грохочут, гремят раскаты артиллерии, стучат пулеметы...

На улице адъютант Корилова подпоручик Долинский. «Виктор Иванович! Скажите... Когда же это?.. Как?..» Он рассказывает: «Вы знаете, штаб был в хате в открытом поле. Уже несколько дней красные вели пристрелку, и довольно удачно... Мы говорили генералу. Он не обращал никакого внимания... «Хорошо, после». Последний день кругом все изрыли снарядами... Поняли, что здесь штаб, подъезжают ведь конные, с донесениями, толпятся люди. Ну, вот один из таких снарядов и ударил прямо в хату, в комнату, где был генерал. Его отбросило об печь. Переломило ногу, руку. Мы с Хаджиевым вынесли на воздух. Но ничего уж сделать нельзя было. Умер, ни слова не сказал, только стоил...»

«Кто же заменит?» — «Деникин принял командование. Вечером отступаем от Екатеринодара».

Страшная новость облетела обоз. У всех вырвала из души последнюю надежду. Опустились руки. После таких потерь. Почти в кольцо. Без Корилова. Смерть командующего стараются скрыть от строевых частей. Боятся разложения, паники, разгрома...

Вечер пятого дня. В дымную, заваленную ранеными сторожку входит обозный офицер. «Господа! Укладываться на подводы. Только тяжелораненых просят сначала не ложиться. Легкораненых нагрузят, отвезут, переложат на артиллерийские повозки, тогда приедут за тяжелоранеными». Сестра почему-то настаивает скорее укладываться и уезжать...

Вышли в ограду. На паперти — священник. «Батюш-

ка, вы отпевали Корнилова?» Он замялся, и лицо у него жалкое. «Я... я... не говорите вы только никому об этом... скрывайте... Узнают войска, ведь, не дай бог, что может быть. Ах, горе, горе, человек-то какой был, необыкновенный... Он жил у меня несколько дней, удивительный прямо. Много вы потеряли, много. Теперь уйдете, что с нами будет... Господи... Придут они завтра же, разорят станицу...»

Мне показалось в темноте, что священник заплакал. «Благословите, батюшка»... — «Бог вас храни, дорогой мой», — благословил и обнял меня священник.

В темноте на улице укладывают раненых. Шум. Говор. Издалека доносится гул боя, то стихая, то разрастаясь...

Легли всемером на подводу. Сестра шепчет: «Тяжелораненых бросают ведь в Елизаветинской. Это нарочно говорят про артиллерийские повозки, их оставляют здесь, обоз сокращают...»

Я забыл в сторожке пояс. Тихо слез с подводы, вошел в комнату. Слабый свет. Маленькая лампа коптит. На смятой соломе, кажется, нет никого; нет, в углу кто-то стоит, тихо-тихо. Подошел. Кто-то лежит на-взничь, вытянувшись. Желтый свет тускло скользит по бледному лицу, оттененному черными волосами. Это кадет. Я его знаю. Он ранен в грудь... «Все уехали... бросили... За нами приедут?» — через силу застонал он. «Приедут, приедут, — вылетает у меня. — Нас переложат на артиллерийские...» — «Ооох... ооой...» — тихо стоит кадет...

Лампа догорала. В комнату полезли жуткие, черные тени. Кадет оставался в темноте ждать расправы.

Все улицы запружены подводами. Скрипят телеги. Фыркают лошади. Запрещено курить и говорить. Ехать приказано рысью.

Выехали за станицу. Обоз быстро, торопливо движется в темноте.

«Триста раненых бросили, большевикам на расправу. Нет, при Корнилове этого никогда бы не было, — говорит раненый капитан. — Ведь это на верное истязание».

«Заложников взяли, говорят. С ними доктор и сестры остались», — отвечает Таня.

Едем в темноте...

Часть третья

ОТ ЕКАТЕРИНОДАРА ДО НОВОЧЕРКАССКА

Колонка

Всю ночь едет рысью обоз. Надо быстрее и дальше отступить от Екатеринодара, может быть погоня.

Светает. Проезжаем какую-то станицу. Мимо, обгоняя обоз, на легкой тележке едет генерал Алексеев, вид усталый, склонился на мешок, спит.

Только к вечеру останавливаемся мы на опушке леса. Здесь идет переправа через реку. И недалеко за ней въезжаем в немецкую колонию... Белые, крытые черепицей домики, чистые улицы, пивоваренный завод, Bierhalle, люди хорошо одеты...

Вошли в дом, битком набились в маленькую комнату. Усталые, голодные, нервно-измученные. Впереди — никакой надежды: строевые части уменьшились до смешного, Корниловский полк сведен в одну роту; с другими полками почти то же; снарядов нет, патронов нет; казаки разбегаются по домам, не желая уходить от своих дел. Настроение тревожное, тяжелое...

«Господа! Выстрелы! Слышите!» — говорит кто-то. И все вышли из хаты.

Донеслись выстрелы. Прожужжала и лопнула над улицей шрапнель.

Нагнали нас. Наступают.

Всех могущих собирают в бой. Люди — как тени. Не спали, не ели, в беспрестанном нервном напряжении. Лениво, устало идут в бой, и каждый знает: тяжело ранят — не возьмут, бросят.

Трещит стрельба, рвутся снаряды.

Колонка малая. Все сгруппировались на главной улице. Все лишнее приказано уничтожить, обоз сократить до минимума.

К реке везут орудия, ломают их, топят. В пыли на дороге валяются изломанные, смятые духовые инструменты. Разбивают повозки. Выбрасывают вещи...

А стрельба охватывает Колонку кольцом.

Прислушиваясь к гулу боя, сидим в хате. На душе тяжелая тревога. Входит матрос Баткин, бледный, воз-

бужденный, с ним доктор-француз. О чем-то оживленно говорили с сестрой Дюбуа и ушли...

«Диана Романовна, что говорил Баткин?» — спрашивают со всех сторон. Она взволнована: «Господа, положение отчаянное; большевики охватили нас, снарядов нет, патронов нет, генерал Романовский говорил, что посылают к большевикам делегацию».

«Сдаваться?!» — «Да что же делать? Баткина, кажется, посылают... деньги ведь есть большие, золотой запас... им отдадут — будут говорить о пропуске». — «О пропуске? Да о чем они с нами будут говорить, когда они сейчас же возьмут нас голыми руками и всех перережут...»

Бой идет совсем близко. Паника разрастается. Уже все говорят о сдаче, передаются нелепые слухи. Раненые срывают кокарды, погонны, покупают, крадут у немцев штатское платье, переодеваются, хотят бежать, и все понимают, что бежать некуда и что большевики никого не пощадят.

Трогаются без приказа подводы. Лица взволнованные, вытянутые, бледные. «Да подождите же! куда вы поехали!» — кричит раненый, ослепший капитан. Он побежал за подводой, споткнулся о бревно, с размаха падает, застонал. Его поднимают: «Вставайте, капитан». Не встает, молчит... «Разрыв сердца», — говорит подошедший доктор.

Стемнело. Паника как будто уменьшилась — все примирились с неизбежным концом...

«Обоз вперед!» — вдруг раздаются крики.

Куда? Неужели пробились! Быть не может!

Но мы уже выехали за Колонку, и за бугром на мягкой дороге обоз вытянулся в линию.

Артиллерия заметила — бьет залпами.

В темноте, бороздя черное небо, со свистом, шуршанием летят, близятся и высоко рвутся семь огней шрапнели.

«А красиво все-таки», — тихо говорит товарищам по подводе раненый.

Старый возчик обернулся: «Какая тут красота — страх один».

Все смолкли.

Далекий выстрел... летит... летит... по нас... нет, впереди... через подводу... тррах! взрыв! — и кто-то жалобно, жалобно стонет.

Капитан слез посмотреть: разбило подводу, упали лошади, казаку-возчику оторвало ноги.

«Да приколите же его!» — нервно кричит раненый с соседней телеги.

«Сами приколите!» — раздраженно и зло отвечает другой голос.

«Тише, господа, не шумите! ведь приказано не говорить!»

Все замолчали, только возчик с оторванными ногами стонет по-прежнему...

Вдруг артиллерия смолкла. Из далекой темноты донеслись дикие, неясные крики. «Ура! слышите! Ура! Атака! Атака!» — взволнованно заговорили на подводах, завозились, поднимаются.

«Не волнуйтесь, господа, это наши черкесы атакуют артиллерию», — вполголоса говорит проезжающий верховой.

«Ура» оборвалось. Стало тихо. Как будто ничего и не было. В степи, далеко, трещат кузнечики. С черносинего купола неба прямо в глаза глядят золотые звезды. На подводах тихий разговор: «Сережа! видишь Большую Медведицу?» — «Вижу... а вон Геркулес». — «Геркулес, а я вот возчика вспомнил, — говорит, сворачиваясь под одеялом, Крылов, — ведь всего на одну подводу нас-то пролетела». — «Да... на одну... он уже не стонет, должно быть, умер».

Обоз тронулся. Дует ветерок, то теплый, то холодноватый.

Медведовская

Ночь темная. Тихо поскрипывая, черной лентой движется в темноте обоз. Рядом проезжают верховые — вполголоса, взволнованно говорят: «Господа, приказано — ни одного слова, и не курить ни под каким видом — будем пробиваться через железную дорогу».

В эту ночь под Медведовской решится судьба. Вырвемся из кольца железных дорог — будет хоть маленькая надежда куда-нибудь уйти. Не вырвемся — конец.

Обоз едет, молчит, пританлся. Только поскрипывают телеги, да изредка фыркают усталые лошади...

Далеко на востоке темноту неба начали разрезать серо-синие полосы.

Идет рассвет. Вдруг тишину разорвал испуганный

выстрел, и все остановились. Смолкло... другой... третий... Стрельба. Сначала неуверенная, но вот чаще, чаще. Треск ширится. Громыкнула артиллерия, где-то закричали «ура», с остервенением сорвались и захлопали пулеметы...

Все приподнялись с подвод, глаза впились в близкую темноту, разрезаемую огненными цепочками и вспышками, холодная, нервная дрожь бежит по телу, стучат зубы...

Прорвемся или нет?

«Артиллерия вперед! Передайте живей!» — кричат спереди.

«Артиллерия вперед!» — несется по обозу, и орудия карьером несутся по пашне...

Бой гремит. Взрывы — что-то вспыхнуло, загорелось, затрещало. Это взорвались вагоны с патронами — горят сильным пламенем, трещат, заглушая стрельбу.

«Господа, ради бога, быстрее! снаряды из вагонов вытаскивать! Кто может! бегите! ведь это наше спасение! Господа, ради бога!» — кричит по обозу полковник Кун.

Раненые зашевелились, кто может, спускаются с телег, хромают, ковыляют, бегут вперед — вытаскивать снаряды.

Уже светает. Ясно видны горящие пламенной лентой вагоны. Кругом них суетятся люди, отцепляют, вытаскивают снаряды. И тут же трещат винтовки, хлопочут пулеметы...

Вдали ухнули сильные взрывы — кавалерия взорвала пути.

Обоз вперед! рысью!

Обоз загалдел, зашумел, двинулся...

Прорываемся.

Вот уже мы рысью подлетели к железной дороге. Здесь лежат наши цепи, отстреливаются направо и налево. Стучат пулеметы. Наши орудия бьют захваченными снарядами. А обоз летит в открытые маленькие воротца, вырываясь из страшного кольца...

Свищут пули, падают раненые люди и лошади. На путях толпятся, кричат, бегут.

По обеим сторонам лежат убитые. Вон лошадь, и возле нее, раскинувши руки и ноги, офицер во френче и галифе.

Но на мертвых не обращают внимания. Еле-еле успевают подхватить раненых. Под взрывы снарядов,

свист дождя пуль, с криком, гиком перелетает железную дорогу обоз и карьером мчится к станице.

Уже въехали в Медведовскую. Заполнили улицы, бегут по дворам за едой и с молоком, сметаной, хлебом, догоняют свои подводы.

Сзади стрельба утихает. Быстро едет обоз по полю на Дядьковскую. Уже не молчат, а шумно разговаривают раненые. Но скоро, усталые, мечтая об отдыхе, дремлют, засыпают на подводах.

Степь далекая, далекая, зеленая...

Откуда-то пробует догнать нас артиллерия, взрывая землю черными воронками, но далеко, не достать.

Дремлется. На подводе Таня рассказывает о религиозных праздниках в Персии...

Въехали в Дядьковскую. Оказывается, сегодня праздник. Народ нарядный. На окраину высыпали ребятишки. Мальчики в разноцветных бешметах, девочки в ярких платках. Смотрят на нас удивленными большими глазами, потом что-то кричат нам и бегут вприпрыжку за подводами...

Наши хорошую белую хату. Вся в саду. А сад цветет бело-розовым пышным цветом. Лежим под яблонями около низенького столика. На столе шипит самовар...

«Ну, Таня, продолжайте о Персии. Как этот праздник-то назывался?»

Таня рассказывает. Солнце льется сквозь листву. Хорошо. Отдыхаем...

Из боя пришел товарищ, его обступили: «Расскажи, как это мы вырвались-то?» — «Сам не знаю. Марков все дело сделал. Он со своим полком вплотную подошел к станции, пути разобрали, орудие прямо к полотну подвезли. Их войска в поездах были. Подъехал такой поезд, наши по нему прямой наводкой как дадут! Огонь открыли и на «ура» пошли. Марков первый на паровоз вскочил — к машинисту. Тот: товарищ, товарищ! а он: коли, кричит, его в пузо... его мать! Тут их стали потрошить, бабы с ними в поезде были, перебили их здорово. Они от станции побежали, но скоро оправились, недалеко засели, огонь открыли. Тут вот долго мы с ними возились. А обоз тем временем проскочил... У наших тоже потери большие. А Алексеева выдали? Прямо у полотна стоял под пулями... Ну, хорошо, что под Медведовской хоть снарядов и патронов захватили, а то совсем бы был конец».

Ряд станиц

Едем степями из Дядьковской. Выстрелов нет, тихо. Обоз приостановился, отдохнет, и снова едем рысью по мягкой дороге.

Люди перебегают с подводы на подводу, рассказывают новости...

«Корнилова здесь похоронили...» — «Где?» — «В степи, между Дядьковской и Медведовской. Хоронили тайно, всего пять человек было. Рыли могилу, говорят, пленные красноармейцы. И их расстреляли, чтобы никто не знал».

«А в Дядьковской опять раненых оставили. Около двухсот человек, говорят. И опять с доктором, сестрами». — «За них заложников взяли с собой». — «Для раненых не знаю что лучше, — перебивает сестра, — ведь нет же бинтов совсем, йоду нет, ничего... Ну, легкие раны можно всякими платками перевязывать, а что вы будете делать с тяжелыми? И так уже газовая гангрена началась». — «Это что за штука, сестра?» — «Ужасная... Она и была-то, кажется, только в середине века».

«А в Елизаветинской, мне фельдшер рассказывал, когда раненые узнали, что их бросили, один чуть доктора не убил. Фельдшер в последний момент оттуда уехал с двумя брошенными, так говорит: там такая панника была среди раненых...»

«Здесь с раненым матрос Баткин остался». — «Не остался, собственно, а ему командование приказало в 24 часа покинуть «пределы» армии». — «За что это?» — «За левость, очевидно. Ведь его ненавидели гвардейцы. Он при Корнилове только и держался...»

Едем. Все та же степь без конца, зеленая-зеленая...

Три вооруженных казака ведут мимо обоза человек двадцать заложников, вид у них оборванный, головы опущены.

«А, комыссары!» — кричит кто-то с подводы.

«Смотрите-ка, среди них поп!» — «Это не поп — это дьякон, кажется, из Георгиевской. У него интересное дело. Он обвинил священника перед «товарищами» в контрреволюционности. Священника повесили, а его произвели в священники и одновременно он комиссаром каким-то был. Когда наших взяли станцу, его повесить хотели, а потом почему-то с собой взяли...»

«А слышали, что генерал Марков нашему начальнику отделения¹ сказал? Мы выезжаем из станицы, а он кричит: «Начальник 3-го отделения! Почему у вас такое отделение большое?» — «Не могу знать», — говорит. «Сколько раненых оставили в станице?» — «Тридцать», — говорит. «Почему не сто тридцать?» — кричит...»

Уже вечереет... Знаем, что сегодня ночью должны переезжать железную дорогу, но никто не знает: куда мы едем? Одни говорят — в Теберду, другие — в Терскую область. Едем — куда пустят...

Железную дорогу переехали, обманув большевиков. Они ждали нас в одном месте. Мы переехали в другом. Генерал Марков внезапно захватил переправу и с железнодорожной будки в присутствии сторожа, которому было приказано в случае появления кадетов дать знать, сам телефонирует комиссару: «Все спокойно, товарищи».

А потом сел на коня и приказал сторожу передать, что кадеты благополучно переехали железную дорогу.

Едем зелеными степями. Цветущими белыми станицами. Берегами стеклянной реки.

В некоторых станицах — маленький отдых, и опять армия трогается в путь. Пеших — нет. Все на подводах. И раненые, и строевые.

Проехали Бекетовскую, Бейсугскую.

В Ильинской отдыхаем в хате рослого рыжего казака-конвойца. Живет он богато. Хата в несколько комнат. Лучшая — зала — увешана портретами царской семьи, висит картина конвойцев под Лейпцигом, портрет командира — барона Мейендорфа. Конвонец — монархист. Не нравится ему «все это новое». «То ли дело раньше», — и казак сочно рассказывает про прежнее конвойское, казацкое житье.

Из Ильинской переехали в Успенскую. Здесь хозяин-казак — бедный. Он гостеприимен, угощает, разговаривает, но никак не может понять, зачем мы пошли воевать... «А земля-то у вас есть?» — спрашивает он. «Есть... была». — «А-а, ну понятно, свое добро всякому жаль», — наконец понимает казак.

Жена его — иногородняя. Она готовит нам, тоже угощает, но смотрит на нас со страхом и все спрашивает: «А ничего не будет тем вот, кто из станиц убежал, когда вы пришли?»

«Не знаю, думаю, ничего, а чего же они убежали-то?» — «Да кто их знает, побоялись вас, ведь народ все

¹ Обоз с ранеными был разделен на отделения.

говорит, что многогородних вешать будете...» Наконец она не выдержала и со слезами рассказала, что ее два брата — многогородние — бежали, что их комиссар смутил, а теперь сказывают, что бежавших ловят и расстреливают...

В Успенской встречаем мы вербное воскресенье. В большой церкви — служба. Все — с вербами и свечами. Храм полон, больше раненых. Впереди, к алтарю, — Деникин с белым Георгием на шее, Марков, Романовский, Филимонов, Родзянко.

В разговорах на паперти узнаем, что приехала с Дона делегация, зовут туда, что донские казаки восстали против большевиков и уже очистили часть области.

Все радостны. Неожиданный просвет! Едем на Дон, а там теперь сами казаки поднялись! какая сила!

По станице расклеены воззвания Деникина о борьбе за Учредительное собрание.

Горькая Балка

Ранним утром выезжаем из Успенской. Рядом с обозом идут, едут мобилизованные в станице казаки. Теперь в каждой станице кубанский атаман, полковник Филимонов и Кубанская краевая рада мобилизуют их и берут в поход с армией. Но винтовок нет, а потому они в обозе.

Выехали в широкую изумрудную степь. Рысью обгоняет обоз кавалькада. В центре на массивном гнедом коне — генерал Деникин, в форме, с погонами; лицо сурово-озабоченное; кругом него — офицеры и корниловские текинцы. Немного сзади строем едет Кубанская рада, выделяется характерная фигура Быча, с ним рядом Макаренко.

Весь день и всю ночь едет обоз по степи. Под утро должны переехать железную дорогу под большой станцией Белоглинская.

Рассветает, едут шагом — пылят подводы. Впереди затрещали выстрелы, сильнее, сильнее, ударила артиллерия.

Бой на железной дороге.

Командуют: рысью! Понесся обоз, уже ясно видна станция, железнодорожный путь, поезда.

Впереди лежат цепи, от них долетает треск выстрелов, видны вспыхивающие дымки.

Мчится обоз по дороге, мимо лежащих цепей. Они

отстреливаются — перед ними чернеют большевистские цепи.

Под грохот гранат, свист пуль прорвался обоз через железнодорожную линию и подъезжает к слободе Горькая Балка.

Скачут подводы с крутого ската и, перелетев мост, тихо поднимаются в гору, в село. У первой хаты лежит мертвая женщина, вверх лицом, согнулись в коленях ноги, ветер раздувает синюю, с цветами юбку...

Рядом с обозом — верховые. «Что это за женщина, не знаете?» — спрашиваю я одного. Верховой тронул коня, едет с подводой и рассказывает, перегнувшись с седла: «Эта, сволочь, выдала наш первый разъезд; они у нее остановились — она их приняла хорошо, а сама к комиссару послала; их захватили, перестреляли, топорами перерубили; а когда второй разъезд утром приехал — опять к ней заехали, большевиками прикинулись, она и рассказала, как кадетов выдала... иу, вот и валяется...»

Зашли в хату. У стола красивая смуглая женщина, с ребенком.

«Нет ли чего поесть, молодая?» — «Да чего же поесть-то? молочка только».

«Давай молока, не бойся, за все заплатим».

Она посадила на скамью толстого мальчика, принесла из сеней черный глиняный горшок молока, нарезала мягкого, душистого хлеба.

Мы едим — женщина взяла на руки ребенка, что-то шепчет ему, боязливо, украдкой взглядывая на нас.

«А где муж-то, молодая?» Она встрепелась, испуганно уставилась.

«Муж-то?.. в поле...» Помолчала... и вдруг быстро начала: «Спросить я вас хотела, вот, боюсь я больно, не захватят его там ваши-то?»

«Зачем же захватят? Он работает?» — «Знамо, работает, да я слышу, стреляют-то в той стороне... а у нас допреже сказывали, ваши всех солдат расстреливают...» — «Это вралы у вас». — «То-то и говорю, вралы», — повторяет женщина, а в глазах, в лице — страх, недоверие.

Вышли из хаты. От повозки к повозке ходят по площади люди, незаметно перешагивая через валяющихся, зарубленных людей.

«Кто это их зарубил?» — «Черкесы. Тут ведь когда наши разъезды показались, комиссар вооружать всех

стал. Ну вот их и порубили. Там, на дороге, еще валяются».

Недалеко от площади — кладбище. У ограды лежит навзничь рыженький мужичонка — голова свернулась в сторону, грудь в крови, руки вытянулись по земле, правая твердо сжала крестное знамение. С краю — свежие могилы, белые кресты... На одном, на железной крашеной дощечке, выведено четким писарским почерком:

Товарищ Андрей Голованов
храбро пал в борьбе с врагами
народа, в рядах Красной Армии,
защищая революцию 1918 г.,
под станцией Энем.

Вечереет. Смолкли выстрелы. Троиулся обоз по узкой улице, а Горькая Балка заklubилась черным дымом.

«Зажгли Балку», — говорит казак-возчик. «Черкесы это, — отвечает раненый, — они не щадят крестьян; раньше крестьяне их вырезали, а теперь они вот ни одной слободы не оставляют...»

На край темно-зеленой степи оперлось красное солнце. По траве бегут плоские лучи, зажигая ее алым цветом. Бирюзово-желтое небо темнеет...

Опять Лежанка

Наш путь лежит опять на Лежанку. Перед ней мы заехали в станицу Плоскую, в которой уже были в феврале. Я иду к знакомому плотнику, так недоверчиво говорившему в прошлый раз об Учредительном собрании.

Вошел — плотник узнал меня: «Садитесь, садитесь, опять приехали». — «Приехали, ну как живете?» — «Да мы что, — тянет плотник, — вот как вы?.. Говорят, вашего главного-то убили, правда это?» На лице его нехорошая улыбка. «Кого, главного?» — «Да Корниловато», — улыбается плотник. «Нет, не убили», — лгу я помимо воли. «Не убили? а у нас слышать было, что убили». Плотник помолчал. «Где вы остановились-то?» — «Здесь, в угловой хате». — «А, у Калистратовой...» Пауза. «У нее сын казак, а в красную армию ушел, — смеется плотник, — вы ее спросите: где, мол, у тебя сын-то? что она скажет, она, поди, вас боится...»

К вечеру мы въехали в Лежанку и остановились на площади.

Ночь свежая, холодная. Черный купол неба блещет

золотом звезд. Обоз ночует здесь. Поскрипывают телеги, фыркают, жуя сею, лошади, изредка кто-нибудь простоит, и опять тихо. Небо чуть синее, рассветает. Обоз зашевелился, ругаются: «Да где же это начальство?..»

Уже светло. Раненые сползают с телег, идут по хатам пить чай. На дороге обступили кого-то, стоят кучкой. В середине, держа в руках коней, — три запыленных донца-казака. В синих полуподдевах, шаровары с красными лампасами, фуражки лихо сбиты набекрень, изпод них торчат громадные вихры волос.

«Все встали, чисто, как одни, — говорит широкоплечий, рослый казак, — из половины области их уже выгнали, теперь вас только ждем, нас за вами депутатами послали».

«Какой вы станицы?» — «Егорлыцкой». — «Ну, а теперь нас обстреливать не будете сами?» — спрашивает худенький раненый юнкер.

Казак засмеялся и махнул рукой: «Да рази мы кады обстреливали! Теперь не беспокойтесь, и стар и мал за винтовку схватились, на себе испытали...»

Идем в первую хату. Кухня, у печи — женщина. «Здравствуйте, хозяйка, не найдется ли чего закусить или чайку попить?» — «Ох, были ваши здесь, все забрали». — «Может, что и найдется?» — «Сидайте voi за стол», — показывает рукой она, не глядя на нас.

Сели. На столе позеленевший самовар. Кое-что нашлось, едим, а хозяйка стоит у стены, подпершись рукой... «А, вы в прошлый раз были, что ль?» — спрашивает она. «В феврале-то? Были, а что?» — «Народу, народу много тогда побили», — спокойно говорит она. «У вас кого-нибудь убили?» — «Мужа убили», — отвечает хозяйка каким-то безразличным голосом. «Мужа? где же его?» — «Вышел он из хаты вот недалечека, его боибой вашей и убило...» — «Снарядом?» — «Снарядом чи боибой, рази я знаю...» Хозяйка помолчала.

«А сегодня вас комиссар хлебом-солью встречал, все народ уговаривал не бежать, так, говорит, лучше: не троют. С хлебом-солью к вашему начальнику выходил». — «Да чего бегут-то?» — «Чего? Боятся — вот и бегут...»

С площади обоз разъезжается.

Наша подвода едет на край села, к реке. Во дворе, у хаты — бабы, ребятишки, все тупо-испуганными лицами уставились на нас.

«Хозяйка, мы у вас встанем!» Она молчит, как будто не понимает. Идем в хату — метнулась к нам, заговори-

ла: «Да мы сами на фатере стоим, нет у нас ничего, и хата малая». — «Что же делать-то, хозяйка, — не на улице же нам оставаться. Все хаты заняты. А вы не бойтесь — мы народ смирный, все переранены». — «Ох, не знаю же я как, хозяина-то нет», — охает баба.

Скоро помирились. Хозяйка сварила яиц, поставила самовар...

Я вышел на крыльцо. За огородом синееет река, змейками блестя на солнце, за ней начались, ушли вдаль бесконечные донские степи.

«Заходите к нам!» — зовет Таня из крошечного оконца белой хаты. Зашел. «Вы у квартирантов остановились, а мы у самой хозяйки, — смеется она, — только хозяйка-то что-то сердитая. Мы уж на кухне устроились, а она там, — показывает Таня на комнату, отгороженную мазаной стенкой. — Наверное, у нее прошлый раз кого-нибудь убили. Пойдите к ней, поговорите».

Я вошел. В комнате у окна сидят старуха и молодая женщина. Молодая, увидев меня, отвернулась недовольным лицом и вышла из хаты, шлепая босыми ногами.

«Здравствуйте, бабушка! Вы уж нас простите, что поселились здесь, ничего не поделаешь, не наша воля». Старуха непонимающе посмотрела.

«Не сердитесь, бабушка!» — весело кричит Таня из-за перегородки.

«Чего там сердиться-то, — шамкает старуха, — только, говорю, праздник большой скоро...»

Таня позвала меня к себе, а вечером я снова зашел к старухе.

Теперь она смотрела на меня уже как на знакомого. Сел у стола. Над ним карточка лихого пограничника, унтер-офицера, размахивающего на коне шашкой.

«Это сын ваш?» — «Сын», — шамкает старуха. «Где он?» Старуха помолчала, глухо ответила: «Ваши прошлый раз убили».

Я не знал, что сказать. «Что же он, стрелял в нас?» — «Какой там стрелял». Старуха пристально посмотрела на меня и, очевидно, увидев участие, отложила работу и заговорила: «Он на хронте был, на турецком... в страже служил, с самой двистительной ушел... ждали мы его, ждали... он только вот перед вами вернулся... день прошел — к нему товарищи, говорят: наблизация вышла, надо к комиссару идти... а он мне говорит: не хочу я, мама, никакой наблизации, не навоевался, что ль, я за четыре года... не пошел, значит... к нему опять

пришли, он им говорит: я в кавалерии служил, я без коня не могу, а они все свое: иди да иди... пошел он ранихонько — приносит винтовку домой... Ваня, говорю, ты с войны пришел, на что она тебе? брось ты ее, не ходи никуда... что бог даст — то и будет... и верно, говорит, взял да в огороде ее и закопал... закопал, а тут ваши на село идут, бой начался... он сидит тут, а я вот вся дрожу, сама не знаю, словно сердце у меня что чувствует... Ваня, говорю, нет ли у тебя еще чего, выкини бы, поди, лучше будет... нет, говорит, ничего, а патроны-то эти проклятые остались, его баба-то увидала их... Ванюша, выброси, говорит... взял он, пошел, а тут треск такой, прямо гул стоит... вышел он на крыльцо, и ваши во двор бегут... почуяла я недоброе, бегу к нему, а они его уж схватили, ты, кричат, в нас стрелял!.. он обомлел, сердешный (старуха заплакала), нет, говорит, не стрелял я в вас... я к ним, не был он, говорю, нигде... а с ними баба была — доброволица, та прямо на него накинулась... сволочь! кричит, большевик! да как в него выстрелит... он крикнул только, упал, я к нему, Ваня, кричу, а он только поглядел и вытянулся... Плачу я над ним, а они все в хату — к жене его пристают... оружие, говорят, давай, сундуки пооткрывали, тащат все... внесли мы его, вон в ту комнату, положили, а они сидят здесь вот, кричат... молока давай! хлеба давай!.. А я как помешанная — до молока мне тут, сына последнего ни за что убили...» — Старуха заплакала, закрывая лицо заскорузлыми, жилистыми руками...

«Он один у вас был?» — «Другой на австрийском хронте убитый, давно уж», — всхлипывает старуха, утирается и опять говорит сквозь слезы... «А какой парень-то был, уж такой смирный, такой смирный. — Ближко наклонившись ко мне, она зашептала, показывая на трехлетнюю девочку, притаившуюся в углу хаты. — Девчонка-то без него прижита... другой попрекал, бил бы, а он пришел — ну, говорит, ничего... не виню я тебя... только смотри, чтоб при мне этого не было...»

Старуха замолчала. Я посмотрел на лихого пограничника и ушел к своим раненым...

Сегодня великий четверг, мы едем к двенадцати евангелиям...

Церковь полна ранеными. Хромают, ноги обвязаны разноцветными тряпками. Осторожно носят подвязанные платками руки.

Пламя желтых свечей мерцает по бледным, усталым

лицам. Церковь загорелась огнями. Священник читает Евангелие. Кончил — потухли свечи. Поют. Далеко ухает артиллерия, как будто кто-то большой, страшный тяжело вздыхает.

Вышли в сад, на паперть. Ночь синяя, весенняя. Свежо. Сильно пахнет распутившаяся сирень. Из церкви круглыми, нежными звуками вылетает пение и замирает в весеннем воздухе.

«Тут служба, а на площади повешенные», — тихо говорит товарищ.

«Кто?» — «Да сегодня повесили комиссаров пленных».

В церкви тухнут огни. Служба кончилась. Все выходят, столпившись на темной паперти. В мраке улиц дрожа плывут огоньки свечей — от евангелий. Кое-где в маленьких, слепых оконцах вздрагивает свет, а далеко где-то ухает, вздыхает артиллерия...

Следующий день лежим в хате. Полусонно. Маша, хозяйская дочка, держит в руках бумажку и поет что-то, заглядывая в нее, на мотив Стеньки Разина. Она уже с нами освоилась, разговаривает, смеется... «Ты что поешь, Маша?» Смутилась, прячет лицо, закрывается бумажкой... «Что поешь-то?» — «Песню», — тихо отвечает она. «Какую?» Мать улыбается. «Это она поет, здесь песню сложили, про бой, про первый». — «Ну-ка, покажи мне, Маша». Подбежала с протянутой бумажкой и, отбежав, опять села у стены. На бумажке каракулями написана «Песня».

Долго, долго мы слушали
Этих частных телеграмм
Наконец мы порешили
Защищать Лежанский план

И вступивши мы в Лежанку
Не слышали ничего
А на утро только встали
Говорят нам все одно

Что кадеты идут в Лежанку
Не боятся ничего
И одно они твердят
Заберем всех до одного

Лишь кадеты выступали
Выходили из горы
То мы все приободрились
Взяв винтовочки свои

Положились мы в окопы
Дожидались мы врага

И мы их сперва пустили
До карантинского моста

Тут же храбрый наш товарищ
Роман Никифорович Бабин
Своим храбрым пулеметом
Этих сволочей косил

Он косил из пулемета
Как хорош косарь траву
Крикнем братцы мы все громко
Ура товарищу Бабинну

Пулеметы помогали
Пехотникам хорошо
Батарея ж разбежалась
Не оставив никого

И орудья побросали
По Лежанскому шляху
А затворы снимали
Все спешили ко двору

А пехота дострелялась
Что патронов уже нет
Хоть она и потеряла
240 человек

Жаль товарищей попавших
В руки кадетам врагам
Они над ними издевались
И рубили по кускам

Я спою, спою вам братцы
Показал вам свой итог
Но у кого легло два сына
Того жалко не дай бог.

«Это у нас в училище играют», — говорит Маша.

«А кто этот Бабин?» — спрашиваю я хозяйку. «Солдат был... На площади вот его хата». — «Его убили?» — «Убили, сказывают, на пулемете закололи».

В великую субботу выезжаем на Егорлыцкую. Едем долго. Ночь. Темно. Степь покрыли черные тучи. Носится злой ветер.

Брызжет мелкий, колючий дождь. Подводы тихо ползут по черной степи. Оттуда, где перекачивались выстрелы, донеслись гулкие, неясные крики — это кавалерия пошла в ночную атаку.

«Что, двенадцать уже есть?» — «Есть, первый». — «Встретили заутреню».

Опять на Дону

Мелькают огни станицы Егорлыцкой. По темной улице едет подвода — ищем квартиру, останавливаясь у каждой хаты.

З. вошел в одну. «Ну, что?» — «Нет, сын у хозяина убит, только что привезли из боя».

Нашли небольшую хатку. Впустили. Казак и жена радушные. На столе пасха, кулич, самовар. Хозяева угощают.

«Ну, пришли вы, слава богу, а то прямо сил нет... со всех концов наседают, — говорит казак, — и старые и малые в бой ходили, сам пошел на старости лет. Всю станицу окопами обрыли. Сегодня отобьем их — завтра, гляди, опять прут, да еще больше, с артиллерией. Последний раз — когда это? в четверг, что ли? — весь день пробились, видим — не отбить. До ночи дрались, а ночью собрали баб, ребятишек — и айда, в степь уехали».

Наутро они станицу заняли, давай все наше добро делить, дома, скотину всякую. А тут ваши с Лежанки идут, на них ударили. Мы услышали — тоже из степи на станицу пошли. Они бежать... Комиссара ихнего захватили. Их перебили. Опять в свои хаты пришли. Теперь с вами-то полегче, а то прямо край, гонят из последней хаты — и на, поди...»

Казак укладывает нас. Ухаживает за нами.

Раннее утро. Первый день пасхи. Пошли по станице. Попадаются пешие вооруженные казаки, в синих кафтанах, в шароварах с лампасами. Едут верховые на рыжих конях. Но народу в станице мало. Не по-праздничному. Недалеко от Егорлыцкой — бой. И казаки вместе с добровольцами — там.

Идем широкой улицей.

Деревянные, чистые, просторные дома, с занавесками на окнах. Кругом сады, в цвету. Поперек улицы носятся вихрем — играют здоровые, ловкие казачата. Где-то перебирает гармоника. Проскакали верховые. Ветер поднял по улице пыль и несет ее облаком... «Слыхали, завтра на Новочеркасск всех раненых отправляют!» — высунувшись из окна, кричит знакомый.

Утром обозу приказано построиться. Опять донскими бескрайними степями идет обоз. Но теперь степь не снежная, а зеленая, как изумруд. На зелени кое-где алеют кровавыми пятнами воронцы. Дымится пыль над

обозом. Одна верста похожа на другую. Степь... степь... без конца...

Прошлый раз в феврале в Мечетинской армия тонула в грязи. Теперь — дорога сухая, станица — зеленая. Остановились у иногородних. Хозяева не любезны. Отворачиваются и ворчат что-то под нос. На стенах фотографии матросов. «Что это у вас все матросы?» — спрашиваю я хозяйскую дочку, намазанную городскую проститутку. «А чиво ж им не висеть-то? Народ веселый», — хихикает она.

Опять чай, молоко, разговоры о Новочеркасске...

«Неужели поедет?» — «Черт возьми, хоть от вшей освободиться да снарядов не услышишь». — «А знаете? полковник Корнилов с девятнадцатью офицерами из армии убежал». — «Ну? Куда?» — «Не знаю. Ночью на подводах с пулеметами куда-то свистнули. Офицеры все из штаба, из контрразведки. Их догоняли, ловили — не поймали». — «А многие бегут из армии, прямо на Ростов, на Новочеркасск». — «Да... А я вот вам штуку расскажу. Здесь на площади баб как пороли, интересно. Когда большевики пришли, они вместе с ними потребительскую лавку разграбили. Ну а после у кого какую вещь найдут — на площадь, заголяют, сами казаки порют, а кругом хохочут».

На улицах Мечетинской также ходят вооруженные казаки. И старые и малые — все поднялись. Несколько раз выбивали они большевиков из станицы и опять отдавали. Но теперь положение крепнет. Весь Дон всколыхнулся. Освобождается округ за округом. Казаки гонят красных из станиц. Комиссаров сменяют атаманы.

Едем в Маныцкую. Все знают, что из нее на пароходе по Манычу и Дону в Новочеркасск. Чувствуется близость отдыха, все мечтают, что не услышат больше приближающегося свиста снарядов, трещащего переката ружей, стонов и переменят одежду, сплошь покрытую вшами.

День прожили в Маныцкой. На другой — погрузка.

У берега Маныча — большой белый пароход, к нему прицеплена баржа. Раненых несут на руках, на носилках. Больные, легкораненые сами ковыляют, хромают. Пароход погружен, засвистел, выпустил клубы черного дыма, поплыл...

Раненые сидят, лежат на палубе; бледны измученные лица; усталые глаза; шинели и разные шапки — все

рваное, грязное, измятое; ноги некоторых обвязаны тряпками вместо обуви.

Пароход выходит из жело-грязноватого Маныча в синеголубой Дои. Дои сильным разливом затопил луга, леса. Речной простор его так широк, что глазом не окинешь. Плыдем мимо древней столицы казаков — Старочеркасской. Здесь хранятся цепи Степана Разина.

Бегут берега, посвистывает пароход — подходит к Аксаю.

«Господа, немцы! Смотрите, немцы!» — кричит раненый. Все метнулись к борту. Рядом с пароходом, на его волнах, плывет, качается лодка. На веслах, в серой форме с красными околышами, — два немца. На руле — барышня в белом.

«Вот сволочь!» — качает головой раненый...

«Как неприятно все-таки. На Дону — немцы!» — говорит другой. «Это что же, союзники иль победители?» — криво усмехается старый капитан.

Пароход свистит, причаливая к Аксаю. На берегу — немецкие часовые. Офицер в светло-сером, почти голубом мундире, с моноклем в глазу, отдает им какие-то приказания. Часовые стоят как деревянные, с откинутыми назад руками. На берегу гуляют чистенькие, блестящие немцы.

Рванные, грязные, вшивые, хромые, безрукие раненые выползли на берег. Смотрят на них. Немцы тоже смотрят и чему-то смеются меж собой.

Пароход плывет дальше. Разговоры на палубе смолкли. Все притихли.

Далеко, на горе, горит золотом купол новочеркасского собора. Уже виден город. Подплываем к Новочеркаску. Причалили к берегу-улице.

Шедший народ останавливается. Смотрят на нас. С палубы кто-то махиул платком. Но толпа — случайная. Расходятся по своим делам.

На берег никого не пускают. «Почему?!» — «Да что это такое?!» — волнуются раненые.

«Господа, оказывается, нас не ждали здесь. И потому нам, по крайней мере, день придется пробыть на пароходе. Доктор Родзянко поехал к атаману поговорить о нас», — заявляет офицер из начальства.

Одни злобно ругаются. Другие — молчаливо задумались. Но раненых, могущих, идти, удержать нельзя.

Обвязанные грязными бинтами, хромые, рванные, с

тряпками, мешочками, с палочками, они уже сошли с парохода и ковыляют, идут в город.

На улицах прохожие останавливаются, удивленно смотрят на оборванцев и осторожно спрашивают: «Вы кто такие? Откуда?» — «Корниловцы, из похода вернулись». — «А-а-а!» — тянут прохожие, спокойно ускоряя шаг.

Мы дошли до той же грязной гостиницы «Лондон», где останавливались, приехав в Новочеркасск. Сняли тот же скверный номер. В комод, в столе — бумаги. Читаю — бумаги красноармейцев, какие-то рапорта, условия службы... «Что это за бумаги? Большевики, что ли, жили?» — спрашиваю я вошедшего лакея. «Да... жили...»

«Что же, убежали?» — «Нет, не успели. На крыльце их, вот тут, убили, у гостиницы». — «Кто?» — «Казачи, когда восстали».

В Новочеркасске как будто ничего не менялось. Опять на чистеньких улицах мелькают разноцветные формы военных, красивые костюмы женщин, несутся автомобили, идут казачьи части. Только раненые корниловцы явились диссонансом. Хромые, безоружные, обвязанные, с бледными лицами, идут они по шумящим, блестящим улицам...

На Доне

Мы с братом переехали из лазарета к знакомым в станицу Каменскую. Живем на берегу Донца.

За зеленым садом — желтый, песочный берег, змеится синий Донец, за ним — старая станица с пирамидальными, серебристыми тополями, белыми хатами; говорливые, бойкие казачки быстро сбегает с ведрами с кручи к реке; по реке скользят лодки...

Мы плывем. Вечереет. Закатное солнце бросает в воду последние лучи, преломляющиеся тысячами цветов. Тишина — будто все к чему-то прислушивается. Булькнули брошенные весла. Скользит лодка, прижимаясь к темно-зеленому ивовому берегу.

.

Вскоре мы с братом вышли из армии.

А.И. ДЕНИКИН ПОХОД И СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА

ПЕРВЫЙ КУБАНСКИЙ ПОХОД

Мы уходили.

Покружив по вымершему городу, мы остановились на сборном пункте — в казармах Ростовского полка (генерала Боровского), в ожидании подхода войск. Еще с утра Боровский предложил ростовской молодежи — кто желает — вернуться домой: впереди тяжелый поход и полная неизвестность. Некоторые ушли, но часть к вечеру вернулась: «все соседи знают, что мы были в армии, товарищи или прислуга выдадут».

Долго ждем сбора частей. Разговор не клеится. Каждый занят своими мыслями, не хочется думать и говорить о завтрашнем дне. И как-то странно даже слышать доносящиеся иногда обрывки фраз — таких обыденных, таких далеких от переживаемых минут.

Двинулись наконец окраиной города. По глубокому снегу. Проехало мимо несколько всадников. Один остановился. Доложил о движении конного дивизиона. Присит Корнилова сесть на его лошадь.

— Спасибо, не надо.

Из боковых улиц показываются редкие прохожие и, увидев силуэты людей с ружьями, тотчас же исчезают в ближайших воротах. Вышли в поле, пересекаем дорогу на Новочеркасск. На дороге безнадежно застрявший автомобиль генерала Богаевского. С небольшим чемоданчиком в руках он присоединяется к колонне. Появилось несколько извозчицких пролеток. С них нерешитель-

но сходят офицеры, по-видимому, задержавшиеся в городе. Подошли с опаской к колонне и, убедившись, что свон, облегченно вздохнули.

— Ну, слава те, господи! Не знаете, где 2-й батальон?

Вышли на дорогу в Аксайскую станцию. Невдалеке от станции встречает квартирьер:

— Казаки «держат нейтралитет» и отказываются дать ночлег войскам.

Корнилов нервничает.

— Иван Павлович, поезжайте, поговорите с этими дураками.

Не стоит начинать поход «усмирением» казачьей станицы. Романовский повернул встречные сани, пригласил меня, поехал вперед. Долгие утомительные разговоры сначала со станичным атаманом (офицер), растерянным и робким человеком, потом со станичным сбором: тупые и наглые люди, бестолковые речи. После полуторачасовых убеждений Романовского согласились впустить войска с тем, что на следующее утро мы уйдем, не ведя боя у станицы. Думаю, что решающую роль в переговорах сыграл офицер-ординарец, который отвел в сторону наиболее строптивого казака и потихоньку сказал ему:

— Вы решайте поскорее, а то сейчас подойдет Корнилов — он шутить не любит: вас повесит, а станицу спалит.

Утомленные переживаниями дня и ночным походом, добровольцы быстро разбрелась по станице. Все спит. У Аксая — переправа через Дон по льду. Лед подтаял и трескается. Явился тревожный вопрос — выдержит ли артиллерию и повозки.

Оставили в Аксайской арьергард для своего прикрытия и до окончания разгрузки вагонов с запасами, которые удалось вывезти из Ростова, и благополучно переправившись. По бесконечному гладкому снежному полю вилась темная лента. Пестрая, словно цыганский табор: ехали повозки, груженные наспех и ценными запасами, и всяким хламом; плелись какие-то штатские люди; женщины в городских костюмах и в легкой обуви вязли в снегу. А вперемежку шли небольшие, словно случайно затерянные среди «табора», войсковые колонны — все, что осталось от великой некогда русской армии... Шли мерно, стройно. Как они одеты! Офицерские шинели, штатские пальто, гимназические фуражки; в сапогах, валенках, опорках... Ни-

чего — под нищенским покровом живая душа. В этом — все.

Вот проехал на тележке генерал Алексеев; при нем небольшой чемодан; в чемодане и под мунирами несколько офицеров его коновоя — «деньгонош» — вся наша тощая казна, около шести миллионов рублей кредитными билетами и казначейскими обязательствами. Бывший верховный сам лично собирает и распределяет крохи армейского содержания. Не раз он со скорбной улыбкой говорил мне:

— Плохо, Антон Иванович, не знаю, дотянем ли до конца похода...

Солице светит ярко. Стало теплее. Настроение у всех поднялось: вырвались из Ростова, перешли Дон — это главное, а там ...Корилов выведет.

Он здоровается с проходящими частями. Отвечают радостно. И затем, пройдя несколько шагов, продолжают нескладную, но задумчивую песню:

Дружно, корниловцы, в ногу,
С нами Корилов идет;
Спасет он, поверьте, отчизну,
Не выдаст он русский народ.

Молодость, порыв, вера в будущее и вот эта крепкая, здоровая связь с вождем проведут через все испытания.

* * *

Остановились в станице Ольгинской, где уже ночевал отряд генерала Маркова, пробившийся мимо Батаяска левым берегом Дона. Корилов приступил к реорганизации Добровольческой армии, насчитывавшей всего около 4 тысяч бойцов, путем сведения многих мелких частей.

Состав армии получился следующий:

1-й Офицерский полк, под командой генерала Маркова, — из трех офицерских батальонов, кавказского дивизиона и морской роты.

Юнкерский батальон, под командой генерала Боровского, — из прежнего юнкерского батальона и Ростовского полка.

Кориловский ударный полк, под командой полковника Нежинцева. В полк влиты части б. Георгиевского

полка и партизанского отряда полковника Симановского.

Партизанский полк, под командой генерала А. Богаевского, — из пеших донских партизанских отрядов.

Артиллерийский дивизион, под командой полковника Икишева, — из четырех батарей по два орудия. Командиры: Миочинский, Шмидт, Ерогин, Третьяков.

Чехословацкий инженерный батальон, под «управлением» штатского инженера Краля и под командой капитана Меметчика.

Конные отряды¹:

а) полковника Глазенапа — из донских партизанских отрядов;

б) полковника Гершельмана — регулярный;

в) полковника Корнилова — из бывших частей Чернецова.

Сведение частей вызвало много обиженных самолюбий смещенных начальников и на этой почве некоторое неудовольствие в частях. Приглашает меня к себе Алексеев и взволнованно говорит:

— Я не ручаюсь, что сегодня не произойдет бой между юнкерами и студентами². Юнкера считают их «социалистами»... Как можно было сливать такие несхожие по характеру части!

— Ничего, Михаил Васильевич. Все обойдется. Волнуется больше П.³, чем батальон.

У Маркова также были некоторые трения, но он с первых же дней взял в руки свой полк.

— Не много же вас здесь, — обратился он к собравшимся в первый раз офицерским батальонам. — По правде говоря, их трехсоттысячного офицерского корпуса я ожидал увидеть больше. Но не огорчайтесь. Я глубоко убежден, что даже с такими малыми силами мы совершим великие дела. Не спрашивайте меня, куда и зачем мы идем, а то все равно скажу, что идем к черту за синей птицей. Теперь скажу только, что приказом командующего армией, имя которого хорошо известно всей России, я назначен командиром 1-го Офицерского полка, который сводится из ваших трех батальонов и из роты моряков, хорошо известной нам по

¹ Донские партизанские отряды Краснянского, Бокова, Лазарева и др. присоединились к нам в Ольгинской (здесь и далее прим. автора).

² Ростовский полк назывался еще в начале формирования «Студенческим», хотя студентов в нем было очень мало.

³ П. — бывший командир юнкерского батальона.

боям под Батайском. Командиры батальонов переходят на положенные ротных командиров; но и тут, господа, не огорчайтесь. Ведь и я с должности начальника штаба фронта фактически перешел на батальон.

Спешно комплектовали конницу и обоз, покупая лошадей с большим трудом и за баснословную цену у казаков. Патронов было очень мало, снарядов не более 600—700. Для этого рода снабжения у нас оставался только один способ — брать с боя у большевиков цену крови.

Меня Корнилов назначил «помощником командующего армией». Функции довольно неопределенные, идея жуткая — преемственность. На беду, у меня вышло недоразумение еще в Ростове с вещами: чемодан с военным платьем был отправлен вперед в Батайск еще тогда, когда предполагалось везти армию по железной дороге, и там во время захвата станции попал в руки большевиков. В поход пришлось идти в штатском городском костюме и в сапогах с рваными подошвами. В результате, после двух пеших переходов — тяжелая форма бронхита, благодаря которому потом долгое время на походе я ехал с войсками, а на остановках принужден был лежать в постели.

В Ольгинской разрешился наконец вопрос о дальнейшем плане нашего движения.

Корнилов склонен был двигаться в район зимовников¹, в Сальский округ Донской области. Некоторые предварительные распоряжения были уже сделаны. Обеспокоенный этим, генерал Алексеев 12 февраля писал Корнилову:

«В настоящее время, с потерей главной базы армии — г. Ростова, в связи с последними решениями Донского войскового округа и с неопределенным положением на Кубани, встал вопрос о возможности выполнения тех общегосударственных задач, которые себе ставила наша организация».

«События в Новочеркасске развиваются с чрезвычайной быстротой. Сегодня к 12 часам положение рисуется в таком виде: атаман слагает свои полномочия; вся власть переходит к военно-революционному комитету; круг вызвал в Новочеркасск революционные казачьи части, которым и вверяет охрану порядка в городе; круг начал переговоры о перемирии; станция Константиновская и весь север области в руках воен-

¹ Зимовник — усадьба — становище донских табунов.

но-революционного комитета; все войсковые части (главным образом партизаны), не пожелавшие подчиниться решению круга, во главе с походным атаманом и штабом, сегодня выступают в Старочеркасскую для присоединения к Добровольческой армии».

«Создавшаяся обстановка требует немедленных решений, не только чисто военных, но в тесной связи с решением вопросов общего характера».

«Из разговоров с генералом Эльснером и Романовским я понял, что принят план ухода отряда в зимовники, к сев.-зап. от станицы Великокняжеской. Считаю, что при таком решении невозможно не только продолжение нашей работы, но даже при надобности и относительно безболезненная ликвидация нашего дела и спасение доверивших нам свою судьбу людей. В зимовниках отряд будет очень скоро сжат с одной стороны распутившейся рекой Доном, а с другой — железной дорогой Царицын — Торговая — Тихорецкая — Батаяск, причем все железнодорожные узлы и выходы грунтовых дорог будут заняты большевиками, что лишит нас совершенно возможности получать пополнения людьми и предметами снабжения, не говоря уже о том, что пребывание в степи поставит нас в стороне от общего хода событий в России».

Так как подобное решение выходит из плоскости чисто военной, а также потому, что предварительно начала какой-либо военной операции необходимо теперь же разрешить вопрос о дальнейшем существовании нашей организации и направлении ее деятельности — прошу вас сегодня же созвать совещание из лиц, состоящих во главе организации, с их ближайшими помощниками».

На военном совете, собранном в тот же вечер, мнения разделились. Одни настаивали на движении к Екатеринодару, другие, в том числе Корнилов, склонялись к походу в зимовники.

Помимо условий стратегических и политических, это второе решение казалось весьма рискованным и по другим основаниям. Степной район, пригодный для мелких партизанских отрядов, представлял большие затруднения для жизни Добровольческой армии, с ее пятью тысячами ртов. Зимовники, значительно удаленные друг от друга, не обладали ни достаточным числом жилых помещений, ни топливом. Располагаться в них можно было лишь мелкими частями, разбросанно, что при отсутствии технических средств связи до крайности за-

трудняло бы управление. Степной район, кроме зерна (немолотого), сена и скота, не давал ничего для удовлетворения потребностей армии. Наконец, трудно было рассчитывать, чтобы большевики оставили нас в покое и не постарались уничтожить по частям распыленные отряды.

На Кубани — наоборот: мы ожидали встретить не только богато обеспеченный край, но, в противоположность Дону, сочувственное настроение, борющуюся власть и добровольческие силы, которые, значительно преувеличивались молвой. Наконец, уцелевший от захвата большевиками центр власти — Екатеринодар — давал, казалось, возможность начать новую большую организационную работу.

Принято было решение идти на Кубань.

Однако на другой день вечером обстановка изменилась: к командующему приехали походный атаман генерал Попов и его начальник штаба полковник Сидорин. В донском отряде у них было 1500 бойцов, 5 орудий, 40 пулеметов. Они убедили Корнилова идти в зимовники. Наш конный авангард, стоящий у Кагальницкой, получил распоряжение свернуть на восток... Поднявшись с постели, я пошел в штаб отвести душу. Безрезультатно. Некоторое колебание, однако, посеяно: решили собрать дополнительные сведения о районе.

В Ольгинской — прилив и отлив.

Присоединилось несколько казачьих партизанских отрядов, прибывают офицеры, вырвавшиеся из Ростова, раненые добровольцы, бежавшие из новочеркасских лазаретов. Притворяются здоровыми, боясь, что их не возьмут в поход.

Приехал из Новочеркасска генерал Лукомский. Накануне нашего выступления из Ольгинской он вместе с генералом Ронжиным¹, переодетые в штатское платье, поехали в бричке прямым путем на Екатеринодар для установления связи с кубанским атаманом и добровольческими отрядами. Но в селе Гуляй-Борисовке они были пойманы большевиками, томились под арестом и едва спаслись от расстрела.

Уехал полковник Лебедев с небольшим отрядом «особого назначения», состоявшим при генерале Алексееве. Ему было поручено связаться с Заволжьем и Сибирью. Лебедев впоследствии пробрался в Сибирь и

¹ Впоследствии главный военный прокурор вооруженных сил юга России.

стал начальником штаба у адмирала Калчака; часть его спутников, по советским сообщениям, попала в тюрьмы Поволжья. Уехали вовсе, по личным побуждениям, несколько офицеров, в том числе генерального штаба генерал Складовский и капитан Роженко (быховец).

Определилось яснее настроение донских казаков. Не понимают совершенно ни большевизма, ни «корниловщины». С нашими разъяснениями соглашаются, но как будто плохо верят. Сыты, богаты и, по-видимому, хотели бы извлечь пользу и из «белого», и из «красного» движения. Обе идеологии теперь еще чужды казакам, и больше всего они боятся ввязываться в междоусобную распрю... пока большевизм не схватил их за горло. А между тем становилось совершенно ясно, что тактика «нейтралитета» наименее жизненная. Налетевший шквал суров и беспощадеи: горячие и холодные — в его стихии гибнут или властвуют, а теплых он обращает в человеческую пыль.

Впрочем, неопределенная судьба армии ставила в трагическое положение и тех, кто ей сочувствовал.

— Генерал Корнилов нас здорово срамил у станичного правления, — говорил мне тоскливо крепкий зажиточный казак средних лет, недавно вернувшийся с фронта и недовольный разрухой. — Что ж, я пошел бы с кадетами¹, да сегодня вы уйдете, а завтра в станицу придут большевики. Хозяйство, жена...

Казачество, если не теперь, то в будущем, считалось нашей опорой. И потому Корнилов требовал особенно осторожного отношения к станицам и не применял реквизиций. Мера, психологически полезная для будущего, ставила в тупик органы снабжения. Мы просили крова, просили жизненных припасов — за дорогую плату, не могли достать ни за какую цену сапог и одежды, тогда еще в изобилии имевшихся в станицах, для босых и полуодетых добровольцев; не могли получить достаточно количества подвод, чтобы вывезти из Аксая остатки армейского имущества.

Условия неравные: завтра придут большевики и возьмут все — им отдадут даже последнее беспрекословно, с проклятиями в душе и с униженными поклонами.

Скоро на этой почве началось прискорбное явление армейского быта — «самоснабжение». Для устранения

¹ Так называли белых на юге.

или по крайней мере смягчения его последствий командование вынуждено было вскоре перейти к приказам и платным реквизициям.

* * *

Мы шли медленно, останавливаясь на дневках в каждой станице. От Ольгинской до Егорлыцкой — 88 верст — шли 6 дней. Сколачивали части, заводили обоз. При условии направления в зимовники такая медленность была вполне понятна.

У Хомутовской Корнилов пропускал в первый раз колонну. Как всегда — у молодых горели глаза, старики подтягивались при виде сумрачной фигуры главнокомандующего. С колонной много небоевого элемента, в том числе два брата Сувориных (А. и Б.), Н. Н. Львов, Л. В. Половцев, Л. Н. Новосильцев, генерал Кисляков, Н. П. Щетинина, два профессора Донского политехнического института и др. Члены нашего «Совета» не пошли: и Корнилов, и я в самой решительной форме отсоветовали им идти с нами в поход, который представлялся чреватым всякими неожиданностями и в котором каждый лишний человек, каждая лишняя повозка — в тягость.

Два перехода шли по невылазной грязи, в которой некоторые добровольцы буквально оставили обувь и продолжали путь босыми...

Утром перед выступлением из Хомутовской большевистский отряд — несколько эскадронов 4-й кавалерийской дивизии с одним орудием — подошел вплотную к станице и открыл по ней ружейный и артиллерийский огонь. Охранялись добровольцы плохо: пока еще не было надлежащей выносливости в трудной солдатской работе. На окраине станицы, ближайшей к противнику, стоял обоз, и нестроевые с повозками сломя голову помчались по всем направлениям, запрудив улицы и внеся беспорядок. Вышел Корнилов со штабом, успокоил людей. Рассыпалась цепь, развернулась батарея; после нескольких выстрелов и обозначившегося движения во фланг нашей сотни большевики ушли.

Идем дальше. В колонне опять веселое настроение: смех и шутки даже среди раненых, которых уже без боев набралось более шестидесяти.

«Дополнительные сведения» о районе зимовников оказались вполне отрицательными, и поэтому принято решение двигаться на Кубань. В Мечетинской Корнилов

вызвал всех командиров отдельных частей, чтобы объявить им о принятом решении. Собралось много офицеров — каждый партизан, имевший под командой 30—40 человек (в составе Партизанского полка) ищет самостоятельности. Корнилов сухо, резко, как всегда, изложил мотивы и императивно указал новое направление. Но взор его испытующе и с некоторым беспокойством следил за лицами донских партизан.

Пойдут ли с Дона?

Партизаны несколько смущены, некоторые опечалены. Но в душе выбор их уже сделан: идут с Корниловым.

Послано было предложение походному атаману Попову присоединиться к Добровольческой армии. Через два-три дня он ответил отказом. Попов объяснил, что, считаясь с настроением своих войск и начальников, он не мог покинуть родного Дона и решил в его степях выждать пробуждения казачества. Про него же говорили, что честолюбие удержало его от подчинения Корнилову. Для нас Дон был только частью русской территории, для них понятие «родины» раздваивалось на составные элементы — один более близкий и осязаемый, другой отдаленный, умозрительный.

* * *

Наиболее приветливо встретила нас станица Егорлыцкая. Во всем — в сердечности приема, в заботах о раненых, в готовности продовольствовать войска. Многие проявляли свои симпатии в формах весьма экспансивных. Хозяин того дома, в котором я помещился священник, положительно умилял своим желанием помочь добровольцам. Я смотрел на него с благодарностью, но и... с глубоким сожалением. Положение кочующей армии создавало поистине трагические противоречия: со своими врагами расправлялись добровольцы, с их друзьями расправлялись потом те, кто шел по нашим следам. Егорлыцкая уцелела. Но за время похода много было пролито крови тех, кто так или иначе помогал «кадетам». В станице Успенской, например, в апреле большевики повесили после нашего ухода хозяина одного дома только за то, что я — тогда уже командующий Добровольческой армией — останавливался у него.

В Егорлыцкой, при полном станичном сборе, говорили генералы Алексеев и Корнилов. Первый объяснял казакам положение России и цели Добровольческой армии;

второй не любил и не умел говорить; сказал лишь несколько слов; потом длинную речь держал Баткин...

«Матрос 2-й статьи Федор Баткин».

Довольно интересный тип людей, рожденных революцией и только на ее фоне находящих почву для своей индивидуальности.

По происхождению — еврей; по партийной принадлежности — социал-революционер; по ремеслу — агитатор. В первые дни революции поступил добровольцем в Черноморский флот, через два-три дня был выбран в комитет, а еще через несколько дней уехал в Петроград в составе так называемой Черноморской делегации. С тех пор в столицах — на всевозможных съездах и собраниях, на фронте — на солдатских митингах раздавались речи Баткина. Направляемый и субсидируемый Ставкой, он сохранял известную свободу в трактовании политических тем и служил добросовестно, проводя идею «оборончества». В январе Баткин появился в Ростове и приступил снова к агитационной деятельности за счет штаба Добровольческой армии. Социалистический этикет обязывал его, очевидно, к известной манере речи, к изображению армии в несвойственном ей облике и к огульному опорочению всего «старого строя», задевая и военные традиции. На этой почве в известной части добровольческого офицерства, преувеличивавшего значение Баткина, возникла глухая вражда к нему и недовольство Корниловым. Незадолго до выхода в поход комplot офицеров хотел убить Баткина, и я, совершенно случайно узнав об этом, помешал их замыслу. Корнилов сдал Баткина под охрану своего конвоя.

На походе фигура Баткина, трясущегося верхом на лошади, неизменно появлялась среди квартиреров и потом на станичных и сельских сходах. Его «предшество» и речи производили странное впечатление: уместные, быть может, в солдатско-рабочей среде, они были одинаково чужды и добровольческой психологии, и мировоззрению казачества, для уяснения которого требовалось глубокое знание казачьей жизни и быта.

В Егорлыцкой кончается Донская область. Дальше — Ставропольская губерния, бурлящая большевизмом и занятая частями ушедшей с фронта 39-й пехотной дивизии. Здесь нет еще советской власти, но есть местные советы, анархия и... ненависть к «кадетам». Мы попадаем в сплошное осиное гнездо...

После состоявшегося решения идти на Кубань не-

обходимо форсированное движение, по возможности избегая боев, для скорейшего достижения политического центра области — Екатеринодара. Мы начинаем двигаться с возможной скоростью.

* * *

В селении Лежанке нам преградил путь большевистский отряд с артиллерией.

Был ясный, слегка морозный день.

Офицерский полк шел в авангарде. Старые и молодые; полковники на взводах. Никогда еще не было такой армии. Впереди — помощник командира полка полковник Тимановский шел широким шагом, опираясь на палку, с неизменной трубкой в зубах; израненный много раз, с сильно поврежденными позвонками спинного хребта... Одну из рот ведет полковник Кутепов, бывший командир Преображенского полка. Сухой, крепкий, с откинутой на затылок фуражкой, подтянутый, краткими, отрывистыми фразами отдает приказания. В рядах много безусой молодежи — беспечной и жизнерадостной. Вдоль колонны проскакал Марков, повернул голову к нам, что-то сказал, чего мы не расслышали, на ходу «разнес» кого-то из своих офицеров и полетел к головному отряду.

Глухой выстрел, высокий, высокий разрыв шрапнели. Началось.

Офицерский полк развернулся и пошел в наступление спокойно, не останавливаясь, прямо на деревню. Скрылся за гребнем. Подъезжает Алексеев. Пошли с ним вперед. С гребня открывается обширная панорама. Раскинувшееся широко село опоясано линиями окопов. У самой церкви стоит большевистская батарея и беспорядочно разбрасывает снаряды вдоль дороги. Ружейный и пулеметный огонь все чаще. Наши цепи остановились и залегли: вдоль фронта болотистая, незамерзшая речка. Придется обходить.

Вправо, в обход двинулся Корниловский полк. Вслед за ним поскакала группа всадников с развернутым трехцветным флагом...

— Корнилов.

В рядах волнение. Все взоры обращены туда, где виднеется фигура командующего...

А вдоль большой дороги совершенно открыто юнкера подполковника Миончинского подводят орудия прямо

в цепи под огнем неприятельских пулеметов; скоро огонь батареи вызвал заметное движение в рядах противника. Наступление, однако, задерживается...

Офицерский полк не выдержал долгого томления: одна из рот бросилась в холодную, липкую грязь речки и переходит вброд на другой берег. Там — смятение, и скоро все поле уже усеяно бегущими в панике людьми, мечутся повозки, скачет батарея. Офицерский полк и Корниловский, вышедший к селу с запада через плотину, преследуют.

Мы входим в село, словно вымершее. По улицам валяются трупы. Жуткая тишина. И долго еще ее безмолвие нарушает сухой треск ружейных выстрелов: «ликвидируют» большевиков... Много их...

Кто они? Зачем им, «смертельно уставшим от четырехлетней войны», идти вновь в бой и на смерть? Бросившие турецкий фронт поле и батарея, буйная деревенская вольница, человеческая накипь Лежанки и окрестных сел, пришлый рабочий элемент, давно уже вместе с солдатчиной овладевший всеми сходами, комитетами, советами и терроризировавший всю губернию; быть может, и мирные мужики, насильно взятые советами. Никто из них не понимает смысла борьбы. И представление о нас как о «врагах» — какое-то расплывчатое, неясное, созданное бешено растущей пропагандой и беспричинным страхом.

— «Кадеты»... Офицеры... Хотят повернуть к старому...

Член ростовской управы, социал-демократ меньшевик Попов, странствовавший как раз в эти дни по Владикавказской железной дороге, параллельно движению армии, такими словами рисовал настроение населения:

«...Чтобы не содействовать так или иначе войскам Корнилова в борьбе с революционными армиями, все взрослое мужское население уходило из своих деревень в более отдаленные села и к станциям железных дорог... «Дайте нам оружие, дабы мы могли защищаться от кадет», — таков был общий крик приехавших сюда крестьян... Толпа с жадностью ловила известия с «фронта», комментировала их на тысячу ладов, слово «кадет» переходило из уст в уста. Все, что не носило серой шинели, казалось не своим; кто был одет «чисто», кто говорил «по-образованному», попадал под подозрение толпы. «Кадет» — это воплощение всего злого, что может разрушить надежды масс на лучшую жизнь; «ка-

дет» — это злой дух, стоящий на пути всех чаяний и упований народа, а потому с ним нужно бороться, его нужно уничтожить»¹.

Это несомненно преувеличенное определение враждебного отношения к «кадетам», в особенности в смысле «всеобщности» и активности его проявления, подчеркивает, однако, основную черту настроения крестьянства — его беспочвенность и сумбурность. В нем не было ни «политики», ни «Учредительного Собрания», ни «республики», ни «царя»; даже земельный вопрос сам по себе здесь, в Задонье, и в особенности в привольных Ставропольских степях, не имел особенной остроты. Мы, помимо своей воли, попали просто в заколдованный круг общей социальной борьбы: и здесь и потом всюду, где ни проходила Добровольческая армия, часть населения, более обеспеченная, зажиточная, заинтересованная в восстановлении порядка и нормальных условий жизни, тайно или явно сочувствовала ей; другая, строившая свое благополучие — заслуженное или незаслуженное — на безвременье и безвластие, была ей враждебна. И не было возможности вырваться из этого круга, внушить им истинные цели армии. Делом? Но что может дать краю проходящая армия, вынужденная вести кровавые бои даже за право своего существования? Словом? Когда слово упирается в непроницаемую стену недоверия, страха или раболепства.

Впрочем, сход Лежанки (позднее и другие) был благоразумен — постановил пропустить «корниловскую армию». Но пришли чужие люди — красногвардейцы и солдатские эшелоны, и цветущие села и станицы обогрились кровью и заревом пожаров...

У дома, отведенного под штаб, на площади, с двумя часовыми-добровольцами на флангах, стояла шеренга пленных офицеров-артиллеристов квартировавшего в Лежанке большевистского дивизиона.

Мимо пленных через площадь проходили одна за другой добровольческие части. В глазах добровольцев презрение и ненависть. Раздаются ругательства и угрозы. Лица пленных мертвенно-бледны. Только близость штаба спасает их от расправы.

Проходит генерал Алексеев. Он взволнованно и возмущенно упрекает пленных офицеров. И с его уст слышится тяжелое бранное слово. Корнилов решает участь пленных:

¹ «Рабочее слово», 1918, № 10.

— Предать полевому суду.

Оправдания обычны: «не знал о существовании Добровольческой армии»... «Не вел стрельбы»... «Заставили служить насильно, не выпускали»... «Держали под надзором семью»...

Полевой суд счел обвинение недоказанным. В сущности не оправдал, а простил. Этот первый приговор был принят в армии спокойно, но вызвал двойное отношение к себе. Офицеры поступили в ряды нашей армии.

Помню, как в конце мая, в бою под Гуляй-Борисовкой, цепи полковника Кутепова, мой штаб и конвой подверглись жестокому артиллерийскому огню, направленному, очевидно, весьма искусной рукой. Иван Павлович, попавши в створу многих очередей шрапнели, по обыкновению невозмутимо резонерствует:

— Не дурно ведет огонь, каналья, пожалуй, нашему Миончинскому не уступит...

Через месяц, при взятии Тихорецкой, был захвачен в плен капитан — командир этой батареи.

— Взяли насильно... Хотел в Добровольческую армию... не удалось.

Когда кто-то неожиданно напомнил капитану его блестящую стрельбу под Гуляй-Борисовкой, у него сорвался, вероятно, искренний ответ:

— Профессиональная привычка.

Итак, инертность, слабоволие, беспринципность, семья, «профессиональная привычка» создавали понемногу прочные офицерские кадры Красной армии.

ПОХОД К ЕКАТЕРИНОДАРУ

23 февраля мы вступили в пределы Кубанской области.

Совсем другое настроение.

Кубань — наша база. Здесь мы найдем надежную опору. Отсюда можно начать серьезную и организованную борьбу.

Нас — пришельцев с севера — удивляли огромное богатство ее беспредельных полей, ломящиеся от хлеба скирды и амбары, ее стада и табуны. Сыты все — и казаки, и иногородние, и «хозяин», и «работник».

Нас располагал к себе веселый открытый характер

кубанских казаков и казачек — таких далеких, таких, казалось, чуждых большевистского угара.

Тихая заводь привольной кубанской жизни замутилась, однако, враждой и чувством мести к тем, кто нарушил ее покой. Когда в станице Незамаевской я замешался в пестрой праздничной, веселой толпе, там это чувство буйно вырвалось наружу. Они уже «сосчитались» с одними или угрожали сосчитаться с другими из своих большевиков, главным образом иногородних. Придет утро, мы уйдем, а еще через день появится отряд «товарища» Сорокина или Автономова и начнется возмездие...

Казаки начали поступать в армию добровольцами: Незамаевская выставила целый отряд, человек в полтора роста. Станичные сборы враждебны большевикам и выражают преданность Корнилову.

Кубань — земля обетованная.

Этот прогноз оказался впоследствии правильным по существу — в оценке психологии рядового кубанского казачества, но не рассчитанным во времени: еще не изжито было наваждение фронтовым казачеством, не было еще широкого народного движения, готового превратиться в открытую, активную борьбу. Кубанцы выжидали. Колеблющемуся настроению давало перевес в нашу пользу только присутствие внушительной силы — силы армии: оно открывало уста одним и заставляло умолкнуть других. С уходом армии — маятник покачается в другую сторону...

В направлении на Екатеринодар нам предстояло пересечь Владикавказскую железную дорогу. Узлы ее — Тихорецкая и Сосыка — заняты были большими силами красногвардейцев, по дороге ходили бронированные поезда. Чтобы избежать боя с ними, штаб прибегнул к ряду демонстраций в западном направлении, а с вечера 25-го, из станицы Веселой, армия круто повернула на юг. Двигались всю ночь и к утру подошли к станице Новолеушковской, где под прикрытием части Корниловского полка, занявшего станцию, бесконечная колонна стала быстро пересекать железнодорожный путь. Остановленный взрывом полотна вне досягаемости выстрелов, большевистский бронепоезд громил из орудий станцию и посылал навстречу колонне ряд белых дымов, расплывавшихся по небесной синеве далеко в стороне.

За эти сутки войска прошли около 60 верст. Пере-

несли поход легко — даже дети батальона Боровского.

Миновали Старолеушковскую, Иркилевскую и 1 марта подошли к Березанской. Здесь впервые против нас выступили кубанские казаки. Маятник колеблющегося настроения чуть качнулся влево, иногородние и фронтовики одержали верх на станичном сборе, и вокруг станицы за ночь выросли окопы, из которых под утро по нашему авангарду ударили градом пуль.

Бой был краток: огонь добровольческой артиллерии, развернувшиеся цепи корниловцев и марковцев быстро заставили большевиков очистить позицию. Цепи их не успели еще скрыться в станице, как всадник в белой папахе, в сопровождении трех-четырех конных ординарцев, уже влетел в самую станицу и исчез за поворотом улицы.

— Генерал Марков!

Местные большевики разошлись по домам и попрятали оружие. Пришлые ушли на Выселки.

Вечером «старики» в станичном правлении творили расправу над своей молодежью — пороли их нагайками...

* * *

Добровольческая армия прошла уже около 250 верст по взбаламученному краю, обходя или легко опрокидывая большевистские отряды. Власть главноверха Антонова и Донского военно-революционного комитета, проявляясь в центрах, становилась чисто фиктивной по мере удаления от них. «Главные силы» Ставропольского «совета народных комиссаров» после взятия Батайска и расслабления Ростова, не исполнив приказа «главноверха» о преследовании Добровольческой армии, обратив в заложников своего командующего Сохацкого и военного комиссара Анисимова, пробивались с награбленным добром обратно в Ставрополь, бесчинствуя и грабя по пути. На станциях Владикавказской дороги — Степной, Кушевке, Сосыке, Тихорецкой, Торговой и др. образовались многочисленные и буйные вооруженные скопища, не подчинявшиеся никаким «центрам» и «управляемые» своими собственными революционными комитетами и местными самодержцами. Многие из них в два-три раза превышали численно всю нашу армию, но такое только превосходство в силах не представлялось тогда опасным для добровольцев.

Теперь мы попали в несколько иные условия: Кубанский военно-революционный комитет и «главнокомандующий войсками Северного Кавказа» Автономов сумели собрать вокруг себя значительные силы красной гвардии (по преимуществу — эшелоны бывшей Кавказской армии), которые вели успешную борьбу с Екатеринодаром. Где-то недалеко на высоте Кореновской и Усть-Лабинской должна была проходить линия обороны кубанских добровольческих отрядов, пока еще нами не обнаруженная. Теперь уклонение от боя было нецелесообразным. Корнилов решил подойти к железнодорожной магистрали и ударить в тыл большевистским войскам, тем более что уже роковым образом ощущался недостаток боевых припасов, склады которых мы надеялись найти на железнодорожных станциях.

2 марта главные силы армии двинулись на станицу Журавскую, а Нежинцев с Корниловским полком ударил по станции Выселки. После краткого боя, понеся небольшие потери, корниловцы лихой атакой взяли Выселки и продвинулись на несколько верст вперед к хутору Малеванному. Армия расположилась на ночлег в Журавской, а в Выселках должен был стать заслоном конный дивизион полковника Гершельмана. Дивизион почему-то ушел без боя из Выселок, которые были заняты вновь крупными силами большевиков¹. Положение создалось крайне неприятное.

Корнилов приказал генералу Богаевскому с Партизанским полком и батареей ночной атакой овладеть Выселками. Ночь была темная, на дворе сильнейший холод. В маленькой станице не хватало ни крыш, ни продовольствия для всех частей, набившихся в нее. Партизаны, голодные, усталые, до поздней ночи оставались под открытым небом. Вероятно, поэтому Богаевский отложил наступление до утра. Чуть забрезжил свет, потянулась колонна к Выселкам, и под редким огнем артиллерии стали разворачиваться против села отряды партизан генерала Курочкина, есаула Лазарева, Власова, полковника Краснянского... Редкие цепи шли безостановочно к окраине деревни, словно вымершей. И вдруг длинный гребень холмов, примыкавших к селу, ожил и брызнул на наступавшие цепи огнем пулеметов и ружей...

«Ура!.. Ура!» — покатило по рядам. Бросились партизаны в атаку. Но валятся один за другим люди, редеют цепи. А тут справа — во фланг и тыл им ударило

¹ Гершельман был отрешен за это от должности.

свинцом из всех окон каменного здания паровой мельницы, утопленной в лощине... Цепи подальше назад и закрепи.

Бой оказался серьезнее, чем рассчитывали. Пришлось выдвинуть новые силы. Из Малеванного направлен в обход Выселок с востока батальон корниловцев, прямо на село двинут офицерский полк Маркова.

Когда утром Корнилов со штабом подъезжал к партизанским цепям, по дороге длинной вереницей нам навстречу несли носилки с убитыми и ранеными. Дорого стоила атака: погибли партизанские начальники Краснянский, Власов, ранен Лазарев, большой урон понесла донская молодежь Черновецкого отряда...

Скоро обозначилось наступление Корниловского батальона. Идут быстро, не останавливаясь, как на ученье, заходя большевикам в тыл. Подходят марковцы; левый фланг партизан продвинулся уже вперед — в охват. словно электрический ток пронесется по всем цепям, раскинувшимся далеко, — не окнешь взглядом. Партизаны поднялись и бросились снова вперед.

Противник бежит.

А справа от мельницы слышится уже заглушенный сухой треск одиночных выстрелов: идет, по-видимому, расправа.

Корнилов крупной рысью едет в Выселки. Колышется распущенный трехцветный флаг. Прошли село, едем вдоль железнодорожной насыпи — попали под сильнейший ружейный огонь, укрылись за железнодорожную будку. Впереди — никого. Нагоняет жидкая цепь партизан. Начальник отряда, раненный в ногу, весь мокрый, ковыляет бегом по неровному полю. Не то оправдывается, не то сердится, обращаясь к штабным:

— Зачем генерал срамит нас? Ведь он конный, а мы пешне — догнать трудно.

Цепь продвинулась к впереди лежащей роще и скрылась из глаз; огонь прекратился скоро, и все поле боя смолкло.

Корнилов объезжает собирающиеся в колонны войска и благодарит их за одержанную победу.

В этот день мы узнали неприятную новость: не так давно здесь, возле Выселок, произошел бой между большевиками и отрядом кубанских добровольцев Покровского. Добровольцы были разбиты и поспешно отступили в сторону Екатеринодара. Шли какие-то зловещие слухи и о кубанской столице...

Пока — только слухи. И потому на завтра приказано наступать далее, на Кореновскую, в которой сосредоточилось не менее 10 тысяч красногвардейцев с бронепоездами и с большим количеством артиллерии. Большевицскими силами командовал кубанский казак, бывший фельдшер Сорокин. Против нас был уже не тыл, а фронт екатеринодарской группы большевиков.

* * *

4-го утром мы шли с авангардом Боровского. Конная часть, бывшая впереди, по обыкновению не предупредила, и голова колонны, выйдя на гребень, с которого открываются уже купола кореновской церкви, попала под сильный ружейный огонь.

— Положите юнкеров!

Но Боровский не слышит или не хочет слышать. Он занят отдачей распоряжений. И на него и на молодежь действует присутствие командующего. Чувствуют на себе его пристальный взгляд... Рассыпаются по линии, никто не ложится. И скоро жидкие цепи юнкеров тихо, в рост, не останавливаясь, двинулись на станицу, опоясанную длинным рядом окопов, в которых даже простым глазом было заметно большое скопление большевиков.

Главный удар наносится слева на станцию Станичную Офицерским и Корниловским полками. Мыдвигаемся влево. Бой там в полном разгаре. Немолчно гудит неприятельская артиллерия, ружейный огонь сливается в сплошной гул. Попали в полосу сильного ружейного обстрела. Все легли. Пытаюсь убедить Корнилова отойти в сторону или, по крайней мере, лечь. Безрезультатно. Обращаюсь к Романовскому:

— Иван Павлович, уведите вы его... Подумайте, если случится несчастье...

— Говорил не раз — бесполезно. Он подумает в конце концов, что я о себе забочусь...

Корнилов поднялся на пригорок, глядит в бинокль. С ним рядом Романовский. Смотрю на них с тревогой, люблюсь обоими; вспоминаю — кого еще на протяжении шести лет трех войн я видел таким равнодушным к дыханию смерти...

В наступлении произошел перелом. Корниловский полк на всем фронте отходит. За ним валят густыми нестройными линиями большевики. Много, много их чер-

неет на светло-сером фоне поля. Артиллерийский огонь перешел в ураган; шрапнели белыми дымками густо стелются по небу и осыпают отходящие цепи пулями. Из обоза доносят: патроны и снаряды на исходе; части требуют; отдавать ли последние?

— Надо выдать — на станции мы найдем их много! — говорит Корнилов.

Но корниловцы остановились, потоптались несколько минут в нерешительности на месте и опять двинулись вперед; большевики залегли. Еще нет успеха, но уже чувствуется, что кризис миновал.

Стало, однако, ясным, что надо искать решительных результатов в другом месте. Корнилов послал весь свой резерв — Партизанский полк и Чехословацкую роту под начальством Богаевского в охват позиции с запада.

Едва только части эти отделились от обоза, оттуда пришло донесение:

— В тылу возле нас появилась неприятельская конница. У обоза никакого прикрытия нет.

Положение осложняется...

Корнилов посылает офицера конвоя:

— Передайте Эльснеру, что у него есть два пулемета и много здоровых людей. Этого вполне достаточно. Пусть защищаются сами. Я ничего дать им не могу.

С гребня видно, как в обозе зашевелились повозки, строя вагенбург, и рассыпалась жидкая цепь.

В этот день, кроме превосходства сил, мы встретили у противника неожиданно управление, стойкость и даже некоторый подъем. Бой затягивался, потери росли.

Среди офицеров разговор:

— Ну и дерутся же сегодня большевики!

— Ничего удивительного — ведь русские...

Разговор оборвался. Брошенная случайно фраза задела больные струнки.

Мы приехали к Богаевскому. Партизаны медленно разворачивались против станицы, батарея полковника Третьякова шла вместе с цепями и, снявшись на последней позиции, открыла огонь в упор по юго-западной окраине ее. Батальон Боровского, дважды уже захватывавший окраину и оба раза выбитый оттуда, поднялся вновь и пошел в атаку. Ударили и партизаны. Через полчаса мы входили в станицу. Батарея галопом мчалась по широкой улице к мосту через Бейсужек, где скоро в сгрудившуюся человеческую массу отступавших большевиков ударила картечью.

А с востока подошли уже Офицерский полк и корниловцы, преодолев бронированные поезда, ураганный огонь артиллерии и реку — по широкому броду, усеяв свой путь вражескими телами. По-видимому, взятие Офицерским полком моста решило дело.

Арьергард противника задержался несколько в роще южнее Кореновской, но, выбитый оттуда корниловцами, ушел к станице Платнировской.

В Кореновской армия пополнила свою хозяйственную часть и в особенности боевые припасы. Но, увы, слишком дорогой ценой: за последние бои наша маленькая армия потеряла до 400 человек убитыми и ранеными¹.

Здесь же ожидало нас окончательное подтверждение зловещих слухов: в ночь на 1 марта кубанские добровольцы полковника Покровского, атаман и рада оставили Екатеринодар и ушли за Кубань в горы. Екатеринодар в руках большевиков. Подобранная в окопах советская газета в патетических тонах описывала встречу делегатов Екатеринодарского совета с передовым отрядом красных войск, во время которой обе стороны «не могли говорить от волнения» и только «со слезами на глазах обнимали друг друга»...

Это был тяжелый удар для армии. Терялась идея всей операции, идея простая, понятная всякому рядовому добровольцу, накануне ее осуществления: до Екатеринодара оставалось всего два-три перехода. Гипноз «Екатеринодара» среди добровольцев был весьма велик, и разочарование, казалось, должно было отразиться на духе войск. Мне представлялось необходимым продолжать выполнение раз поставленной задачи во что бы то ни стало, тем более что армия давно уже находилась в положении стратегического окружения, и выход из него определялся не столько тем или иным направлением, сколько разгромом главных сил противника, который должен был повлечь за собою политическое его падение. А несравненные войска Добровольческой армии внушали неограниченное доверие и надежды...

В штабе узнал, что готовится приказ о повороте на юг, за Кубань. Поговорил с Иваном Павловичем, который разделял мое мнение, и вместе с ним пошли к командующему.

— Я с вами согласен, — ответил нам Корнилов, — но вы говорили с Марковым и Нежинцевым?

¹ Армия пополнилась тремя сотнями Брюховецкой станицы, которых обоз принял за большевистскую конницу.

— Нет.

— Вот, видите ли, они были сегодня у меня с докладом о состоянии полков...

Он передал нам вкратце сущность доклада: большая убыль и крайнее утомление — физическое и особенно моральное. Некоторые тревожные симптомы проявились уже во вчерашнем бою. Оба командира считали необходимым дать людям некоторый отдых от этого ежедневного крайнего нравственного напряжения, от боя и от кошмара походного лазарета: постоять на месте и не чувствовать себя вечно окруженными.

— Если бы Екатеринодар держался, — говорил Корнилов, — тогда не было бы двух решений. Но теперь рисковать нельзя. Мы пойдем за Кубань и там в спокойной обстановке, в горных станицах и черкесских аулах отдохнем, устроимся и выждем более благоприятных обстоятельств.

Спор наш не привел ни к чему. Вероятно, потому, что все трое мы руководствовались только теоретически-ми предположениями и интуитивным чувством. Ибо за пределами армейского района мы ничего не знали. Область была охвачена пожаром, все внутренние связи — моральные, административные, технические — были порваны, взаимоотношения перепутались, и на почве общего разлада росли и ширились только слухи, один другого нелепее, один другого обманивее. Ничтожный состав конницы не позволял производить серьезных дальних разведок. Посылаемые штабом тайные разведчики — люди верные и самоотверженные — обыкновенно пропадали, их ловили, мучили, убивали, в лучшем случае они томились в тюрьмах и подвалах чрезвычайек.

Мы не знали тогда, что за Кубанью армия попадет в сплошной большевистский район и долго еще будет вести непрерывные тяжелые бои изо дня в день; что и это новое огромное напряжение не сломит дух добровольцев; что, наконец, по иронии судьбы, в то самое утро, когда армия наша повернет с екатеринодарского направления на юг, кубанский добровольческий отряд, уверовавший наконец в приход Корнилова на Кубань, поведет наступление через аул Шенджий на Екатеринодар...

5 марта был отдан приказ армии с наступлением сумерек, соблюдая полнейшую тишину, двинуться на усть-лабинскую переправу.

ПОВОРОТ НА ЮГ

Двинулись холодной ночью. Предполагали остановиться на большой привал в станице Раздольной, но, лишь только рассвело, большевистские войска, занявшие тотчас же после ухода нашего арьергарда (Партизанский полк генерала Богаевского) Кореновскую, стали теснить Богаевского и обстреливать его артиллерийским огнем. Колонна двинулась дальше. Верстах в двух от Усть-Лабы авангард остановился: окраина станицы и железнодорожная насыпь были заняты большевиками.

Наш маневр отличался смелостью почти безрасудною.

Сзади напирал значительный отряд Сорокина, грозивший опрокинуть слабые силы Богаевского. Впереди — станица, занятая неизвестными силами, длинная, узкая дамба (2—3 версты), большой мост, который мог быть сожжен или взорван, и железный путь от Кавказской и Екатеринодара — двух большевистских военных центров, могущих перебросить в несколько часов в Усть-Лабинскую и подкрепления и бронепоезда.

Начался бой на север и на юг, все более сжимая в узкое кольцо наш громадный обоз, остановившийся среди поля и уже обстреливаемый перелетным огнем артиллерии Сорокина.

В обозе — наша жизнь, наши страдания и страшные пути, сковывающие каждую операцию, вызывающие много лишних потерь, которые, в свою очередь, увеличивают и отягчают его. В нем все материальное снабжение, в особенности драгоценные боевые припасы кочующей армии, не имеющей своей базы и складов. В нем тогда уже было до 500 раненых и больных, и число их к концу похода превышало полторы тысячи!.. Наконец много беженцев. Обоз живет одной жизнью с армией, целыми часами стоит на поле боя, не раз подвергаясь сильному обстрелу. В обозе знают, что неустойка боевой линии грозит им гибелью. Оттого в нем повышенная впечатлительность и склонность к распространению самых страшных слухов. Но паники почти не бывало. Спасаться некуда: впереди бой, сзади бой, справа и слева маячат неприятельские разъезды. И обоз тихо и терпеливо ждал развязки боя, с напряженным вниманием прислушиваясь к приближающимся и замирающим отзвукам артиллерийской и ружейной стрельбы.

Водил обоз всегда сам начальник снабжения генерал Эльснер. Не слишком энергично, но с невозмутимым спокойствием. Кроме переменных местных подводчиков, контингент возчиков крайне разнообразный: пленные австро-германцы, старые полковники, легкораненые офицеры, иногда просто уклоняющиеся от строя; много небоевого элемента, в том числе почти все общественные деятели, следовавшие при армии. Революция и поход перевернули социальные перегородки.

Если всем было тяжело, то положение раненых, в особенности тяжелых, стало катастрофическим. Почти каждый день длинный утомительный поход, в тряской телеге, по невылазной грязи, по кочкам и рытвинам, иногда рысью. Три четверти дня под открытым небом, в поле, под проливным дождем или в жестокую стужу, от которой не спасала подостланная солома и сброшенные жидкие шинели и одеяла. Ночлег — только что взятые станицы или аулы, которые не могли дать в краткий срок остановки ни достаточно крыш, ни достаточно продовольствия для набившегося сверх меры воинства. Иногда двое суток без ночлега и без разгрузки — с одной только перепряжкой лошадей. И на походе и не раз на стоянке — немолчный гул неприятельской артиллерии и сухой треск рвущихся возле снарядов...

Не было надлежащей санитарной организации, почти не было ни инструментов, ни медикаментов, ни перевязочного материала, ни антисептических средств. Раненые испытывали невероятные страдания, умирали от заражения крови и от невозможности производить операции — даже легкораненые. Нужно было обладать поистине огромным жизненным импульсом, чтобы вынести все эти муки и сохранить незатемненный разум и самую жизнь. Иногда даже жизнерадостность... накануне смерти.

В армии знали, что делается в лазарете и что ожидает каждого, кому придется лечь туда. Из лазарета шел стон и просьбы о помощи; там создавалась острая атмосфера враждебности раненых к лазаретному персоналу, вызывавшая иногда в ответ полную апатию даже со стороны людей, преданных своему делу, но положительно сбившихся с ног и растерявшихся в необычайной обстановке похода. Ибо, наряду с безразлично относившимися к страданиям добровольцев, среди врачей и сестер были люди, в полном смысле слова самоотвержен-

ные. О многих из них сохранили благодарную память добровольцы, уже обреченные и вырвавшиеся из холодных объятий смерти. Вспоминают, вероятно, добрым словом и одного из бывших начальников лазарета, доктора Сулковского — друга немощных, который умер потом через год, заразившись от больных сыпным тифом.

Не раз жалобы раненых доходили до генерала Корнилова, чутко относившегося к ним и болевшего за них душой; он обрушивался сурово на виновников неурядицы, облегчал, как мог, положение раненых и одним своим присутствием вносил успокоение в души страдальцев.

В свою очередь, кричал, ругался, просил и разводил беспомощно руками Эльснер. По существу, они могли только сменить людей и улучшить внутренние санитарные распорядки. Действительно, за время похода сменилось восемь начальников лазарета, среди которых был и персонаж комический, и самоотверженный врач, и душевно преданный своему делу, работавший без устали полковник, наконец, приобретший большой опыт в санитарном деле еще на юго-западном фронте землец. Дело шло то несколько лучше, то хуже. Никто не мог изменить общих условий жизни армян и ее зияющие раны, ибо для этого нужно было прежде всего вырваться из большевистского окружения.

Смерть витала над лазаретом, и молодые жизни боролись с ней не раз исключительно только силою своего духа.

Иногда обстановка слагалась особенно тяжело, и раненые, теряя самообладание, угрожали лазаретному персоналу револьверами. Начальство и армейский комендант принимали меры к успокоению. Одного только не решались сделать — отнять у раненых оружие; возможность распорядиться своей жизнью в последний роковой момент была неотъемлемым правом добровольцев...

* * *

Под Усть-Лабой надо было спешить, так как всегда спокойный, уравновешенный Богаевский доносил, что его сильно теснят, и просил подкреплений. Корнилов двинул вперед юнкерский батальон и Корниловский полк. Первый пошел правее на видневшуюся насыпь железной дороги из Екатеринодара, второй — прямо на станицу. Быстро, без выстрела двинулись юнкера

и встреченные перед самым полотиом огнем неприятельских цепей, с криком «ура!» ударили на них и скрылись за насыпью.

Мы идем с корниловцами, которые выслали колонну влево, в обход станции, и наступают тихо, выжидая результатов обхода. С цепями идет с винтовкой в руках генерал Казанович — корпусный командир.

— Совестно так, без дела, — отвечает он, улыбнувшись исподлобья на чей-то шутливый вопрос.

Несколько поодаль стоит генерал Алексеев со своим адъютантом ротмистром Шапроном и с сыном. Ему тяжело в его годы с его болезнью, но никогда еще никто не слышал из уст его малодушного вздоха. Тщательно избегая всего, что могло бы показаться Корнилову вмешательством в управление армии, он бывал, однако, всюду — и в лазарете, и в обозе, и в бою; всем интересовался, все принимал близко к сердцу и помогал добровольцам, чем мог, — советом, словом ободрения, тощею казной.

Со стороны станицы показался какой-то конный, неистово машущий руками. Делегат: «товарищи» форштадта¹ решили пропустить нас без боя. Цепи поднялись и пошли, с ними штаб и конвой. Но едва прошли полверсты — из окраины станицы затрещали ружья, пулеметы, а из появившегося бронированного поезда полетели шрапнели. Пришли, очевидно, чужие — подкрепления с Кавказской.

Опять Корнилов в жестоком огне, и Марков горячо нападает на штаб:

— Уведите вы его, ради бога. Я не в состоянии вести бой и чувствовать нравственную ответственность за его жизнь.

— А вы сами попробуйте, ваше превосходительство! — отвечает, улыбаясь, всегда веселый генерал Трухачев.

Но охват корниловцев уже обозначился. Двинулись в атаку и с фронта, и скоро весь полк ворвался на станцию и в станицу, сбил большевиков с отвесной береговой скалы, венчавшей вход на дамбу, овладел мостом и перешел реку Кубань.

Мы поехали следом через поле, на котором кое-где были разбросаны большевистские и добровольческие трупы, через вымерший вокзал, к станичной площади. Остановились на привал. Вдруг получается донесение,

¹ Иногородний поселок возле станицы.

что с востока от Кавказской подошел большевистский эшелон, разгрузился и идет к станице. Скоро по вокзалу и станице начали глухо взрываться шестидюймовые бомбы. Штаб и конвой — больше никого! Нежинцев в пылу боя увлекся преследованием и не оставил заслона против Кавказской. Корнилов сумрачен и озабочен; вместе с Романовским идут к окраине; скоро ординарцы развозят распоряжение: поставить на площади батарею, повернуть на восточную окраину часть Офицерского полка, который с Марковым подходил к вокзалу, вернуть батальон корниловцев... Проходит около $\frac{3}{4}$ часа, пока собираются части, и борьбу ведет одна лишь батарея Миончинского. Но скоро бегом мимо станции проходят марковские офицеры и вместе с корниловцами бьют и обращают в бегство подходящих уже к самой станице большевиков.

Путь свободен.

Как по внушению, в одно мгновение знает об этом все население трехверстного обоза — всеобщая радость; дошло известие и до арьергарда. Там устойчиво — Богаевский выполнил свою задачу, сдержал преследующих.

До Некрасовской, где назначен ночлег, еще 10 верст. Всю ночь идут нескончаемой вереницей обозы, колонны. Запрудили улицы Некрасовской. В сутки прошли 40 верст с двухсторонним боем и переправой!.. Измученные люди в ожидании квартирьеров валяются на порогах хат, просто на улицах. Спят и грезят: пришли в Закубанье на желанный отдых... И хотя завтра мы проснемся вновь от злорадно стучащей по крышам домов большевистской шрапнели, но это уже не так важно: благополучная переправа через Кубань поднимает настроение добровольцев, оживляет их надежды.

* * *

Повсюду в области, в каждом поселке, в каждой станице, собиралась красная гвардия из иногородних (к ним примыкала часть казаков, фронтовиков), еще плохо подчинявшаяся армавирскому центру¹, но следовавшая точно его политике. Объединяясь временами в волостные, районные, «армейские» организации, эта вооруженная сила, представлявшая недисциплинирован-

¹ До 1 марта Кубанский военно-революционный комитет находился в Армавире.

ные, хорошо вооруженные, буйные банды, будучи единственной в крае, приступила к выполнению своих местных задач: насаждению советской власти, земельному переделу, «изъятию хлебных излишков», «социализации», то есть попросту ограблению зажиточного казачества и обезглавливанию его — преследованием офицерства, небольшевистской интеллигенции, священников, крепких стариков. И прежде всего — к обезоружению. Достойно удивления, с каким полным непротивлением казачьи станицы, казачьи полки и батареи отдавали свои орудия, пулеметы, ружья, которые шли отчасти на вооружение местных красногвардейских отрядов, отчасти отвозились в ближайшие центры.

К началу апреля все селения иногородних, а из 87 кубанских станиц 85, уже числились большевистскими¹. По существу, большевизм станиц был чисто внешний. Во многих сменялись лишь названия: атаман стал комиссаром, станичный сбор — советом, станичное правление — исполнительным комитетом. Где комитеты захватывались иногородними — их саботировали, переизбирая чуть ли не каждую неделю. Шла упорная, но чисто пассивная борьба векового уклада жизни, цепко державшего в своих руках даже прозелитов новой веры — фронтовую молодежь. Борьба без воодушевления, без подъема, а главное, без всякого духовного руководства; от своего офицерства и рядовой интеллигенции казачество отвернулось без злобы, скорее с сожалением, полагая такой ценой купить покой и «нейтралитет»; а казачья революционная демократия сама оторвалась от массы, став на распутье между большевистским коммунизмом и казачьим консерватизмом.

Было желание, но не было дерзания. Вот и большая, богатая Некрасовская станица, с незначительным составом иногородних, покорно подчинялась какой-то «Еленовской роте», нас встретила с чувством радости и затаенной надежды, но, узнав, что завтра мы пойдем дальше, притихла и замкнулась в себя.

Большевистский отряд, стоявший в Некрасовской, долго бряцал оружием и митинговал, но в день нашего прихода с утра, потихоньку, стыдливо ушел из станицы за Лабу. В этом районе, густо усеянном иногородними поселениями, давно уже было введено советское управление и существовала военная организация, возглавляв-

¹ Это доказывает, как быстро шла изоляция белых. Последние могли держаться только при помощи военной силы.

шаяся «армейским военно-революционным советом», с центром в селе Филипповском. Несколько красноармейских шаек с батареей заняли вплотную левый берег Лабы, камыши и прилегающие хутора, и с утра 7-го по станице, расположенной на нагорном берегу, открыли оружейный и пулеметный огонь. Войска измучены, наведение моста и переправа через глубокую реку засветло, под огнем противника, вызовут тяжелые потери... Корнилов приказал начать переправу авангардных частей ночью.

Днем обсуждали план предстоящих действий. В Закубанье на отдых рассчитывать нельзя — район кишит большевиками; учитывая общее направление движения армии, большевики поджидали нас в Майкопе, где «Кубанский Областной Комитет» сосредоточил войска, оружие и боевые запасы. Решено было поддержать большевиков в этом убеждении, двигаясь на юг, затем, перейдя реку Белую, круто повернуть на запад. Это движение выводило нас в район черкесских аулов, дружественных армии, давало возможность соединения с кубанским добровольческим отрядом, отошедшим, по слухам, в направлении Горячего ключа, и не отвлекало от главной цели — Екатеринодара.

Большевистское официальное сообщение, напечатанное в «Известиях», найденных позже, и относящееся к этому дню — 7 марта, так определяло общее положение «белогвардейских банд»:

«После обхода станции Тихорецкая Корнилов продвинулся к Выселкам. Советские войска умелым маневром окружили здесь корниловцев. К сожалению, по топографическим условиям местности не удалось создать тесного кольца... и Корнилов вынужден был [пойти] через имевшуюся отдушину к востоку по дороге со станции Кореновской на станицу Усть-Лабинскую, имея своей задачей пробиться к Майкопу... Белогвардейцы снова заперты в кольце войск, еще более тесном... Они мечутся, стараясь нащупать наиболее слабое место среди кольца революционных войск, чтобы, найдя его, пробиться к какому-нибудь мало-мальски крупному городскому центру, где можно было бы хоть временно опереться... Час расплаты Корнилова, Алексева и всех главарей, находящихся в его отряде, стал ближе.

Что касается «отрядов Филимонова и Покровского», то, «разбитые под Екатеринодаром, они рассеялись по

направлению от Эйнама и Георгиеафипской к востоку... и никакой угрозы собой представлять не могут».

Оптимизм Екатеринодарского Совета не оправдался...

* * *

После совещания беседовал с Иваном Павловичем.

— Вы обратили внимание, как сегодня Корнилов резко отозвался о штабе при строевых начальниках? Ведь они, несомненно, расскажут в частях. И притом совершенно несправедливо.

— Да. Но он ведь потом признал свою ошибку и извинился.

— От этого не легче. Он — просто по горячности — вспылит и сейчас же отойдет, а полки и без того нас недолюбливают. Скажите, чем это объяснить?

— Иван Павлович, да когда же вы видели, чтобы строй любил штаб? Это известная и ничем не устранимая психологическая антитеза. Вспомните Маркова в Ростове...

Марков — «начальник штаба Добровольческой дивизии» в Ростове — с его живым, горячим характером, резкими жестами и не всегда сдержанной речью — производил ошеломляющее впечатление на всех добровольцев, по делу или без дела являвшихся в штаб дивизии и не знавших его. Добрый по натуре, он казался им бессердечным; человек простой и доступный — заносчивым и надменным. Неудовольствие против Маркова в конце января приняло такие формы, что Корнилов дважды беседовал со мной о необходимости освобождения Маркова от должности начальника штаба. Я категорически протестовал, и только расформирование перед выходом из Ростова «дивизии» разрешило безболезненно этот вопрос. Теперь тот же Марков с той же горячностью и прямоотой — кумир своего полка и любимец армии.

Кроме чисто инстинктивного предубеждения, войска не имели поводов относиться отрицательно к штабу армии. Корниловский штаб, начиная с его начальника, состоял из людей храбрых и хороших работников. Кто был знаком с их жизнью, тот чувствовал это. В отвратительных условиях, набитые не раз в тесной и грязной избе так, что пройти трудно было, они в ней работали днем и ночью, ели и спали вповалку на полу, с тем, чтобы наутро пойти в поиски, на разведку, установить

связь или по многу часов разъезжать с Кориловым на поле боя под жестоким огнем. А с приходом на новый ночлег колесо заводилось сначала. Они яснее понимали, чем в строю, всю серьезность положения, и тем не менее в штабе обыкновенно царило бодрое настроение и здоровый оптимизм. Два-три офицера не подходили под общий уровень, но они не могли испортить общего впечатления. Корилов обычно относился хорошо к своему штабу, невзирая на несколько грубоватые иногда внешние формы отношений. Он любил и ценил своего начальника штаба Романовского, счастливо дополнившего своей уравновешенной натурой его пылкий и впечатлительный темперамент, скрывавшийся под суровой и сухой внешностью. Начальник штаба мирился с нелегким характером командующего, был предан ему, и не раз только он один мог, глядя на Корилова своими добрыми глазами, остановить шаги, диктованные минутой вспышкой. Никогда не подчеркивал своей большой работы и не переносил на других ошибки, не им сделанные.

— Прошлый раз, когда вышла такая же история при Маркове и Нежинцеве, я попросил его освободить меня от должности. Он ответил: «Никуда я вас, Иван Павлович, не отпущу». Тем и кончилось. Теперь слишком тяжелое время — такие вопросы подымать неуместно. Но как только придем в тихую пристань, уйду в строй.

ПОХОД В ЗАКУБАНЬЕ

В ночь на 8 марта наши передовые части перешли с боем на левый берег Лабы и, отбросив большевиков, обеспечили переправу армии. Первым перешел юнкерский батальон. Боровский доносил, что юнкера смело бросились в холодную воду, «хотя малыши пускали пузыри», так как местами глубина реки превышала их рост. Перешедши, войска сразу же попали в сплошное большевистское окружение. Каждый хутор, каждая роща, отдельные строения ошетинились сотнями ружей и встречали наступающие части огнем. Марковцы, партизаны, юнкера шли по расходящимся направлениям, выбивая противника, появлявшегося неожиданно, быстро ускользавшего, неуловимого. Каждая уклонявшаяся

ся в сторону команда или отходившая повозка встречала засаду и... пропадала. Занятые с бою хутора оказывались пустынными; все живое население их куда-то исчезло, уводя скот, унося более ценный скарб и оставляя на произвол судьбы свои дома и пожитки. Скоро широкая долина реки, насколько видно было глазом, озарилась огнем пожаров: палили рвавшиеся гранаты, мстительная рука казака и добровольца или просто попавшая случайно среди брошенных хат непотушенная головня.

Нежинцев занимал еще северную окраину станицы, прикрывая ее со стороны войск, наступавших от Усть-Лабы. А внизу, под крутым скатом берега, шла лихорадочная переправа обоза; жиденький мост был сильно перегружен; часть повозок с беженцами и ранеными спустилась глубоким бродом; лошади шли неохотно в студеную воду, иногда повозка опрокидывалась или, отнесенная течением в глубокое место, погружалась чуть не доверху вместе с походным скарбом или беспомощно бьющимся человеческим телом. На том берегу обоз раскинулся широким табором в ожидании «открытия пути».

Лишь к закату армия раздвинула несколько сжимавшее ее огненное кольцо и заночевала в двух хуторских поселках. Штаб — в Киселевских хуторах. Собственно, только эти два пункта находились в нашем фактическом обладании, охраняемые на небольшом расстоянии аванпостами. А дальше — раздвинутое кольцо сжалось вновь.

Шел дождь, была стужа. На улицах тесного поселка сбились в кучу повозки, толпились люди, и половине не хватило крыш. Я пошел ночевать к Алексееву. Он был нездоров и, видимо, несколько расстроен: вчера опять вышло недоразумение между ним и Корниловым по поводу неправильно отведенной квартиры. Эти два человека органически неприязненны друг к другу, но сознание долга и огромной нравственной ответственности заслоняет личные чувства и заставляет их идти вместе, одной дорогой, к одинаково понимаемой цели. С большим трудом удалось Романовскому успокоить Корнилова. О своих взаимоотношениях с Корниловым Алексеев избегает говорить. Мы делимся впечатлениями минувшего боя и прогнозом будущего. Последний неизменен:

— Пробуждение казачества и создание обеспеченной базы.

Иначе **конец** организации и весьма болезненный про-

цесс переноса живой силы ее на другую почву — более плодотворную: Волга, Сибирь. При отсутствии иного выхода — даже, быть может, Закавказье. Мы не углубляем еще этой темы — надежда не потеряна, но одно было ясно, что добровольческое движение только еще начинается. Вспомнилась фраза, сказанная как-то Иваном Павловичем:

— Умом не постигаю, но сердцем верую, что не погибнет ни идея, ни армия.

Штаб Алексеева со всем конвоем расположился в одном дворе. Его и меня поместили в маленькой каморке с полатами; на них чья-то добрая рука густо положила соломы и покрыла рядом. Тепло, благодать! Ночью просыпаюсь от страшного удушья. Припадок бронхита? Нет... Вся комната полна дымом, огненные языки лижут полати. Вскочил. Подо мной сейчас же вспыхнула солома. С большим трудом разбудил Алексеева. Выбита рама, полетел в окно в грязь мой обгоревший вещевой мешок с последними пожитками...

— Чемодан забыли!

В комнату вскочил сын Алексеева, еще кто-то и с большим трудом вытащили оттуда знаменитый «алексеевский чемодан» — в нем вся добровольческая казна.

Пожар потушили. Кто-то уже острит:

— Казенное добро в воде не тонет, в огне не горит.

* * *

Выступление назначено рано, но до полудня передвинулись мало, так как шедшие впереди Офицерский полк и в особенности Партизанский пробивались с трудом, отвоевывая каждую версту пути упорным боем. Задерживаться в хуторах также было небезопасно, так как вскоре у самой окраины их послышался сильный треск пулеметов... Пули жужжали между избами... Все войска втянулись в бой, и потому для прикрытия колонны с тыла в распоряжение коменданта штаба, полковника Корвин-Круковского, оставлена в хуторах «охранная» рота из офицеров-инвалидов и конвой Корнилова. С трудом протискиваясь по запруженной улице, эти части выходят на окраину. Двинулся обоз и остановился в версте. Опять по нем бьет неприятельская артиллерия — очевидно, перелеты по боевым линиям — и с фронта, и с тыла, и еще откуда-то, видимо, со стороны Некрасовской.

Офицерский полк рассыпан редкими цепями, затерявшимися среди беспредельного поля и такими, казалось, слабыми в сравнении с массой большевиков. Цепи подвигаются вперед медленно: мы едем вперед рысью к маленькому хуторку. Корнилов с Романовским уже на стогу. Треск пулеметов. Раиен тяжело в голову полковник генерального штаба Патронов. Текницы суетливо прячут за стог и за хату лошадей...

Отчетливо видны отдельные фигуры в цепях. Похаживает вдоль них небольшого роста коренастый человек. Шапка на затылке, руки в карманах: Кутепов — командир 3-й роты. В этот день три пули пробили его плащ, но, по счастью, не раиили. Подымаются отдельные группы прямо в рост, перетаскивают куда-то пулемет. Тихо бредут и ползут назад раненые. И не один из них вдруг валится на пашню, как срезанный, — догнала новая пуля... Офицеры поднялись, снова пошли в атаку. Темная масса впереди сначала зашевелилась на местах, потом хлынула назад.

Немедленно под прикрытием Офицерского полка главные силы и обоз двинулись влево, в направлении Филипповского. Прошли версты три, опять остановились: справа у Богаевского еще идет бой, а впереди слышна дальняя резкая перестрелка, и от Нежинцева, направленного с утра на Филипповское, нет сведений, занято ли уже это село — центр большевизма и военной организации всего района... Стоим в поле долго. Уже наступают ночь — тихая, беззвездная. Коня давно не кормлены, повесили понуро головы.

Темное небо прямо на запад в направлении Екатеринодара прорезали бледные зарницы, и — почудилось только или было на самом деле — издалека донеслись совсем тихие, еле слышные звуки, словно рокот отдаленного грома...

— Смотрите, смотрите, это у Покровского!

Он или не он, быть может, местное восстание казаков или горцев, но одно несомненно: где-то, за несколько десятков верст, идет артиллерийский бой. Там столкнулись две силы, два начала, одно из которых, очевидно, родственно армии. И по всей колонне, по всему обозному табору люди напрягают зрение, чтобы отгадать таинственный смысл далеких зарниц, видят незримое и слышат незвучное...

Скоро и другая приятная новость: Корниловский

полк после небольшой стычки овладел Филипповским, которое оставили большевики и покинули все жители.

* * *

В волостном правлении толчея. Собрались начальники в ожидании отвода квартирных районов. Толпятся квартирьеры, снуют ординарцы с донесениями и за указаниями. За стеной слышен громкий спор.

— Вы почему заняли кварталы правее площади?

— Да потому, что ваши роты явились с вечера и дочиста обобрали наш район.

— Ну, знаете... Кто бы говорил. Я вот сейчас заходил в лавку за церковью, видел, как ваши офицеры ящики разбивают...

Вот обратная сторона медали. Подвиг и грязь. Нервно подергивается Кутепов и куда-то уходит. Через четверть часа возвращается.

— Нашли сухари и рис. Что же, прикажете бросить и не варить каши?

Никто не возразил. Тяжелая обстановка гражданской войны вступала в непримиримые противоречия с общественной моралью. Интендантство не умело и не могло организовать правильной эксплуатации местных средств в селениях, которые брались вечером с бою и оставались утром с боем. Походных кухонь и котлов было ничтожное количество. Части довольствовались своим попечением, преимущественно от жителей подворно. К середине похода не было почти вовсе мелких денег, и не только приварочные оклады, но и жалованье выдавалось зачастую коллективно 5—8 добровольцам тысячерублевыми билетами, впоследствии и пятитысячными, а организованный размен наталкивался всегда на непреодолимое недоверие населения. Да и за деньги нельзя было достать одежды, даже у казаков; иногородние не раз скрывали и запасы, угоняли скот в дальнее поле. Голод, холод и рваные отрепья — плохие советчики, особенно если село брошено жителями на произвол судьбы. Нужда была поистине велика, если даже офицеры, изранив в конец свои полубосые ноги, не брезгали снимать сапоги с убитых большевиков.

Жизнь вызвала известный сдвиг во взгляде на правовое положение населения не только в военной среде, но и у почтенных общественных и политических деяте-

лей, следовавших при армии. Я помню, как одни из них в брошенном Филипповском с большим усердием таскали подушки и одеяла для лазарета... Как другие при переходе по убийственной дороге из Георгиевской в аул Панахес силой отнимали лошадей у крестьян, чтобы впрячь их в ставшую и брошенную на дороге повозку с ранеными. Как расценивали жители эти факты, этот вопрос не вызывает сомнений. Что же касается общественных деятелей, то я думаю, что ни тогда, ни теперь они не определяли этих своих поступков иначе как проявление милосердия.

В этот сложный и больной вопрос примешивались еще обстоятельства чисто психологического характера. Чрезвычайно трудно было кубанскому казаку или черкесу, которых большевики обобрали до нитки, у которых спалили дом или разорили дотла хозяйство, внушить уважение к «частной собственности» большевиков, которыми они чистосердечно считали всех иногородних. Мой вестовой — текинец — был до крайности изумлен, когда я в том же Филипповском, в брошенном доме, выгнал его из кладовки, где он перебирал в сундуке хозяйское добро — добро того большевика, который встретил нас огнем, потом бежал, оставив «добычу». Оттого отношение к станице и аулу было иное, чем к селу, к казачьему двору иное, чем к хутору иногороднего. В одном только отношении не было разницы между «эллином и иудеем» — в отношении лошадей. Совершенно одинаково кавалеристы — добровольцы, казаки, черкесы, по прочно внедрившимся навыкам еще европейской войны, «промышляли» лошадей для посадки спешенных — у всех и всеми способами, считая это не грехом, а лихостью. Так, впоследствии, в марте 1919 года, когда временно развалился донской фронт, а два кубанских корпуса были брошены в Задонье, чтобы остановить вторгнувшиеся туда большевистские силы, «младший брат» у «старшего» увел много табуинов — тысячи голов добрых донских коней.

Наконец, армия состояла не из одних пуритан и праведников. Та исключительная обстановка, в которой приходилось жить и бороться армии, неуловимость и потому возможная безнаказанность многих преступлений давали широкий простор порочным, смущали морально неуравновешенных и доставляли нравственные мучения чистым.

С явлениями этими боролись и Корнилов, и весьма

энергичный комендант штаба полковник Корвин-Круковский, и большинство командиров — иногда мерами весьма суровыми. Искоренить своеволие они не могли, но сдерживали его все же в известных рамках. До некоторой степени облегчало борьбу то обстоятельство, что части шли компактно и останавливались на ночлег в большинстве случаев в одном пункте.

* * *

10 марта нам пришлось вести бой — наиболее серьезный и кровопролитный. Еще с рассвета головной батальон Корниловского полка, шедшего в авангарде, перешел через реку Белую у окраины села и, повернув круто на запад, двинулся по дороге на станицу Рязанскую. Дорога здесь шла низкой долиной, постепенно удаляясь от берега, подходя к гребню высот, тянувшихся параллельно реке.

Едва только начали переправу главные силы полка, как на гребень, оставленный без наблюдения, высыпали густые цепи большевиков и открыли жестокий огонь по мостам. Произошло замешательство. Люди шарахнулись с моста, многие попадали в воду, полк понес потери, но скоро оправился от неожиданности, при содействии артиллерийского огня переправился и, поднявшись на гребень, оттеснил несколько большевистский фронт. Только оттеснил: перед нами развернулись крупные силы, значительно превосходившие численно Добровольческую армию, собранные со всех сторон для прикрытия майкопского направления. Их развертывание вдоль параллельных берегу высот в случае успеха ставило армию в критическое положение, запирая ее в узкой ($1\frac{1}{2}$ —1 верста) долине не проходимой вброд болотистой реки. Едва только за Корниловским полком успели пройти партизаны и чехословаки, развернувшись вправо и влево от корниловцев, как большевики вновь широким фронтом перешли в решительное наступление на наши линии... И тем не менее наш несчастный обоз вынужден был переходить реку и идти именно туда, навстречу, под склон высот, на гребне которых вот-вот мог появиться вновь прорывающийся противник. Ибо с севера на Филипповское давили уже наши вчерашние враги. Их батарея обстреливала село и переправу, и Боровский с юнкерами, оставленный в арьергарде, с трудом сдерживал их напор.

А переправа по одному мосту протекает убийственно долго...

Удержат ли гребень?

Уже начинают отходить чехословаки, расстреляв все свои патроны; отдельные фигуры их стали спускаться с высот. К ним поскакал конвой Корнилова. Там — замешательство. Командир батальона капитан Неметчик лег на землю, машет неистово руками и прерывающимся голосом кричит:

— Дале изем немохль уступоват. Я зустану зде до цяля сам...¹

Возле него в нерешительности мнутя чехословаки, некоторые остановились и залегли. Текинцы снабдили их патронами и легли рядом. Открыли вновь огонь. Наступление врага приостановлено. Надолго ли?

Уже начинает изнывать Корниловский полк; заколебался один батальон, в котором убит командир. Густые цепи большевиков идут безостановочно, сплошной стеной, явственно слышатся их крики и ругательства. Потери растут. Мечется нервный, горячий Нежинцев — из части в часть, из боя в бой, видит, что трудно устоять против подавляющей силы, и шлет Корнилову просьбы о подкреплении.

Корнилов со штабом стоял у моста, пропуская колонны, сумрачен и спокоен. По его приказанию офицеров и солдат, шедших с обозом и по наружному виду способных драться, отводят в сторону. Роздали ружья и патроны, и две команды человек в 50—60 каждая, с каким-то полковником во главе, идут к высотам.

«Психологическое» подкрепление.

Действительно, боевая ценность его невелика, но появление на поле боя всякой новой «силы» одним своим видом производит впечатление всегда на своих и на чужих.

Весь день идет бой с таким неопределенным перемежающимся успехом — слишком неравные силы. Весь день неприятельские снаряды кроют гребень, село, район переправы и лошину, где словно врос в землю и замер обоз. Наши орудия отвечают редко, одиночными выстрелами. Несут много раненых. В обозе несколько повозок разбито гранатами; опрокинуло повозку Алексеева и смертельно ранило его кучера; сам генерал был где-то на бугре. Люди здесь жмутся кучкой и как-то странно передвигаются с места на место, очевидно ста-

¹ Дальше я не могу отступать: останусь здесь хотя бы один.

раясь предугадать новое направление шрапнельной очереди. Из артиллерийского отдела то и дело высылают войскам снаряды и патроны — остается их угрожающе малое количество. Роздали уже ружья легкораненым. И когда сухой треск пулеметной стрельбы становится таким болезненно отчетливым и близким, на подводах с лежащими под жидкими одеялами беспомощными телами страдальцев заметно волнение. Слышится чей-то придавленный голос:

— Сестрица, не пора ли стреляться?

В горячем сражении бывают минуты, иногда долгие часы, когда между двумя враждебными линиями наступает какое-то странное неустойчивое равновесие. И достаточно какого-либо ничтожного толчка, чтобы нарушить его и сломить волю одной из сторон, психологически признавшей себя побежденной. Так и в этот день: по приказу и без приказа перед вечером наши войска на всем левобережном фронте перешли в контрнаступление — и противник был отброшен. В западном направлении расчищена широкая «отдушина», и колонна, извиваясь среди холмистого поля кавказских предгорий, быстро уходила на запад, провожаемая справа и слева беспорядочным и безвредным огнем большевистской артиллерии.

Вскоре огонь смолк. Мы шли то степью, то жидкими перелесками среди беззвучной тишины умиравшего дня.

Прозвучала, покатилась по полю, отозвалась за холмом и так же неожиданно оборвалась: командир напомнил о близости противника...

* * *

Станица Рязанская «выразила покорность». Главные силы с обозом перешли речку Пшиш и остановились на большом привале в черкесском ауле Несшукай — ранним утром предстояло дальнейшее движение. Штаб с арьергардом остался в Рязанской. В первый раз в казачьей станице так неуютно, прямо тягостно. Начиная со встретившей Корнилова с белым флагом «депутации», участники которой все порывались встать на колени, во всей станице в отношении к нам чувствуется страх и раболепство. Многие дома были брошены жителями перед нашим приходом. Только на другой день, в черкесском ауле, выяснилась причина: рязанские имели основание

опасаться суровой кары. Станица одна из первых приняла большевизм, причем в практическом его применении трогательно объединились и казаки, и иногородние. Они разгромили совместно соседний мирный аул, а в одном — Габукае — перебили почти всех мужчин-черкесов.

Несколько дней приезжали из Рязанской в аул с подводами казаки, крестьяне, женщины и дети, забирали черкесское добро... Аул словно кладбище...

Среди добровольцев разговоры:

— Если бы знали раньше, спалили бы Рязанскую.

Бедные черкесские аулы встречали нас как избавителей, окружали вниманием, провожали с тревогой. Их элементарный разум воспринимал все внешние события просто: не стало начальства — пришли разбойники (большевики) и грабят аулы, убивают людей. В их настроениях нельзя было уловить никаких отзвуков революционной бури: ни социального сдвига, ни разрыва со старой государственной, ни черкесской самостийностью.

Был страх, и было желание вернуться к спокойным мирным условиям жизни. Только.

Штаб получил наконец подтверждение слухов об отряде Покровского: в последние дни он вел бои где-то в районе аула Шенджий — Гатлукая, верстах в 40—60 от нас. Теперь уже представлялась реальная возможность соединения. Необходимо было спешить, чтобы большевики не успели разбить кубанских добровольцев до соединения с нами. И Корнилов ведет армию по тяжелым дорогам так быстро, как только позволяют наши пути — обоз, с каждым боем непомерно растущий. От Филипповского прошли, не разгружая лазарет, в два дня 40 верст — до Панажукая. Оттуда после дневки, опять таким же порядком, — 40 верст до аула Шенджий. Армия понимала хорошо значение этих маршей. Понимали и те, кто днями и ночами тряслись на подводах по весенним ухабам с гноящимися ранами и переломанными костями, терпели и видели, как одного за другим уносит смерть.

13 марта мы стали на ночлег в ауле Шенджий, а на другой день в аул въезжал, в сопровождении нарядного, пестрого конвоя кавказских всадников, произведенный в этот день Кубанской радой в генералы «командующий войсками Кубанского края» Покровский.

СУДЬБА ЕКАТЕРИНОДАРА

Оставление Екатеринодара «кубаискими правительственными войсками» являлось вопросом не столько военной необходимости, сколько психологии. Еще во второй половине января после неудачного боя под Выселками кубаиский добровольческий отряд, прикрывавший тихорецкое направление, спешно отступил к Екатеринодару; в связи с этим были отведены и другие отряды, и в двадцатых числах все вооруженные силы «Кубаиской республики» в составе преимущественно добровольцев-офицеров и юнкеров Черкесского полка и незначительного числа кубаиских казаков стояли уже на ближайших подступах к Екатеринодару.

Во всей области, охваченной большевистским угаром, оставалась только одна точка — Екатеринодар.

Довольно нетерпимое в своих отношениях к не-казацкому и не-кубаискому элементу кубаиское правительство принуждено было, минуя своих генералов, вручить командование войсками капитану Покровскому, произведенному правительством за бой под Эйнемом в полковники. Покровский был молод, малого чина и военного стажа и никому не известен. Но проявлял кипучую энергию, был смел, жесток, властолюбив и не очень считался с «моральными предрассудками». Одна из тех характерных фигур, которые в мирное время засасываются тинной уездного захолустья и армейского быта, а в смутные дни вырываются кратковременно, но бурно на поверхность жизни. Как бы то ни было, он сделал то, чего не сумели сделать более солидные и чинные люди: собрал отряд, который одни только представлял собой фактическую силу, способную бороться и бить большевиков. Успех под Эйнемом окончательно укрепил его авторитет в глазах правительства. Но для преобладающей массы добровольцев имя его не говорило ничего. Еще меньше внутренней связи было между добровольцами и кубаиской властью. Хотя в официальных актах и упоминался часто термин «верные правительству войска», но эта была лишь фраза без содержания, ибо в войсках создалось если не враждебное, то, во всяком случае, недоброжелательное отношение к многостепенной кубаиской власти, слишком напоминавшей ненавистный офицерству «совдеп» и слишком резко отмежеввавшейся от общерусской идеи. Еще с января в Екатеринодаре жил

генерал Эрдели в качестве представителя Добровольческой армии. В числе поручений, данных ему, было подготовить почву включения кубанского отряда в состав Добровольческой армии. При той оторванности, которая существовала тогда между Ростовом и Екатеринодаром, такое подчинение должно было иметь главным образом моральное значение, расширяя военно-политическую базу армий и давая идейное обоснование борьбе кубанских добровольцев. В то же время М. Федоров добивался от Кубани материальной помощи для Добровольческой армии.

Эти предположения встретили резко отрицательное отношение к себе среди всех кубанских правителей. Стоявший тогда во главе правительства Лука Быч заявил решительно:

— Помогать Добровольческой армии, — значит готовить вновь поглощение Кубани Россией.

О внутренних противоречиях кубанской политической жизни я уже говорил. Внешне же в феврале противобольшевистский стан в Екатеринодаре представлял следующую картину.

Законодательная рада, оторванная от казачества, продолжала творить «самую демократическую в мире конституцию самостоятельного государственного организма — Кубани» и одновременно в тайне от своей иногородней, явно большевистской фракции собиралась на закрытые совещания о порядке исхода...

Кубанское правительство ревниво оберегало свою власть от вторжения атамана, косилось на Эрдели, по царски награждало Покровского, но начинало уже не на шутку побаиваться все яснее обнаруживавшихся его диктаторских замашек.

Атаман Филимонов то клялся в конституционной верности, то поносил раду и правительство в дружеских беседах с Эрдели и Покровским.

Командующий войсками Покровский требовал оглушительных кредитов от атамана и от правительства и сам мечтал об атаманской булаве и о разгоне «совдепа» (правительства).

Добровольцы-казаки то поступали в отряд, то бросали фронт в самые критические минуты. А добровольцы-офицеры просто заблудились; без ясно поставленных и понятных целей борьбы, без признанных вождей они собирались, расходились, боролись — впотьмах, считая свое положение временным и нервно ловя слухи о Кор-

нилове, чехословаках, союзной эскадре — о всем том действительном и несбыточном, что должно было, по их убеждению, появиться, смести большевников, спасти страну и их.

Несомненно, в этом пестром сочетании разнородных элементов были и люди стойкие, убежденные, но общей идеей, связующей их, не было вовсе, если не считать всем одинаково понятного сознания опасности и необходимости самообороны.

В феврале пал Дон. Большевистские силы приближались к Екатеринодару. Настроение в нем упало окончательно, «работа правительства и рады, — говорит официальный повествователь, — с открытием военных действий, конечно, не могла уже носить спокойного и плодотворного характера... Грохот снарядов заглушал и покрывал собою все». Правительство решило «сохранить себя как идейно-политический центр, как ядро будущего оздоровления края» и совместно с казачье-горской фракцией рады постановило покинуть Екатеринодар и уйти в горы, выведя и «верные правительству» войска. День выступления предоставлено было назначить полковнику Покровскому.

При создавшихся военно-политических условиях длительная оборона Екатеринодара не имела бы действительно никакого смысла. Но 25 февраля обстановка в корне изменилась. В этот день прибыл в Екатеринодар посланный штабом Добровольческой армии и пробравшийся чудом сквозь большевистский район офицер. Он настойчиво и тщетно убеждал кубанские власти повременить с уходом ввиду того, что корниловская армия идет к Екатеринодару и теперь уже должна быть недалеко.

Ему не поверили или не хотели поверить: держали его под негласным надзором.

Вечером 28 февраля из Екатеринодара через реку Кубань на юг выступили добровольческие отряды, атаман, правительство, казачье-горская фракция законодательной рады, городские нотабли и много беженцев. В их числе и председатель Государственной думы М. В. Родзянко. В обращении к населению бывшая кубанская власть объясняла свой уход тактической трудностью обороны города, нежеланием «подвергать опасности борьбы городское население», на которое может обрушиться «ярость большевистских банд», и, наконец, тем

обстоятельством, что население края «не смогло защитить своих избранников».

В этом послесловии сепаратной деятельности кубанской революционной демократии в первый период смуты прозвучал и новый, как будто примиряющий мотив: «Мы одухотворены идеей защиты республики Российской и нашего края от гибели, которую несут с собой захватчики власти, именующиеся большевиками».

* * *

Сосредоточившиеся на другой день в ауле Шенджий кубанские войска были сведены в более крупные части, составив в общей сложности отряд до 2½—3 тысяч штыков и сабель с артиллерией.

Отряд дошел до станицы Пензенской. Но в эти несколько дней похода отсутствие объединяющей политической и стратегической цели стало перед всеми настолько ясно, что не только под давлением резко обозначившегося настроения войск, но и по собственному побуждению кубанские власти сочли необходимым поставить себе ближайшей задачей соединение с Корниловым. Тем более что к этому времени вновь были получены сведения о движении Добровольческой армии к Екатеринодару и о происходивших к востоку от него 2—4 марта боях.

Покровский двинул отряд обратно в Шенджий и 7 марта, выслав заслоны против станции Эйнема и екатеринодарского железнодорожного моста, неожиданно с главными силами захватил Пашковскую переправу. В течение двух дней Покровский вел артиллерийскую перестрелку, не вступая в серьезный бой, и в ночь на 10-е, отчаявшись в походе Корнилова, ушел на восток. 10-го встретил сопротивление большевиков у аула Вочепший, где бой затянулся до ночи.

Неудача в поисках Добровольческой армии, непонятное метание отряда и недоверие к командованию вызвали в войсках сильный упадок духа. Аула не взяли (мы были в этот вечер всего верстах в 30 от Вочепшия), и расстроенный отряд ночью, бросая обоз, без дорог, устремился по направлению к горам на станицу Калужскую. Но со стороны Калужской шло уже наступление значительных сил большевиков, поставившее кубанский отряд в критическое положение. 11-го произошел бой, в котором утомленные несколькими днями маршей и бес-

сонными ночами войска Покровского напрягали последние силы, чтобы сломить упорство врага. Участь боя, которым руководил командир Кубанского стрелкового полка подполковник Туненберг, не раз висела на волоске. Уже в душу многих участников закрадывалось отчаяние, и гибель казалась неизбежной. Уже введены были в дело все силы, пошли впередвооруженные наспех обозы, старики, «радяне»¹ — подобие нашего «психологического подкрепления»... Артиллерия противника гремела не смолкая, цепи его пододвинулись совсем близко... Но вот Кубанский полк собрался с духом, поднялся и бросился в атаку. Большевики дрогнули, повернули назад и, преследуемые черкесской конницей, понеся большие потери, отхлынули к Калужской.

Победа. Но в стане победителей настроение далеко не ликующее. Отряд, иззябший и замученный, заночевал в чистом поле под проливным дождем. Сзади — занятый большевиками Вочепший, впереди — Калужская, вокруг которой идет еще бой передовых частей.

В эту тяжелую минуту по всему полю — по обозному биваку, по рядам войск разнеслась весть:

— Приехал разъезд от Корнилова. Корниловская армия недалеко от нас.

Участники похода передавали мне то неизгладимое впечатление, которое произвело на всех появление корниловцев.

— И верилось, и немножко мучило сомнение — ведь столько раз обманывали, но безумная радость охватила нас, словно открылась крышка, уже захлопнувшаяся было над нашей головой, и мы увидели опять свет божий.

На другой день была взята Калужская, и кубанский отряд расположился наконец со спокойным сердцем на отдых.

14-го состоялось в ауле Шенджий свидание с Покровским. В комнату Корнилова, где, кроме хозяина, собрались генералы Алексеев, Эрдели, Романовский и я, вошел молодой человек в черкеске с генеральскими погонами — стройный, подтянутый, с каким-то холодным металлическим выражением глаз, по-видимому несколько смущенный своим новым чином, аудиторней и предстоящим разговором. Он произнес краткое приветствие от имени кубанской власти и отряда. Корнилов ответил просто и сдержанно. Познакомились с состоянием отря-

¹ Члены рады.

да, его деятельностью и перешли к самому важному вопросу: о соединении.

Корнилов поставил его с исчерпывающей ясностью: полное подчинение командующему и влитие кубанских войск в состав Добровольческой армии.

Покровский скромно, но настойчиво оппонировал: кубанские власти желают иметь свою собственную армию, что соответствует «конституции края»; кубанские добровольцы сроднились со своими частями, привыкли к своим начальникам, и всякие перемены помогут вызвать брожение в войсках. Он предлагал сохранение самостоятельного «Кубанского отряда» и оперативное подчинение его генералу Корнилову.

Алексеев вспылл.

— Полноте, полковник, — извините, не знаю, как вас величать. Войска тут ни при чем — мы знаем хорошо, как относятся они к этому вопросу. Просто вам не хочется поступиться своим самолюбием.

Корнилов сказал внушительно и резко:

— Одна армия — один командующий. Иного положения я не допускаю. Так и передайте своему правительству.

Хотя вопрос и остался открытым, но стратегическая обстановка не допускала промедления. И потому условились, что на другой день, 15-го, наш обоз перейдет в Калужскую, где и останется временно вместе с кубанским, под небольшим прикрытием; войска же Добровольческой армии и кубанского отряда в тот же день одновременным ударом захватят станицу Новодмитриевскую, занятую крупными силами большевиков, и там фактически соединятся. Небольшой конный отряд должен был произвести демонстрацию на Эйнем.

Это движение к Новодмитриевской — на юго-запад, а не на Калужскую — в горы, где нас ждали бы голод, смерть, распыление, — носило в себе идею активной борьбы, свидетельствовало об уверенности в своих силах и предрешало ход дальнейших событий.

* * *

Екатеринодар между тем после ухода добровольцев переживал тяжело перемену власти: 1 марта в город вошли войска Сорокина.

Военные начальники красной гвардии не могли или не хотели остановить бесчинства, а гражданская власть

в течение всего марта месяца только еще слагалась. Первоначально с 1 марта образовался «Комитет общественной безопасности» из представителей революционной демократии Екатеринодара; 3-го был создан объединенный комитет, в состав которого вошли представители Екатеринодарского, Армавирского и Новороссийского комитетов и красной гвардии и который получил название «Кубанского Областного Военно-революционного Комитета»; он действовал до конца марта; 20-го на съезде советов Кубанского края был избран исключительно из большевиков и левых социал-революционеров «Кубанский Областной исполнительный комитет», выделивший из своей среды «Совет народных комиссаров».

В течение марта месяца центральная власть за пределами Екатеринодара почти ничем не проявлялась. Да и в самом Екатеринодаре она вынуждена была вести борьбу с игнорировавшими ее главноверхами — Автономовым, Сорокиным, Чистовым и др., издавать никем не исполнявшиеся декреты и взывать к совести красной гвардии.

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД

15 марта — Ледяной поход — одно из наиболее ярких воспоминаний каждого первопоходника о минувших днях.

Всю ночь накануне лил дождь, не прекратившийся и утром. Армия шла по сплошным пространствам воды и жидкой грязи, по дорогам и без дорог, заплывших и пропадавших в густом тумане, стлавшемся над землею. Холодная вода пропитывала насквозь все платье. Текла острыми, пронизывающими струйками за воротник. Люди шли медленно, вздрагивая от холода и тяжело волоча ноги в разбухших, налитых водою сапогах. К полудню пошли густые хлопья липкого снега и подул ветер. Застывает глаза, нос, уши, захватывает дыхание и лицо колет словно острыми иглами.

Впереди перестрелка: не доходя двух-трех верст до Новодмитриевской — речка, противоположный берег которой занят аванпостами большевиков. Их отбросили огнем наши передовые части, но мост оказался не то снесенным вздувшейся и бурной речкой, не то испорчен-

ным противником. Послали конных искать броду. Колонна сгрудилась к берегу. Две-три хаты небольшого хуторка мангли дымками своих труб. Я слез с лошади и с большим трудом пробрался в избу сквозь сплошное месиво человеческих тел. Живая стена больно сжимала со всех сторон; в избе стоял густой туман от дыханий сотни людей и испарений промокшей одежды, носился тошнотный едкий запах прелой шинельной шерсти и сапог. Но по всему телу разливалась какая-то живительная теплота, отходили окоченевшие члены, было приятно и дремотно.

А снаружи ломились в окна, в двери новые толпы. — Дайте погреться другим. Совестн у вас нету.

Переправу искали долго. Корнилов разослал и всех конвойных офицеров. Всадники шли по подернувшему реку у берега тонкому слою льда, проваливались и иногда вместе с конем погружались в ледяную воду. Наконец марковские конные разведчики перешли реку вброд у снесенного моста. Тотчас же мелькнула белая папаха Маркова, и с того берега донесся его громкий голос:

— Всех коней к мосту, полк переправлять верхом и на крупах!

Началась томительно долгая переправа: глубина — в полкорпуса лошади, одновременно проходило не более двух, потом в поводу поворачивали коней обратно за новой очередью пехоты. Попробовали провезти орудие. Лошади шарахнулись, запутались в постромах, повалились вместе с ездовыми в воду и опрокинули пушку. Новая задержка, а в это время переправу начала громить неприятельская артиллерия. Одна за другой ложатся гранаты по снежному полю, падают в реку, вздымая высокие столбы пенящихся брызг. Вот одна упала прямо в костер, разведенный на берегу среди гревшейся толпы добровольцев; разметала, побила, переранила людей.

Между тем погода вновь переменилась: неожиданно грянул мороз, ветер уснлился, началась снежная пурга. Люди и лошади быстро обросли ледяной корой; казалось, все промерзло до самых костей; покоробившаяся, будто деревянная одежда сковала тело; трудно повернуть голову, трудно поднять ногу в стремя.

Уже вечереет — пурга заглушает шум ружейной стрельбы. Не слышно, что делается вперед. Возле дороги, ведущей от переправы к Новодмитриевской, в поле брошены орудия, повозки, безнадежно застрявшие в рас-

плывшейся пахоте, подернутой сверху тонкой корой льда. По дороге тянется вереница людей. Словно теии. Местами, тут же на дороге, лежит неподвижное тело.

— Раненый?

Долго молчит. Потом отрицательно качает головой.

— Вы подбодритесь, деревня близко, пропадете ведь здесь в поле...

Идут и уже не обращают никакого внимания на свист пуль, которыми посыпают дорогу застрявшие где-то в стороне, в темнеющей роще большевики. Проехал Корнилов с одним только штабом — конвой почти весь переправляет пехоту. Стемнело окончательно.

Марков, развернув против станицы Офицерский полк, оказался с ним в полном одиночестве. Покровский, который должен был атаковать станицу с юга, не подошел — счел невозможным двигать по такой дороге и в такую погоду свой отряд. Это обстоятельство спасло большевиков от окружения и стоило нам потом двух лишних боев и лишней крови. Коннице, направленной в охват вправо, не удалось перейти речку, и к ночи она вернулась к общей переправе; батарея с поврежденными механизмами орудий застряла в поле; в пятом часу только еще начинала переходить вброд голова Партизанского полка — переправа его протянется, очевидно, до ночи...

Марков решил:

— Ну, вот что. Ждать некого. В такую ночь без крыш тут все подохием в поле. Идем в станицу.

И бросился с полком под убийственный огонь мгновенно затрещающих со всех сторон ружей и пулеметов.

Полузамерзшие, держа в онемевших руках винтовки, падая и проваливаясь в густом месиве грязи, снега и льда, офицеры бежали к станице, ворвались в нее и перемешались в рукопашной схватке с большевиками: гнали их потом до противоположной окраины, встречаемые огнем чуть не из каждого дома, где засели и грелись не ожидавшие такой стремительной атаки и не успевшие построиться красногвардейцы резервных частей.

Когда мы подъехали к окраине станицы, Офицерского полка там уже не было. У околицы толпились артиллеристы застрявшей батареи с лошадьми, спасавшиеся от стужи и стоявшие в нерешительности: по всем темным улицам станицы шла беспорядочная стрельба. Корнилов послал ординарцев разыскать Маркова и полк, но не дождался донесения и поехал с Романовским, несколько-

мичманами штаба и ординарцами в обычный сборный пункт — станичное правление.

Командующий армией входил туда как раз в тот момент, когда из правления в другие двери выбегала толпа большевиков, встреченная в упор огнем...

Всю ночь шла стрельба в станице; всю ночь переправлялась армия, и весь следующий день подбирали и вытаскивали из грязи повозки обоза и артиллерию. Утром большевики атаковали Новодмитриевскую, но с большим уроном были отброшены. И каждый день потом их артиллерия со стороны Григорьевской громила нашу станицу, преимущественно площадь с церковью, где, как всегда, располагался Корнилов с штабом.

В тот же день, 15-го, наш обоз переходил из аула Шенджий в станицу Калужскую, куда прибыл поздно ночью. Раненые и больные весь день лежали в ледяной воде... Смерть витала над лазаретом...

* * *

Мой бронхит свалил меня окончательно. Молодой зауряд-врач, променявший свою мирную профессию на беспокойную и опасную должность ординарца генерала Маркова, младший Г. Д. Родичев, выслушал меня и, найдя какие-то необыкновенные шумы, смущенно сказал:

— Дело плохо, надо сбегать за доктором...

Но 17-го приехали представители Кубани на совещание по поводу соединения армий. Пришлось подняться. Предварительно беседовали с Корниловым и Романовским. Выяснилось, что части кубанского отряда с «оказней» прислали доложить, что они подчиняются только генералу Корнилову, и если их командование и кубанское правительство почему-либо на это не пойдут, то все они перейдут к нам самовольно. Было решено, чтобы не создавать опасных прецедентов и не подрывать принципов дисциплины, побудить кубанские власти к мирному и добровольному соглашению.

Приехали — атаман полковник Флимонов, генерал Покровский, председатель и товарищ председателя законодательной рады Рябовол и Султан-Шахим-Гирей, председатель правительства Быч — люди, которым суждено было впоследствии много времени еще играть большую роль в трагических судьбах Кубани.

Начались томительно долгие и нудные разговоры, в

которых одна сторона вынуждена была доказывать элементарные основы военной организации, другая в противовес выдвигала такие аргументы, как «конституция суверенной Кубани», необходимость «автономной армии» как опоры правительства и т. д. Они не договаривали еще одного своего мотива — страха перед личностью Корнилова: как бы вместе с кубанским отрядом он не поглотил и их призрачной власти, за которую они так цепко держались. Этот страх сквозил в каждом слове. На нас после суровой, жестокой и простой обстановки похода и боя от этого совещания вновь повеяло чем-то старым, уже, казалось, похороненным, напомнившим лето 1917 года — с бесконечными дебатами революционной демократии, доканчивавшей разложение армии. Зиму в Новочеркасске и Ростове — с разговорами доисского правительства, дум и советов, подготовлявшими вступление на Дон красных войск Сиверса... А за стеною жизнь, настоящая жизнь уже напомнила о себе громким треском рвавшихся на площади и возле дома гранат.

Нелепый спор продолжался.

Корнилов заявил категорически, что он не согласен командовать «автономными» армиями, и пусть в таком случае выбирают другого. Кубанское правительство согласилось наконец. На соединение армий, но устами Быча заявило, что оно устраняется от дальнейшего участия в работе и снимает с себя всякую ответственность за последствия.

Корнилов вспыхнул и, ударяя по столу пальцем с надетым на нем перстнем — его характерный жест, — сказал:

— Ну, нет. Вы не смеее уклоняться. Вы обязаны работать и помогать всеми средствами командующему армией.

Жизнь настойчиво возвращала совещание к суровой действительности: задрожали стены, зазвенели стекла; возле нашего дома разорвалось несколько гранат; одна забрызгала грязью окна, другая разбила ворота...

Кубанские представители попросили разрешения переговорить между собой. Мы вышли в другую комнату и, набросав там проект договора, послали его кубанцам.

В окончательной редакции протокол совещания гласил:

«1. Ввиду прибытия Добровольческой армии в Кубанскую область и осуществления ею тех же задач, которые поставлены кубанскому правительственному отря-

ду, для объединения всех сил и средств признается необходимым переход кубанского правительственного отряда в полное подчинение генерала Корнилова, которому предоставляется право реорганизовать отряд, как это будет признано необходимым.

2. Законодательная рада, войсковое правительство и войсковой атаман продолжают свою деятельность, всемерно содействуя военным мероприятиям командующего армией.

3. Командующий войсками Кубанского края с его начальником штаба отзывается в состав правительства для дальнейшего формирования Кубанской армии».

Подписали: генералы Корнилов, Алексеев, Деникин, Эрдели, Романовский, полковник Филимонов, Быч, Рябовол, Султан-Шахим-Гирей.

Последние строки 3-го пункта, введенные по настоянию кубанских представителей, главным образом якобы только для морального удовлетворения смещенного командующего войсками, создали впоследствии большие осложнения во взаимоотношениях между главным командованием с Кубанью.

В этот день, 17-го, после артиллерийского обстрела большевики из Григорьевской перешли опять в наступление на Новодмитриевскую; вечером проникли даже небольшими частями в самую станицу, соединившись здесь с местными иногородними. Несколько часов по улицам визжали пули, пока наконец около полуночи наступление не было отбито. В ближайшие дни прибыли кубанские войска, влились в Добровольческую армию, которая после расформирования некоторых частей получила следующую организацию¹:

1-я бригада, генерал Марков.

Офицерский полк.

1-й кубанский стрелковый полк.

1-я инженерная рота.

1-я и 4-я батареи.

2-я бригада, генерал Богаевский.

Корниловский ударный полк.

Партизанский полк.

Пластунский батальон.

2-я инженерная рота.

2-я, 3-я и 5-я батареи.

Конная бригада, генерал Эрдели.

1-й конный полк.

¹ Чехословацкий батальон не включался в состав бригад.

Кубанский полк (вначале — дивизион).
Черкесский полк.
Конная батарея.

Общая численность армии возросла до 6 тысяч бойцов. Вместе с тем почти удвоился наш обоз.

* * *

Атака Екатеринодара решена. Были сомневающиеся, но не было несогласных, тем более что армия до этих дней не знала неудачи и выполняла, невзирая на невероятные трудности, всякий маневр, который ей указывал командующий. Второй месяц уже Корнилов шел вперед, разбивая все преграды, которые встречал на своем пути, побеждая большевиков силою своей воли, обаянием своего мужества и доблестью преданных ему добровольцев.

План операции заключался в следующем: 1) разбить отряды противника, действовавшие южнее Екатеринодара, для того чтобы обеспечить возможность переправы и увеличить запас боевых припасов за счет большевистских складов; 2) внезапным ударом захватить станицу Елисаветинскую в 18 верстах западнее Екатеринодара — пункт, где имелась только паромная переправа и где нас меньше всего ожидали; 3) переправиться через Кубань и атаковать Екатеринодар¹.

В двадцатых числах бригада генерала Богаевского после кровопролитного боя захватила Григорьевскую и Смоленскую. Эрдели с конницей пошел к Елисаветинской. 24-го перед рассветом генерал Марков должен был внезапным ударом овладеть Георгиевской станицей и станцией, где был центр закубанских отрядов, гарнизон свыше 5000 человек с артиллерией и бронепоездами и склад боевых припасов.

Неожиданным нападение не вышло: выступление почему-то сильно замешкалось, когда голова колонны была в расстоянии менее версты от станицы, как-то сразу рассвело. Большевики увидели перед собой на ровном открытом поле не успевшую развернуться компактную массу пехоты, артиллерии, конных и после минутного замешательства открыли по ней убийственный огонь, в ко-

¹ Ближайшие переправы были: деревянный мост у Пашковской, где недавно был Покровский и где поэтому нас могли ожидать; железнодорожный мост у самого Екатеринодара, атака которого представляла непреодолимые технические трудности.

тором принял участие и показавшийся за поворотом бронированный поезд. Корнилов со штабом в это время обгонял колонну и едва успел отъехать в сторону. Ружейной пулей ранило в ногу навывлет генерала Романовского, который, однако, остался с Корниловым. По всему полю заметались люди, орудия. По счастью, вперед по залынным лугам проходила высокая насыпь железной дороги, и Марков успел развернуть и скрыть за ней свои части.

В таком положении колонне Маркова пришлось простоять несколько часов. Впереди — окраина станицы, опоясанная протекавшей в совершенно отвесных берегах речкой Шелш с единственным через нее мостом.

Наступление замерло.

Корнилов послал приказание бригаде Богаевского ускорить движение от Смоленской в глубокий обход Георгнеафипской с запада. Сам переехал на это направление.

Во второй половине дня корниловцы и партизаны, прорезав железную дорогу, вышли в тыл большевикам и после краткого горячего боя ворвались в станицу и на станцию. С востока вошел и Марков. Началось истребление метавшихся во всей станице остатков большевиков, не успевших прорваться к Екатеринодару. На станции, в числе прочей добычи, нашли драгоценные для нас снаряды — до 700 штук.

Полки, как всегда, соперничали в доблести, не омраченной ревнивым чувством. Когда Корнилов благодарил командира Партизанского полка генерала Казановича за взятие станицы, он ответил:

— Никак нет, ваше высокопревосходительство. Всем успехом мы обязаны Митрофану Осиповичу¹ и его полку...

25 марта потянулся обоз, и пополудни армия двинулась дальше на северо-запад, подорвав железнодорожный мост и выслав отряд для демонстрации против Екатеринодара. Шли вначале вдоль полотна: скоро, однако, приостановились: подъехал бронированный поезд и эшелон большевиков, с которым наш авангард вел бой до темноты. Колонна свернула в сторону и продолжала путь уже темной ночью. Опять без дорог, сбиваясь и путаясь среди сплошного моря воды, залившей луга и дороги, скрывшей канавы, ямы, обрывы, в которые провалива-

¹ Подполковник Нежинцев, командир Корниловского полка.

лись люди и повозки. Ночь казалась такой бесконечно долгой и таким желанным рассвет...

Пройдя 32 версты, колонны остановились в ауле Панахес, откуда, после небольшого отдыха, 2-я бригада генерала Богаевского двинулась дальше к Елисаветинской переправе, находившейся в 10 верстах и уже захваченной Эрдели.

* * *

Переправа через Кубань представляет большой интерес не только технической стороной ее выполнения, но и необыкновенной смелостью замысла.

У Елисаветинской был паром, подымавший нормально около 15 всадников, или 4 повозки с лошадьми, или 50 человек. Позднее откуда-то снизу притянули другой паром меньшей подъемной силы и с неисправным тросом, действовавший с перерывами. Был еще десяток рыбацких гребных лодок.

Этими средствами нужно было перебросить армию с ее обозами и беженцами, в составе не менее 9000 человек, до 4000 лошадей и 600 повозок, орудий и зарядных ящиков.

Операция выполнялась под угрозой с левого берега — со стороны большевиков, владевших железнодорожным мостом, и под некоторым давлением с правого — со стороны авангарда екатеринодарской группы большевиков.

Переправа протекала в полном порядке и длилась трое суток в условиях почти мирных — за исключением нескольких часов 27-го — без обстрела. Обратный отход с боем потребовал бы значительно больше времени, вернее, был невыполним вовсе и в случае неудачи боя грозил армии гибелью.

Переброшенный на правый берег громадный обоз, подвижной тыл армии, прижатый к реке, становился в полной зависимости от какой-либо случайности в изменчивой обстановке сражения.

Для того чтобы решиться на такую операцию, нужна была крепкая вера вождя в свое боевое счастье и в свою армию. Корнилов не сомневался.

27 марта мы беседовали в штабе о вопросах, связанных с занятием Екатеринодара, как о чем-то неизбежном и не допускающем сомнений. Чтобы не повторять ростовской ошибки, решено было временно, до упрочения военного положения, не восстанавливать кубанскую власть,

а назначить в Екатеринодаре генерал-губернатора; эта должность возложена была на меня. Помню, что кубанское правительство отнеслось к этой мере с молчаливым осуждением. И когда я просил дать мне в помощь опытных общественных деятелей, они предложили мне... уволенного некогда полицмейстера и свое контрразведочное отделение. В этот же день Корилов в первый раз отдал приказ о том, чтобы окрестные кубанские станции выставили и немедленно прислали в состав Добровольческой армии определенное число вооруженных казаков.

Не сомневалась и армия.

Весело толпились у берега, спеша переправиться, корниловцы и партизаны, шедшие в этот раз в голове, за коницей. Нервничали марковские офицеры, и ворчал их генерал, оставленный с бригадой в арьергарде на левом берегу до окончания переправы обоза.

— Черт знает что! Попадешь к шапочному разбору...

Хорошее настроение царило и в обозно-походном городке, по капризу судьбы вдруг выросшем на берегу Кубани, вокруг маленького черкесского аула¹. Сотни повозок; пасущиеся возле стреноженные лошади; пестрые лохмотья, разложенные для сушки на чуть пробивающейся траве под яркими, но еще холодными лучами весеннего солнца; дым и треск костров; разбросанные по всему полю группы людей, с нетерпением ждущих своей очереди для переправы и жадно ловящих вестей с того берега. Словно во времена очень далекие — табор крестоносцев — безумцев или праведников, пришедших из-за гор и морей под стены святого города...

И у нашей армии был свой маленький «Иерусалим», пока еще не тот — заветный, далекий, с золотыми маковками сорока сороков божьих церквей... Более близкий — Екатеринодар.

ШТУРМ ЕКАТЕРИНОДАРА

К 27 марта на правом берегу Кубани была уже коница Эрдели и 2-я бригада Богаевского. Бригада Маркова прикрывала обоз.

Смелый замысел, поразивший воображение больше-

¹ Хатук.

виков и спутавший все расчеты их командования, не был доведен до своего логического конца. Над тактическими принципами, требовавшими быстрого сосредоточения всех сил для решительного удара, восторжествовало чувство человечности — огромная моральная сила вождя, привлекающая к нему сердца воинов и вместе с тем иногда сковывающая размах стратегии и тактики.

Корнилов мог, рассчитывая на трудную проходимость левобережных плавней, оставить для прикрытия обозов части вспомогательного назначения — охранную, инженерные роты, команды кубанского правительства, вооруженных чинов обоза и т. п. Бригада Маркова могла бы к вечеру 27-го сосредоточиться в Елисаветинской. Но раненые оставались бы тогда три ночи без крова, и всему многочисленному населению обоза, в случае серьезного наступления с тыла от аула Папнахес, грозила опасность попасть в руки большевиков.

И Корнилов оставил на левом берегу треть своих сил и... Маркова. Первая бригада постепенно по частям выходила потом в боевую линию, начиная с полудня 28-го и до вечера 29-го.

Начался бой за Екатеринодар.

Утром 27-го отряд большевиков из Екатеринодара повел наступление на Елисаветинскую и открыл артиллерийский огонь по станице, явно нащупывая переправу. Сторожевое охранение корниловцев было потеснено, и Нежинцев постепенно ввел в дело весь свой полк. Полудни генерал Богаевский двинул в бой и Партизанский полк. Генерал Казанович развернул свои батальоны партизан, двинулся в атаку без выстрела вдоль Екатеринодарской дороги, поддерживаемый редким огнем своей батареи. Большевики не выдержали атаки и бросились бежать в направлении на Екатеринодар. Бежали густыми толпами в полном беспорядке и остановились только на линии «фермы»¹ и примыкающих к ней хуторов в трех верстах от города.

Казанович, преследуя большевиков, овладел кирпичным заводом, стоявшим на берегу Кубани в полпути от Екатеринодара.

Ввиду того что на Богаевского возложено было только прикрытие Елисаветинской, а атака Екатеринодара предположена была лишь после переправы всей армии, он счел свою задачу выполненной и, оставив на высоте

¹ Образцовая ферма екатеринодарского сельскохозяйственного общества.

кирпичного завода сторожевое охранение, отвел полки на ночлег в станицу.

Меж тем в штабе настроение значительно поднялось. Легкость, с которой был одержан успех этого дня, моральная неустойчивость большевиков, доходившие сведения о панике в Екатеринодаре, о начинающейся будто бы эвакуации и вместе с тем о подходящих спешно подкреплениях — все это побудило Корнилова поспешить атакой и нанести решительный удар прежде, чем большевики опомнятся и усилятся, не дожидаясь сосредоточения всех наших сил. Поздно ночью отдал приказ ускорить переброску Кубанского стрелкового полка (из бригады Маркова), а Богаевскому совместно с Эрдели атаковать Екатеринодар 28 марта.

В этом решении многие видели потом причину рокового исхода операции... На войне принимаются не раз решения как будто безрассудные и просто рискованные. Первые кончаются удачно иногда, вторые часто. Успех в этом случае создает полководцу ореол прозорливости и гениальности, неудача обнажает одну только отрицательную сторону решения.

Корнилов рискнул и... ушел из жизни раньше, чем окончилась екатеринодарская драма. Рок опустил внезапно занавес, и никто не узнает, каким был бы ее эпилог.

* * *

Утром 28-го Богаевский двинулся на Екатеринодар. Партизанскому полку было приказано атаковать западную окраину города, Корниловскому — Черноморский вокзал (севернее города). Еще левее шла конница Эрдели в охват города с севера и северо-востока; она должна была преградить большевикам пути по Черноморской и Владикавказской железным дорогам и поднять казаков станицы Пашковской.

Корниловцы, не получив почему-то своевременно приказа, задержались, и Казанович — этот несравненный таран для лобовых ударов — атаковал ферму и прилегающие хутора один и после горячего боя взял их. Ненадолго: большевики подвели крупные резервы, при содействии сильного артиллерийского огня перешли в контратаку и вновь овладели фермой. Но слева подходили уже корниловцы, опрокидывая большевиков; кубанские пластуны полковника Улагая поддерживали партизан и вместе с ними снова ворвались на ферму, закре-

пив ее за нами окончательно. В этот день пало много храбрых; в числе других ранены генерал Казанович и полковник Улагай.

Мы подъехали к ферме вскоре после ее занятия. Был ясный солнечный день. С возвышенности, на которой стояла ферма, открывалась панорама Екатеринодара. Отчетливо видны были контуры домов, предместий, кладбище и Черноморский вокзал. Впереди их — длинные неправильные ряды большевистских окопов.

Возле фермы стала наша батарея. Каждый выезд на позицию — это трагедия: десяток патронов — по целям, требующим сотен, молчание — когда пехота не в силах подняться из окопов под сплошным ливнем неприятельского огня. Вправо, ближе к берегу, пошли и скрылись в складках поля и в роще партизаны и пластуны, направляясь на кожевенные заводы. Севернее большой дороги наступает Корниловский полк, и Нежинцев идет вперед, не обращая внимания на летящие пули, уже сразившие нескольких его спутников; идет к кургану, откуда должно быть видно как на ладони открытое поле, отделяющее нас от вокзала, поле смерти, которое судьба на этот раз предоставляла преодолеть его полку.

Странно и жутко было видеть от фермы человеческие силуэты¹ на вершине бугра, среди цепей и огня.

Ферма, где остановился штаб армии, расположена на высоком отвесном берегу Кубани. Она маскировалась несколько рядом безлистных тополей, окаймлявших небольшое опытное поле, примыкающее к ферме с востока. С запада к ней подходила вплотную небольшая четырехугольная роща. Внутри двора — крохотный домик в четыре комнаты, каждая площадью не больше полутора сажени, и рядом сарай. Вся эта резко выделявшаяся на горизонте группа была отчетливо видна с любого места городской окраины и, стоя среди открытого поля, в центре расположения отряда, не могла не привлечь к себе внимания противника.

Перед вечером получено было донесение, что войска правого крыла под начальством полковника Писарева (партизаны, пластуны и подошедший батальон Кубанского стрелкового полка) после жесткого боя овладели предместьем города с кожевенным заводом и идут дальше.

Настроение «фермы» ликующее. Уже никто не сомневается, что Екатеринодар падет. Не было еще случая,

¹ Там оказались Казанович, Нежинцев и их полковые штабы.

чтобы красная гвардия, потеряв окраину, принимала бой внутри города или станицы. Корнилов хотел уже перейти на ночлег в предместье. Ему с трудом отсоветовали ехать туда. Коменданту штаба армии послано было приказание — к рассвету выслать квартирьеров...

Разместились тесно — на полу, на соломе: в одной комнатке — Корнилов с двумя адъютантами, в двух — Романовский со штабом и команда связи, четвертая — для перевязочного пункта, в маленькой кладовке, рядом с комнатой Корнилова, поместился я с двумя офицерами. Весь коридор был набит мертвецки спящими телами. Богаевский со штабом расположился возле, в роще, под бурками.

Мне плохо спалось: от холода, от стонов, раздававшихся всю ночь из перевязочной, и от напряженного ожидания.

* * *

Утром 29-го нас разбудил треск неприятельских снарядов, в большом числе рвавшихся в районе фермы. В течение трех дней с тех пор батареи большевиков перекрестным огнем осыпали ферму и рощу. Расположение штаба становилось тем более рискованным, что ферма стояла у скрещения дорог — большой и береговой, по которым все время сновали люди и повозки, поддерживавшие сообщение с боевой линией. Но вблизи жилья не было, а Корнилов не хотел удаляться от войск. Романовский указал командующему на безрассудность подвергаться такой опасности, но, видимо, не очень настойчиво, больше по обязанности, так как и сам лично относился ко всякой опасности с полнейшим равнодушием.

И штаб остался на ферме.

За ночь, оказалось, боевая линия не продвинулась. Писарев дошел до ручья, отделявшего от предместья артиллерийские казармы, обнесенные кругом земляным валом, представлявшим прекрасное оборонительное сооружение, и дальше продвинуться не мог. Атаки повторены были и ночью, и под утро — не оставившим строя раненым Казановичем, вызвали лишь тяжелые потери (ранен был и полковник Писарев), но успехом не увенчались. Казанович предпринимал более «солидную» артиллерийскую подготовку. На нашем языке это означало лишних 15—20 снарядов.

Нежинцев оставался в прежнем положении, встретив упорное сопротивление и будучи не в силах преодолеть жестокий огонь противника. Корниловский полк, ослабленный сильно предшествовавшими боями, таял. В его ряды на пополнение влили две-три сотни мобилизованных кубанских казаков, по большей части необученных, которые попадали сразу в самое пекло оглушительного боя, терялись и нервничали. Нежинцев страдал за полк, ставил на чашу весов последнюю гирию — свое моральное обаяние и второй день уже безотлучно сидел возле цепей на кургане, вокруг которого неустанно сыпались пули и рвали в клочья человеческое тело вражеские гранаты.

Только у Эрдели дело шло, по-видимому, успешно: конница его заняла Сады¹, пересекла железную дорогу и направилась к Пашковской. Станица эта, расположенная в 10 верстах к востоку от Екатеринодара, большая и многолюдная, была враждебна большевизму с первых его дней, и восстание там, в ближайшем тылу Екатеринодарского гарнизона, сулило весьма благоприятные перспективы.

Между тем береговой дорогой к кожевенному заводу мимо нас потянулись части Офицерского полка. Скоро показался и Марков. Идет широким шагом, размахивая нагайкой, и издали еще на ходу ругается:

— Черт знает что! Раздергали мой Кубанский полк, а меня вместо инвалидной команды к обозу пришили. Пустили бы сразу со всей бригадой — я бы уже давно в Екатеринодаре был.

— Не горюй, Сережа, — отвечает Романовский, — Екатеринодар от тебя не ушел.

Ввиду сосредоточения всей бригады Маркова решено было разобрать перемешанные части и вечером в пять часов повторить атаку всем фронтом: Маркову на артиллерийские казармы, Богаевскому против Черноморского вокзала.

Батарея полковника Третьякова редким огнем подготавливает штурм казарм. Цепи наши лежат словно вросшие в землю; нельзя поднять головы, чтобы тотчас же не задела одна из тысяч летящих кругом пуль. В глубокой канаве — Марков с Тимановским, штабом (три человека) и командой разведчиков. Он ходит нервными шагами, нетерпеливо ждет начала атаки. Приказ отдан, но части медлят...

¹ Северное предместье Екатеринодара со сплошными садами.

— Ну, видимо, без нас дело не обойдется.

Вскочил на насыпь и бросился к цепям.

— Друзья, в атаку, вперед!

Ожило поле, поднялись добровольцы, и все живое бросилось к смертоносному валу — храбрый и робкий, — падая, подымаясь, оставляя за собой на взрыхленном снарядами поле, на камнях мостовой судорожно подергивавшиеся и мертвенно-неподвижные тела...

Артиллерийские казармы взяты.

Когда известие об этом дошло до левого фланга, Нежинцев отдал приказ атаковать. Со своего кургана он видел, как цепь поднималась и опять залегала; связанный вне времени незримыми нитями с теми, что лежали внизу, он чувствовал, что наступил предел человеческому дерзанию и что пришла пора пустить в дело «последний резерв». Сошел с холма, перебежал в овраг и поднял цепь.

— Корниловцы, вперед!

Голос застрял в горле. Ударил в голову пуля, он упал; потом поднялся, сделал несколько шагов и повалился опять, убитый наповал второй пулей.

Не стало Митрофана Осиповича Нежинцева!

Потрясенные смертью командира, потеряв раненым помощника Нежинцева полковника Индейкина и убитым командира Партизанского батальона капитана Курочкина, перемешанные цепи корниловцев, партизан и елисаветинских казаков схлынули обратно в овраг и окопы.

А к роковому холму подходил последний батальон резерва¹, и генерал Казанович, с рукой на перевязи, превозмогая боль перебитого плеча, повел его в атаку. Под бешеным огнем, увлекая с собой елисаветинцев, он опрокинул передовые цепи большевников и уже в темноте по пятам бежавших двинулся к городу.

Вечером этого дня Богаевский объезжал позиции. «Большевики открыли бешеный пулеметный огонь, — рассказывает он, — пришлось спешиться и выждать темноты. Ощупью, ориентируясь по стонам раненых, добрался я до холмика с громким названием «штаб Корниловского полка», почти на линии окопов. Крошечный «форт» с отважным гарнизонам, среди которого только трое было... живых, остальные бойцы лежали мертвые. Один из живых — временно командующий полком, измученный до потери сознания, спокойно отрапортовал мне о смерти командира подполковника Нежинцева. Он

¹ 2-й батальон партизан, перешедший с правого фланга.

лежал тут же, такой же стройный и тонкий; на груди черкески тускло сверкал Георгиевский крест.

От позиции большевиков было несколько десятков шагов. Они заметили наше движение, и пули роем зашвистели над нами, впиваясь в тела убитых. Лежа рядом с павшим командиром, я слушал свист пуль и тихий доклад его заместителя о боевом дне...»

К ночи в штабе армии положение фронта определялось следующим образом: бригада Маркова закрепляется в районе артиллерийских казарм. С партизанами Казановича связь потеряна, и о судьбе их ничего не известно. Корниловский полк, весьма расстроенный, занимает прежние позиции. Конница Эрдели отходит к Садам.

Когда Корнилову доложили о смерти Нежинцева, он закрыл лицо руками и долго молчал. Был угрюм и задумчив; ни разу с тех пор шутка не срывалась с его уст, никто не видел больше его улыбки. Не раз он неожиданно прерывал разговор с новым человеком:

— Вы знаете, Нежинцев убит, какая тяжелая потеря...

И на минуту замолчит, нервно потирая лоб своим характерным жестом.

Когда к ферме подвезли на повозке тело Нежинцева, Корнилов склонился над ним, долго с глубокой тоской смотрел в лицо того, кто отдал за него свою жизнь, потом перекрестил и поцеловал его, прощаясь как с любимым сыном...

На ферме как-то все притихли. Иван Павлович говорил мне в этот день:

— Никогда еще я не видел его таким расстроенным. Стараюсь отвлечь его мысли, но плохо удается. Просто так вот, по-человечески, ужасно жалко его.

Опять ночь на ферме. Опять плохо спится — от холода, от стонов раненых и от... тревожного предчувствия.

* * *

Утром 30-го, ко всеобщему сожалению, мы узнали, что успех боя был уже почти обеспечен, только ряд роковых случайностей вырвал его из наших рук. Генерал Казанович с вечера 29-го, преследуя бежавших большевиков, прошел мимо участка Кутепова и просил его атаковать одновременно правее и доложить об этом Маркову. Затем, рассеяв легко большевиков, занимавших самую окраину, ворвался в город и, не встречая далее

никакого сопротивления, стал продвигаться по улицам в глубь его.

Этот удивительный эпизод, похожий на сказку, сам Казанович передает такими правдивыми и скромными словами:

«...Стрельба на участке 1-й бригады стихла. Я был уверен, что мои соседи справа также продвигаются по одной из ближайших улиц, а потому приказал от времени до времени кричать «Ура генералу Корнилову!» — с целью обозначить своим место моего нахождения. Подвигаясь таким образом, мы достигли Сенной площади... Все было тихо. На площади стали появляться повозки, направлявшиеся на позиции противника. Преимущественно это были санитарные повозки с фельдшерами и сестрами милосердия, но попалась и одна повозка с хлебом, которой мы очень обрадовались, несколько повозок с ружейными патронами и, что особенно ценно, на одной были артиллерийские патроны.

Между тем ночь проходила. Встревоженные долгим отсутствием каких-либо сведений о наших частях, я послал по пройденному нами пути разъезды на отбитых у большевиков конях».

Вернувшийся разъезд доложил, что «наших частей нигде не видно, что окраина города в том месте, где мы в него ворвались, занята большевиками, которые, по-видимому, не подозревают о присутствии в их тылу противника».

Начальник разъезда, принятый за своего, успокоил большевиков, уверив их, что в городе все тихо.

«Потеряв надежду на подход подкреплений, я решил, что дожидаться рассвета среди многолюдного города, в центре расположения противника, имея при себе 250 человек, значит обречь на гибель и их и себя без всякой пользы для дела. Построив в первой линии партизан с пулеметами, за ними елисаветинцев и, наконец, захваченные у большевиков лошадей и повозки, я двинулся назад, приказав на расспросы большевиков отвечать, что мы — «Кавказский отряд» — идем занимать окопы впереди города. (Такой отряд незадолго перед тем высаживался на вокзале.) Подходя к месту нашей последней атаки, мы наткнулись сначала на резервы большевиков, а потом и на 1-ю линию. Наши ответы сначала не возбуждали подозрений, затем раздавались удивленные возгласы:

— Куда же вы идете, там впереди уже кадеты!

— Их-то нам и надо.

Я рассчитывал, как только подойду вплотную к большевикам, броситься в штыки и пробить себе дорогу. Но большевики, мирно беседуя с моими людьми, так с ними перемешались, что нечего было и думать об этом; принимая во внимание подавляющее численное превосходство противника, надо было возможно скорее выбраться на простор.

Все шло благополучно, пока через ряды большевиков не потянулся наш обоз. Тогда они спохватились и открыли нам в тыл огонь, отрезав часть повозок».

А в то же время, услышав огонь, начали стрелять из казарм наших части, пока наконец не выяснилось недоразумение.

Настал рассвет, и все кончилось. Еще один несчастный случай потерян. Все складывалось на этот раз к нашему неблагополучию. И гибель всех старших начальников на участке Корниловского полка, удержавшая левое крыло на месте, и то обстоятельство, что Кутепов, по его словам, не мог поднять в атаку свои перемешанные и расстроенные после вчерашнего боя части, и случайность, что Марков перешел вечером на свой правый фланг, а Кутепов почему-то не послал ему доложить об атаке Казановича.

Шел четвертый день непрерывного боя. Противник проявлял упорство, доселе небывалое. Силы его везде, на всех участках боевой линии, разнотельно превышали наши. Какова их действительная численность, не знали ни мы, ни, вероятно, большевистское командование. Разведка штаба определяла в боевой линии до 18 тысяч бойцов при 2—3 бронепоездах, 2—4 гаубицах и 8—10 легких орудиях. Но отряды пополнялись, сменялись, прибывали новые со всех сторон. Позднее в екатеринодарских «Известиях» мы прочли, что защита Екатеринодара обошлась большевикам в 15 000 человек, в том числе 10 000 ранеными, которыми забиты все лазареты, все санитарные поезда, непрерывно эвакуируемые на Тихорецкую и Кавказскую.

Как бы то ни было, ясно почувствовалось, что темп атаки сильно ослабел.

В этот день генерал Корнилов собрал военный совет — впервые после Ольгинской, где решалось направление движения Добровольческой армии. Я думаю, что на этот шаг побудило его не столько желание выслушать мнения начальников относительно плана военных дей-

ствий, который был им предрешен, сколько надежда вселить в них убеждение в необходимости решительного штурма Екатеринодара.

Собрались в тесной комнатке Корнилова генералы: Алексеев, Романовский, Марков, Богаевский, я и кубанский атаман полковник Филимонов. Во время беседы выяснилась печальная картина положения армии.

Противник во много раз превосходит нас силами и обладает неистощимыми запасами снарядов и патронов. Наши войска понесли тяжелые потери, в особенности в командном составе. Части перемешаны и до крайности утомлены физически и морально трехдневным боем. Офицерский полк еще сохранился, Кубанский стрелковый сильно потрепан, из Партизанского осталось не более 300 штыков, еще меньше в Корниловском¹. Замечается редкое для добровольцев явление — утечка из боевой линии в тыл. Казаки расходятся по своим станциям. Конница, по-видимому, ничего серьезного сделать не может.

Снарядов нет, патронов нет.

Число раненых в лазарете перевалило за полторы тысячи.

Настроение у всех членов совещания тяжелое. Опустили глаза. Один только Марков, склонив голову на плечо Романовского, заснул и тихо похрапывает. Кто-то толкнул его.

— Извините, ваше высокопревосходительство, размо-рило — двое суток не ложился...

Корнилов не старался внести успокоительную ноту в нарисованную картину общего положения и не возражал. За ночь он весь как-то осунулся, на лбу легла глубокая складка, придававшая его лицу суровое страдальческое выражение. Глухим голосом, но резко и отчетливо он сказал:

— Положение действительно тяжелое, и я не вижу другого выхода, как взятие Екатеринодара. Поэтому я решил завтра на рассвете атаковать по всему фронту. Как ваше мнение, господа?

Все генералы, кроме Алексеева, ответили отрицательно.

Мы чувствовали, что первый порыв прошел, что настал предел человеческих сил и об Екатеринодар мы разобьемся; неудача штурма вызовет катастрофу: даже

¹ Командиром его был назначен полковник Кутепов.

взятие Екатеринодара, вызвав новые большие потери, привело бы армию, еще сильную в поле, к полному распылению ее слабых частей для охраны и защиты большого города. И вместе с тем мы знали, что штурм все-таки состоится, что он решен бесповоротно.

Наступило тяжелое молчание. Его прервал Алексеев.

— Я полагаю, что лучше будет отложить штурм до послезавтра; за сутки войска несколько отдохнут, за ночь можно будет произвести перегруппировку на участке Корниловского полка; быть может, станичники подойдут еще на пополнение.

На мой взгляд, такое половинчатое решение, в сущности, прикрытое колебание, не сулило существенных выгод: сомнительный отдых в боевых цепях, трата последних патронов и возможность контратаки противника. Отдаляя решительный час, оно сглаживало лишь психологическую остроту данного момента. Корнилов сразу согласился.

— Итак, будем штурмовать Екатеринодар на рассвете 1 апреля.

Участники совета разошлись сумрачные. Люди, близкие к Маркову, рассказывали потом, что, вернувшись в свой штаб, он сказал:

— Наденьте чистое белье, у кого есть. Будем штурмовать Екатеринодар. Екатеринодара не возьмем, а если и возьмем, то погибнем.

После совещания мы остались с Корниловым вдвоем.

— Лавр Георгиевич, почему вы так непреклонны в этом вопросе?

— Нет другого выхода, Антон Иванович. Если не возьмем Екатеринодар, то мне останется пустить себе пулю в лоб.

— Этого вы не можете сделать. Ведь тогда остались бы брошенными тысячи жизней. Отчего же нам не оторваться от Екатеринодара, чтобы действительно отдохнуть, устроиться и скомбинировать новую операцию? Ведь в случае неудачи штурма отступить нам едва ли удастся.

— Вы выведете...

Я встал и взволнованно проговорил:

— Ваше превосходительство! Если генерал Корнилов покончит с собой, то никто не выведет армии — она вся погибнет.

Кто-то вошел, и мы никогда уже не dokonчили этого разговора.

В тот же вечер Корнилов как будто продолжил его с прибывшим с позиций в резерв Казановичем.

— Я думаю, — сказал Корнилов, — завтра повторить атаку всеми силами. Ваш полк будет у меня в резерве, и я двину его в решительную минуту. Что вы на это скажете?

Казанович ответил, что, по его мнению, также следует атаковать и он уверен, что атака удастся, раз Корнилов лично будет руководить ею.

— Конечно, — продолжал Корнилов, — мы все можем при этом погибнуть. Но, по-моему, лучше погибнуть с честью. Отступление теперь тоже равносильно гибели: без снарядов и патронов это будет медленная агония¹.

* * *

В этот день, как и в предыдущие, артиллерия противника долго громила ферму, берег и рощу. Вдоль берега по дороге взад и вперед люди и повозки. Шли из екатериндарского предместья раненые — группами и поодиночке. Я сидел на берегу и вступал в разговоры с ними. Осведомленность их обыкновенно не велика — в пределах своей роты, батальона, понятие об общем положении подчас фантастическое, но о настроении частей дают представление довольно определенное: есть усталость и сомнение, но нет уныния; значит, далеко еще не все потеряно. С левого фронта по большой дороге проходят люди более подавленные и более пессимистически определяют положение; они, кроме того, голодны и промерзли.

СМЕРТЬ КОРНИЛОВА

С раннего утра 31-го, как обычно, начался артиллерийский обстрел всего района фермы. Корнилова снова просили переместить штаб, он ответил:

— Теперь уже не стоит, завтра штурм.

Перебросились с Корниловым несколькими незначительными фразами — я не чувствовал тогда, что они будут последними...

¹ Рассказ генерала Казановича в газете «Свободная Речь».

Я вышел к восточному краю усадьбы взглянуть на поле боя; там тихо; в цепях не слышно огня, незаметно движения войска. Сел на берегу возле фермы. Весеннее солнце стало ярче и теплее; дышит паром земля; внизу под отвесным обрывом тихо и лениво течет Кубань; через голову то и дело проносятся со свистом гранаты, бороздят гладь воды, вздымают столбы брызг, играющих разноцветными переливами на солнце, и отбрасывают от места падения в сторону широкие круги.

Подселн два-три офицера. Но разговор не вяжется, хочется побыть одному. В тиши — тягостное чувство, навеянное вчерашней беседой с Корниловым. Нельзя допустить непоправимого... Завтра мы с Романовским, которому я передал разговор с командующим, будем неотступно возле него...

Был восьмой час. Глухой удар в щеку: заметались кони, зашевелились люди. Другой, совсем рядом, — сухой и резкий...

Прошло несколько минут...

— Ваше превосходительство! Генерал Корнилов...

Предо мной стоит адъютант командующего подпоручик Долинский с перекошенным лицом и от сдавившей горло судороги не может произнести больше ни слова. Не нужно. Все понятно.

Генерал Корнилов был один в своей комнате, когда неприятельская граната пробила стену возле окна и ударилась об пол под столом, за которым он сидел; силой взрыва его подбросило, по-видимому, кверху и ударило о печку. В момент разрыва гранаты в дверях появился Долинский, которого отшвырнуло в сторону. Когда затем Казанович и Долинский вошли первыми в комнату, она была напоиена дымом, на полу лежал генерал Корнилов, покрытый обломками штукатурки и пылью. Он еще дышал... Кровь сочилась из небольшой ранки в виске и текла из пробитого правого бедра.

Долинский не закончил еще своей фразы, как к обрыву подошли Романовский и несколько офицеров. Принесли носилки, поставили возле меня. Он лежал на них беспомощно и недвижно. Я наклонился к нему. Дыхание становилось все тише, тише и угасло.

Сдерживая рыдания, я принял к холодеющей руке почившего вождя...

Неприятельская граната попала в дом только одна,

только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его одного.

Вначале смерть главнокомандующего хотели скрыть от армии до вечера. Напрасные старания: весть разнеслась, словно по внушению. Казалось, что самый воздух напоен чем-то жутким и тревожным и что там, в окопах, еще не знают, но уже чувствуют, что свершилось роковое.

Скоро узнали все. Впечатление потрясающее. Люди плакали навзрыд, говорили между собой шепотом, как будто между ними незримо присутствовал властитель их дум. В нем как в фокусе сосредоточилось ведь все: идея борьбы, вера в победу, надежда на спасение. И когда его не стало, в сердца храбрых начали закрадываться страх и мучительное сомнение. Ползли слухи, один другого тревожнее, о новых большевистских силах, окружающих армию со всех сторон, о неизбежности плена и гибели.

Конец всему! В этой фразе, которая срывалась с уст не только малодушных, но и многих твердых людей, соединились все разнородные чувства и побуждения их: беспредельная горечь потери, сожаление о погибшем, казалось, деле и у иных — животный страх за свою собственную жизнь.

Корабль как будто шел ко дну, и в моральных низах армии уже зловещим шепотом говорили о том, как его покинуть.

Было или казалось только, но многие верили, что враг знал уже о роковом событии; чудилось им за боевой линией какое-то необычайное оживление, а в атаках и передвижениях большевиков видели подтверждение своих догадок. Словно таинственные флюиды перенесли дыхание нашей скорби в окопы врагов, вызвав в них злобство и смелость.

БАРОН А. БУДБЕРГ

ДНЕВНИК

1918 ГОД

5—9 апреля. Вернулся в Харбин; в конце пути вновь почувствовал русские порядки в виде невероятно грязного вагона. Здесь узнал, что 5 апреля японцы высадили во Владивостоке десант, как ответ на ограбление конторы Исида и убийство трех японцев; японцам очень везет на такие подходящие случаи. За японцами высадили десант американцы и англичане.

Прибывшие из Благовещенска беженцы делали сообщение о бывшем там погроме буржуазии; погибло до 1500 человек офицеров, служащих и коммерсантов; хулиганам помогла, как всегда, полная неорганизованность и растерянность обывателей: ведь одни молоко-не, будь они только сорганизованы, могли раздавить всю местную красноту.

11 апреля. Сформировавшиеся здесь под негласным покровительством и на денежные субсидии Хорвата отряды спасителей родины, под фирмами Семенова и Орлова, по моему мнению, самые анархические организации, так как для них не существует никаких законов, и слушаются они только тех, кто дает им деньги, и до тех пор, пока дает и пока имеет возможность так или иначе наступить им на хвост; последние случаи очень редки, так как ни власти, ни силы у дающих нет и условное повиновение приобретает только подачками и уступками.

По внешности власть как будто принадлежит Хор-

вату, но тот совершенно заблудился в разных комбинациях и компромиссах, вплоть до желания — весьма реакционные желания осуществить и демократический капитал-невинность сохранить.

Он продолжает свою дряблую, компромиссную политику, стараясь всех примирить и все уладить без углов, обострений и взрывов, при помощи уговоров, убеждений и прочих словесных тонкостей.

Но то, что было очень подходяще в сложных отношениях с китайцами, с приамурским начальством и с петербургским правлением, никуда не годится при современном положении; получается какое-то микроскопическое и столь же ничтожное повторение керениады, только по другому меридиану. Организации распустились, признают только право силы и очень хотят сами стать этой силой и поступать так, как им приятно и выгодно; первым делом всем хочется господствовать над Харбином и над самим Хорватом, долженствующим быть только курицей, несущей им золотые яйца.

А при характере и решительности Хорват мог стать действительной властью и скоро привести все здесь в порядок, но «рожден кто ползать — летать не может...».

Уходить из Харбина никто не хочет и не собирается, предпочитая ничего не делать и весело жить. Семеновы всячески поддерживают японцы и французы, или, вернее, их местные представители — капитаны Куроки и Пеллио; попав в таких чинах в вершители местных судеб и в своего рода американские, богатые всякими возможностями дядюшки, эти иностранцы, умело угощаемые и умело чествуемые, видят только внешний порядок, козырянье и внешнюю дисциплину и не способны разобраться в духовной, идейной стороне всего происходящего. Внутренней гнили они не видят или не хотят видеть и не в состоянии трезво, спокойно, проникновенно заглянуть в русское будущее.

Для возглавления всех отрядов сюда выписали Плешкова, но ничего путного от этого не получилось; была одна дряблая бесхарактерность, а теперь стало их две, схожие еще и в том, что у обоих экстерьер великолепный и внушительный и что оба в обхождении милы, обворожительны.

Не слушали Хорвата; так же не слушают и Плешкова и их обоих вместе, — совсем то же, что на фронте, только что не дерутся и не убивают. Вчера организация полковника Орлова арестовала подполковников

Никитина и Сулавко; Хорват и Плешков приказали их освободить, а Орлов и его банда приказа не слушают — совсем большевики *saucе royale*¹. Разве при такой закваске возможны какие-нибудь прочные и благотворительные последствия. Внутренняя дисциплина всегда была у нас не особенно крепка и сохранялась только в виде *esprit du corps*² в лучших частях нашей армии; революция же с ее экспериментами рассосала последние остатки этого драгоценного качества... и в этом-то весь ужас нашего положения; нужны решительные крепительные средства, а их нет. Семеновцы бросили даурский фронт и отошли на станцию Маньчжурня; офицеры, ушедшие из Семеновского отряда по невозможности мириться с происходящими там безобразиями, рассказывают, что, стоя на Даурии, чины отряда пьянствовали, охранения и разведки не было; когда услышали, что большевики обходят их с юга, то удрали, бросив целый поезд с запасами продовольствия и снаряжения.

В общем, однако, шило лезет из мешка, и в Харбине начинают разбирать, каких беспокойных утят высила здесь хорватская курица; усидчивость спасителей по части кабаков, швырянье денег, скандалы заставляют задумываться даже коммерсантов, подкармливавших организации, насчет того, куда идут их деньги и правильно ли они помещают свой капитал.

Нельзя спорить против того, что офицерам надо помочь, надо дать средства существования, но все это в минимальном размере; здесь же зеленой, неустойчивой и уже хватившей революционного развала и хмеля молодежи дают по 200 рублей в месяц на всем готовом; рассказывают даже, что, во избежание скандалов, дежурные по отрядам офицеры получают авансы, чтобы расплачиваться с извозчиками, привозящими в казармы господ офицеров. Занятий в отрядах нет, молодежь бесится, никто ее не сдерживает, и развал неуклонно прогрессирует.

Многие командиры сознают это, но бессильны что-либо сделать; на замечание (не говоря уже о попытке наложить взыскание) получается обыкновенно доклад подчиненного о переходе в другую организацию.

Сейчас здесь налицо следующие власти:

1. Хорват, считающийся наследником всех русских законных властей по званию главноначальствующего в

¹ Под царским соусом.

² Корпоративного духа.

полосе отчуждения К.-В. железной дороги¹; сейчас в Харбине идет тайная кампания, чтобы выдвинуть Хорвата на пост диктатора русского Дальнего Востока, причем уверяют, что эта идея поддерживается японцами. Не все ли равно, какая вывеска будет на Хорвате; ведь он останется тем же бессильным главноуправляющим, не способным даже справиться с образовавшимися здесь офицерскими организациями, барахтающимися среди разных компромиссов и танцующими какой-то чрезвычайно пестрый танец.

Говорят, что диктаторская махинация строится теми, кому выгодно вытолкнуть длиннородного харбинского Улисса на высоту власти, тесно к ней примазаться и снять, сколько удастся, пенек.

2. Далее идет Дальневосточный комитет защиты родины и Учредительного собрания, какая-то полуанонимная организация, сложившаяся из смеси авантюристов, спекулянтов, перепуганных коммерсантов и очень свойственных Дальнему Востоку темных дельцов и ловителей рыбки в мутной воде; сначала эта организация очень гремела, но теперь киснет и обещает скоро заглохнуть.

В громком названии под родиной надо понимать потерянные и угрожаемые капиталы, предприятия и привилегии; Учредительное собрание пристегнуто для демократичности и в качестве фигового листа: большинство этих господ желает его, как черт ладана.

3. Имеется начальник российских войск полосы отчуждения, добродушный и безобидный генерал Плешков, безропотно несущий все наряды по разным представительным случаям и блистающий там свежестью, превосходным настроением духа и целым иконостасом всевозможных орденов.

Его никто и ни в чем не слушает, но, судя по его настроению, сие мало его беспокоит; он вообще принадлежит к разряду людей, не любящих беспокоиться. При нем учрежден штаб отдельного корпуса, с большими штатами, но с малым числом настоящих работников.

4. Разные вольные атаманы — Семенов, Орлов, Калмыков, — своего рода винегрет из Стенок Разных двадцатого столетия под белым соусом; послереволюционные прыщи Дальнего Востока; внутреннее содержание их разбойничье, большевистское, с теми же лозунгами:

¹ Китайско-Восточная железная дорога.

побольше свободы, денег и наслаждений; поменьше стеснений, работы и обязанностей. Мне кажется, что большинство из них лишь случайно не на красной стороне: кому не пришлось по случайно сложившейся обстановке, а кто по привычке шарахнулся на свою, оказавшуюся белой, сторону. У многих все это случилось, конечно, невольно, и обвинять их самих было бы даже несправедливо.

Среди этого многовластия, а в сущности настоящей анархии, идет общая грызня, ссоры, слежка за другими, сплетни, провокация и интриги.

Офицерская вольница беззаботно живет, ничего не делает, бесконечно много хвастается, особенно по части разгрома большевиков и спасения России. Актив же весь пока — человек 700 у Семенова на станции Маньчжурия, человек 400 у Орлова в Харбине и кучка у Калмыкова на станции Пограничной; есть несколько старых японских орудий системы Арисака. С этими силами нельзя дойти даже до Онона, так как не хватит чем обеспечить тыл и железную дорогу на сто верст назад; но это мало кого здесь тревожит, ибо никто в наступление не собирается; достаточно шуметь и от шума этого кормиться. Кому не охота «и без драки попасть в большие забияки»? Глубоко жаль ту молодежь, которая в большинстве бросилась в эти организации совершенно искренне, завертелась в этом омуте и обречена на сгноение.

Имеется здесь еще какое-то сибирское правительство, состоящее из нескольких членов разогнанной сибирской областной думы, считающее себя законной властью и очень охочее ею *de facto*¹ сделаться.

Единственной реальной, проявляющейся время от времени властью являются только китайцы, постепенно сбрасывающие с себя старые путы и показывающие иногда свои зубы.

Издаലെка надвигается влияние японское, пока еще торговое, но за которым уже виднеются раскосые лица японских солдат.

Среди этих влияний и призрачных и реальных властей мечется разношерстная, больная нервами, русская беженская толпа и варится в каком-то котле, где красными и черными ведьмами намешаны эгоизм, глупость, жадность, легковерие, бесшабашный авантюризм, острая тоска по всему потерянному, с примесью донкихот-

¹ На самом деле, фактически.

ского благородства, искреннего порыва, верности старым традициям и готовности на подвиг и жертву; но невелики эти благородные примеси, и тонут они в массе низменных похотей, густо разведенных на людской подлости.

Немногочисленные глубокосимпатичные дон-кихоты, которые искренно и самопожертвованно пытаются что-то сделать, не замечают, как бессильны их потуги зажечь это эгоистическое, жадное и равнодушное море огнем их высоких и благородных лозунгов. Сейчас пришло царство того, у кого глотка позычнее, кулак поувесистее, но зато совесть поменьше, и все задерживающие центры порассосались основательнее.

13 апреля. Вечер провел в компании в лице трех беженских полковников, которые очень много говорили, жаждали мести, вторжения в Россию и истребления всех серых шинелей; бахвалились, что сами берутся уничтожать по несколько десятков товарищей за прием, «собственноручно пуская им пули в живот». Пока же сидят в Харбине, живут на-шармака, на фронт не собираются, а двое, по моему убеждению, никогда туда не поедут. К сожалению, столь свирепые угрозы красным товарищам не страшны; печально только то, что такие глупые и бахвальные излияния показывают чаяния и глубину понимания уже не зеленой молодежи, а трех штаб-офицеров, имеющих за собой побольше десятка лет кадровой службы. Какое-то помешательство на идее реванша скорого и жестокого, отождествляемого со спасением России. Такие уроды неспособны понять того, что стряслось с Россией в прошлом году; им не дано сообразить, что многого уже не вернуть и что многое надо забыть.

Харбин начинает наполняться тянущимися с запада семеновцами; говорят, что у атамана иссякли все деньги, и поэтому наиболее пронырливые ловкачи стараются заблаговременно поискать более хлебных организаций; сейчас ведь это просто: не понравилось в одном отряде — переключиваются в другой; появились даже особые антрепренеры по переманиванию при помощи разных посулов; начинает напоминать времена ландскнехтов, но только в российской раскраске.

Гремевшие здесь горе-генералы Потапов и Доманевский навастривают уже лыжи, но требуют на дорогу денег.

14 апреля. Куда ни пойдешь, наслушаешься такой

гнили и дряни, что потом не спишь целую ночь. Хорош я был, когда в Петрограде уговаривал всех пробираться в полосу отчуждения, считая, что там только и можно организовать здоровое сопротивление большевизму.

В городе ожидают какого-то выступления со стороны семеновцев и орловцев, так как иссякли средства на их содержание. У Семенова сбежали некоторые хозяйственные чины, прихватив бывшие у них на руках авансы. Хорват вертится, лавирует, обещает и уговаривает.

Орлов и его вольница распустились и угрожают; доссоримся до того, что вмешаются опять китайцы и займутся разоружением; будь Хорват порешительнее, он мог бы при своей дружбе с китайцами ликвидировать все существующие организации и начать формирование новых, в виде офицерских, юнкерских, унтер-офицерских и специальных школ.

16 апреля. Истощение местных кошельков заставляет атаманов распускать слухи, что японцы просят их идти на Владивосток и там соединиться с их десантом; очевидно, хотят напугать местных буржуев, что оставят их на съедение большевикам. Ведь только с перепугу можно повернуть тому, что японцам на что-либо нужны несколько сот разболтанных русских офицеров, да еще и во Владивостоке, где положение самих японцев довольно сложное и деликатное. Первый этап движения на восток — ст. Пограничная, где сидит Калмыков, самый обыкновенный разбойник, и грабит поезда по способности. Не понимаю Хорвата, его советников и сотрудников; разве в багаже их жизненного опыта нет данных о том, что такое распушенина, растерявшая все сдерживающие стимулы и дерзкая, вооруженная толпа, чувствующая свое значение и понимающая, что ее некому одернуть? Нужно во что бы то ни стало остановить развал и покончить с этими белыми большевиками; промедление времени смерти подобно; чем дальше, тем больше потребуются решительности, железа и крови, чтобы ввести все это в рамки долга, порядка, обязанностей, беспрекословного повиновения, здоровой дисциплины и тяжелой работы-подвига. При такой реорганизации не надо жалеть никаких средств, взять и отдать все, обеспечить семьи, но при современном положении надо зажать кошелек и хоть этим путем потребовать подчинения.

17 апреля. Весь город полон разговорами о предстоящем походе отрядов на Никольск, как об уже ре-

шенном деле; молодежь, покорившая немало харбинских сердец, довольно откровенно прощается с побежденными.

Первыми этапами для отрядов назначены станции Эхо и Пограничная; как бы хотелось, чтобы они сделались местами полной реорганизации и внутреннего обновления этих отрядов.

В частности, успех похода рассчитан на переход на нашу сторону уссурийских казаков, то есть на то, чего никогда быть не может, так как уссурийцы совсем обольшевичились и никогда к офицерским организациям не примкнут.

Если этот нелепый поход осуществится, то кровь жертв должна пасть на голову инициаторов и распорядителей; большому начальству не впервой посылать подчиненных на убой.

Трудно разобрать, какую роль играет здесь Япония; японских офицеров здесь очень много, и, по-видимому, они играют роль возбuditелей агрессивной энергии, исполняя какие-то определенные махинации, предначертанные им руководящей ими военной партией японского генерального штаба.

Сегодня в отрядах выдали жалованье по вновь утвержденным штатам, и шантаны работают на славу.

Интересными образчиками современного офицерства являются четыре штаб-офицера, поселившиеся у одного из моих товарищей: живут, едят, держат себя иногда слишком непринужденно, ни копейки не платят очень стесненному материально хозяину дома, а получаемое содержание прокучивают.

18 апреля. Местные газеты, надлежащим образом подогретые, полны призывов к выступлению для активного спасения России; до сих пор еще думают, что можно словами поднять на подвиг; те, которые на подвиг способны, пойдут и без газетных зазываний.

Во лжи и подтасовке не стесняются; если верить всем сообщениям, то чуть ли не вся Россия ждет харбинских спасителей. Что большевики всем надоели и ненавистны, в этом никто не сомневается, но что массы ждут избавления при помощи таких спасителей, как здешние атаманы, то это неправда; ни для кого не тайна, что у большинства спасителей только и на уме, сколько «серой сволочи» они повесят за то, что переспытали.

Когда розовые оптимисты начинают говорить, что

народ молится, чтобы мы вернулись, то я возражаю, что не верю в существование таких лошадей, которые сами бы просили, чтобы их заложили в старые, ненавистные и когда-то до костей протершие хомуты. Остановить разложение сейчас можно только, увы, с помощью варягов, при полном устранении собственных спасителей типа здешних атаманских организаций, взращенных на соусе революционного разложения.

Таких же спасителей, которые на 90% состоят из купцов и буржуев, как вдохновителей и кормителей, и офицеров, как исполнителей, деревня примет в дубье и пулеметы.

23 апреля. Семенов начал наступление на Даурию во исполнение решительных настояний Дальневосточного комитета, который заявил, что те, кто дает деньги на содержание отряда, устали ждать и требуют каких-либо видимых результатов, сетуя на ничегонеделание всех отрядов. Сегодня в собрании ликование по поводу взятия семеновцами станции Даурии; «взятие», конечно, весьма условное, так как станция оказалась пустой.

26 апреля. Вчера на вокзале орловские спасители пытались произвести обыск пассажирского поезда (не отставать же от Семенова и Калмыкова, занимающихся этим в своих районах), но были окружены китайскими войсками и после переписи отпущены. Семеновцы и калмыковцы счастливее: там каждый поезд дает причастным к обыску лицам сотни тысяч рублей плюс разные ценные вещи; жалоб не бывает, ибо очень строптивые переселяются в загробный мир, а осторожные молча претерпевают эту революционную неприятность.

Настроение мелкого обывателя в городе и на линии против этих, как их потихоньку называют, белых большевиков очень озлобленное; очень уж откровенно нахально и распущенно они себя ведут.

28 апреля. Заходил в штаб начальника российских войск, содержимый по штату отдельного корпуса, но почти не имеющий войск; во всяком случае, в штабах этих войск больше народу, чем во всех строевых их частях; есть полки по 50 солдат, а в батареях по два номера на орудие; зато штабные должности переполнены, и всюду еще толпы прикомандированных; все начальство обзавелось стадами личных адъютантов; по городу носятся автомобили с супругами, содержанками и ординарцами высокого начальства и разных кандидатов

в атаманы; появились так называемые сестры, или, вернее сказать, кузины милосердия.

Как быстро забылись в спокойной харбинской атмосфере все суровые и ужасные уроки прошлого года; опять бесчисленные штабы; опять пять штабных там, где свободно управится один; опять ненавистные войскам личные адъютанты, покрашенные сестры; опять незаконное пользование автомобилями, огромные авансы на секретные расходы; опять штабное засилие, штабное величие, штабная лень, веселая штабная жизнь... Ничему не научились и ничего не забыли; ну, какое же тут может быть спасение.

29 апреля. Дальневосточный комитет, антрепренер семеновщины, захлебывается в «трофеях», состоящих пока из двух телеграфных аппаратов и нескольких вагонов; говорили даже, что наиболее впечатлительные комитетчики хотели зафундить по этому поводу торжественное молебствие.

30 апреля. От радости по поводу семеновского наступления многие совсем ошалели, распоясались, грозят кулаками и обещают расправиться с супротивниками «по-петровски»; какой-то очень мрачный благовещенский буржуй захлебывался в собрании от негодования по поводу того, что в Харбин привезли нескольких раненых красных, и требовал, чтобы Семенову и всем отрядам было отдано приказание пленных не брать и вешать, обязательно вешать их на месте захвата; и можно быть уверенным, что сей кровожадец дальше Харбина сам никуда не двинется, а буде судьба его приведет все же под красный режим, то он со страха пролижет насквозь подошвы у любого комиссара и ради спасения жизни согласится вешать своими руками белых пленных. Вообще немало злобной подлости и умственной мелкоты открылось в эти дни; достаточно было пустяка, чтобы разверзлись уста и раскрылись вовсю настоящие чаяния и вожделения. Эти господа, возготавшие от жадной радости, в припадке самой подлой, свойственной трусам мести действительно были бы счастливы, если бы кто-либо другой, их не замешивая и открыто не компрометируя, истребил бы не только комиссаров, но и большую часть серого русского народа. В своем ликовании они не замечают даже, что с них свалился их фиговый учредительный лист, на время позаимствованный из демократических оранжерей. Спасители, храбро расправляющиеся с бутылками в ресто-

ранах и кабаках, в своем бахвальстве сделались страшнее бенгальских тигров и, не понимая даже гнусности своих проступков, пьяными ордами поют «Боже, царя храни», профанируя этот святой гимн, который каждый настоящий монархист должен танть глубоко в своем сердце, как великий и горестный укор за прошлое.

1 мая. В течение двух часов был мучим нестерпимой болтовней полусумасшедшего, но проницательного авантюриста генерала Потапова. Потапов обратился ко мне с вопросом, соглашусь ли я войти в состав проектируемого дальневосточного правительства.

Я ответил, что должен знать сначала программу и состав этого правительства, так как я никогда не соглашусь работать с теми, кто пойдет к власти ради власти, а не ради последнего подвига на служение родине. В возможность жизненности и успеха реакционного правительства я совершенно не верю; если власть попытается обосноваться на эсеровщине, то повторится, только в еще худшей редакции, вторая половина 1917 года. Нужна трудовая, реальная, здоровая, полезная для населения программа, способная привлечь к власти симпатии здоровой части краевого населения. Творцов, носителей и будущих исполнителей чего-либо похожего на такую программу я не вижу, и у меня мало надежды, чтобы они появились в современной харбинской атмосфере. Напротив того, все, что я вижу и слышу, приводит меня к печальному заключению, что все намечающиеся здесь комбинации ищут власти ради ее вкусных сторон; твердого и здорового плана реконструкции не имеют и будут продолжать вреднейшую политику, заманивая толпу (в том или другом составе) несбыточными посулами и временными подачками, не имея мужества сказать им горькую и тяжелую правду, потребовать от них труда, подчинения, ограничений и истового исполнения обязанностей и иметь силы и средства заставить исполнять все свои требования.

Все изложенное делает очень сомнительным, чтобы я мог войти в какую-либо из намечающихся здесь комбинаций; пользы я там все равно не принесу.

2 мая. Семеновцы продвигаются вдоль линии железной дороги; многие реакционеры, забывшие, что до декабря они были самыми крикливыми мартовскими революционерами, захлебываются от восторга; спекулянты ликуют, ожидая восстановления торговых отношений с Сибирью.

Многочисленные осведомители разных штабов объявляют о том, что забайкальские казаки многими тысячами переходят на сторону «любимого» атамана; платят осведомителям жирно, что делает их очень покладливыми по части фантазии и прибавления нолей, когда это выгодно их давальцам. Одновременно распространяются сказки для младенцев на тему о необычайном авторитете и влиянии Семенова среди бурят и монголов, потому что он бурятский полукровок и знает их язык. От коренных забайкальцев знаю, что это самая наглая выдумка; мало ли в Забайкалье метисов-бурят, знакомых населению в тысячу раз больше, чем какой-то рядовой есаул? Происходит облачение голого короля в выдуманные платными хвалителями ризы.

3 мая. В собрании случайно слышал разговор группы штатских по поводу дальневосточного корпуса, которым командует Плешков; один из собеседников выражал удивление по поводу полученных им официальных данных, что в штабе корпуса больше людей, чем во всех отрядах, вместе взятых; в управлении инспектора артиллерии сидит 8 генералов и штаб-офицеров, а во всем корпусе только семь старых пушек; штатские, не стесняясь, высказывали негодование, что все сводится, очевидно, к созданию штабов и к устройству в них родственников и близких человек; отмечали также, что разрешение заменять писарей машинистками привело к тому, что штабы переполнены женами, сестрами, кузинами, сердечными симпатиями и т. п.

4 мая. Настроение самое невеселое. Родилось какое-то новое сибирское правительство из совершенно незнакомых Дальнему Востоку персонажей очень мелкого калибра; раскрашивающие их аттестаты сводятся пока что к партийной работе, бытности на каторге, бытности членами одной из Дум или разогнанной Учредилки и т. п.

8 мая. Местное болото всколыхнуто слухами и сенсациями по поводу состоявшихся новых назначений: Плешков назначается главнокомандующим армиями фронта (?). Это так чудовищно нелепо и цинично, что не хочется этому верить; надо же знать хоть какую-нибудь меру в области самоустройства разных тыловых сеньоров и состоящих при них клик прихлебателей и лакеев.

Во всем отпрыгается революционная распушенность и безудержное, начальное циничное дерзание во всем, что

касается личных благ и удобств; но тут перескочили далеко за самые революционные пределы; прежде был и удерж, и остатки совести и служебной порядочности; прежде никто не дерзнул бы занкнуться о таких опереточных назначениях. Одними из негласных приобретений революции явились рассасывание центров этики и порядочности и вылуженные совести, непроницаемые для чувства стыда. Бессовестность теперь не знает границ; блажен тот, кто схватил руль власти и попал поближе к главной кассе. От старого остались только приказы и штаты, которыми с меднолобым хладнокровием прикрывают самые наглые экскурсии по части самоублажения; заинтересованы в этой гадости очень многие, молчат, помогают, гримируют, придают всему законный вид. Редко кое у кого заскрипит совесть, да и этот слабенький скрип скоро заглушается приятным хрустением бумажек.

Создают главнокомандующего, у которого, если собрать всех принятых в войске китайцев и корейцев, не наберется воинов даже на полк мирного состава; рождают новые штабы — приятные и выгодные убежища для разных героев тыла и прихлебателей высоких сфер.

И эта вакханалия идет все *crescendo*¹, ибо нет настоящего барина, который пришел бы и дубиной хватил по всем этим забывшим честь, совесть и мучения родины, оскаленным от хотения и хрюкающим рылам и властно зыкнул бы: «Довольно, белые товарищи; довольно подлости, безделья, хапанья и растаскивания последних крох».

9 мая. Всюду слышу разговоры про состоявшиеся назначения генерал-квартирмейстеров, дежурных генералов, начальников снабжений, бесчисленных генералов для поручений; хорошо еще, что не восстановили для штабов казенной прислуги, а то не хватило бы для этого всех наличных солдат. В штабах для красочности, поднятия фантазии и бодрости настроения порхают многочисленные машинистки с голенькими ручками; помнят, что Наполеон проиграл Бородино оттого, что отяжелел, и заранее обеспечивают себе легкость мыслей.

Стайки адъютантов, ординарцев и чинов для поручений умножились; автомобили под самыми разнооб-

¹ Возрастая.

разными значками наполняют улицы Харбина пылью и жгут последние жалкие запасы бензина.

«Старый режим» распускается самым махровым цветом в самых гнусных своих проявлениях; то же, что было в нем высокого и хорошего, отшвырнуто за негодностью.

10 мая. Совершенно неожиданно главнокомандующим назначен появившийся откуда-то и, как говорят, специально привезенный сюда адмирал Колчак; сделано это ввиду выяснившейся неспособности Плешкова заставить себя слушать. Надеются на имя и на решительность адмирала, гремевшего во флоте.

Хотя я очень скептически отношусь ко всему, приходящему к нам из флота, но хочется верить, что адмирал при поддержке Хорвата положит предел старому безобразному курсу и сделает с полосой отчуждения то же, что, судя по нововременским корреспонденциям, сделал когда-то с черноморским флотом, вдохнув в него свежую струю подвига, энергичной работы.

Пока что про адмирала говорят, что он очень вспыльчив, груб в выражениях и как будто бы предан очень алкоголю.

Грустно, что приходится довольствоваться такими кандидатами для возглавления организующихся здесь русских войск. Казалось, было достаточно времени, чтобы списаться с югом и получить оттуда достаточное число высокоавторитетных лиц, коим и поручить старшие командные посты. Неужели же и тут замешались узкие самолюбия, психология маленького прихода и желания уединенной автономии?

11 мая. Газеты помещают интервью с адмиралом, который обещает восстановить закон и порядок. От всего сердца желаю ему полного успеха; задумываюсь только над тем, как он сумеет справиться с достаточно уже окрепшими организациями, особенно с Семеновым, который сразу стал бить на полную самостоятельность и слушает только Хорвата, да и то, если ему нужны деньги.

Если же адмирал сам обопрется на атаманов и их отряды, то тогда о порядке и законе не может быть и речи. Выходит, что наличная обстановка повелительно требует, чтобы союзники дали нам нейтральную, спокойную силу, которая своим регулирующим присутствием помогла бы реконструкционной власти установить основные формы порядка и обуздывать всякие разруши-

тельные — справа и слева — силы до тех пор, пока этой власти удастся создать собственную силу такого качества, которая гарантировала бы авторитет власти и возможность своего применения во всем, что касается твердого поддержания здоровой законности и истинного, хотя, быть может, и крутого, порядка.

12 мая. Настроение такое, что, будь деньги, попробовал бы пробраться на Дон. Харбинская атмосфера, все эти главно- и просто командующие, с их многоэтажными штабами, общая подлость и чисто разбойничий эгоизм, прогрессирующие атаманские банды — все это способно заставить выть от горя.

Бывая в собрании, вижу кутежи, швырянье десятками тысяч денег, слышу постоянно рассказы о скандалах, чинимых офицерами, и о массовых драках, которыми эти кутежи иногда кончаются; старшины собрания безмолвно на все это взирают и боятся вмешиваться, ибо у скандалистов револьверы и шашки, которые они с большой легкостью пускают в дело под предлогом «оскорбления мундира»; последнее понятие трактуется ныне весьма своеобразно: под него было подведено, например, вмешательство дежурного старшины в драку офицеров в бильярдной, когда двое нещадно избивали третьего; после ликвидации инцидента все дравшиеся отправились в буфет запивать мировую.

13 мая. Весь город взволнован зверским убийством бывшего преподавателя Хабаровского кадетского корпуса Уманского; третьего дня его схватили и увезли какие-то военные, а вчера его труп найден на городском огороде, изрубленный шашками. Шепотом говорят, что это дело рук калмыковцев, среди которых есть хабаровские кадеты, рассчитавшиеся с Уманским за старое, когда он был при корпусе большевистским комиссаром.

Совсем скверно, если разложение среди молодежи доходит до таких убийств; нельзя марать чистые ризы белой идеи такими каторжными поступками.

14 мая. Вечером скверные известия из отряда Семенова; говорят, что передовые части его почти уничтожены. Печально это, но иного исхода от этой авантюры быть не могло, и ответ за это на тех, кто на нее науськал не готовый к дальней экспедиции отряд.

Первые «успехи», когда занимали пустые станции, вскружил всем головы; решили, что красные слабы и ничего не стоят, а потому наши распоясались и полез-

ли вперед, не имея достаточной разведки и при очень плохих условиях обеспечения сообщения с тылом.

15 мая. Вечером разговоры о том, что на завтра назначена однодневная забастовка всех рабочих Харбина как протест против убийства Уманского; Центральный исполнительный комитет, до сих пор здесь существующий, разослал по дороге приказ всем бастовать, а Хорват объявил, что не допустит забастовки, хотя бы пришлось прибегнуть к самым решительным мерам. Сейчас у Хорвата очень подходящий случай показать всю свою власть и поддержать одновременно закон; с забастовщиками и их руководителями расправиться самым крутым образом, сгрести их в кучу и выслать через Хабаровск к их красным приятелям, продезинфицировав таким образом раз навсегда всю дорогу; одновременно следует найти и наказать убийц Уманского и этим отбить охоту от повторения таких большевистских экзекуций.

Если он это сделает, то все разумное и законное станет на его сторону, увидит в нем носителя законной власти и признает его таковым.

Церемониться с заводителями забастовки и лавировать между демократичностью и решительностью не приходится; Хорвату отлично известно, что кроется в главном исполнительном комитете, на что там надеются и чего ждут; раз Семенов дерется с красными большевиками в Забайкалье, то глупо терпеть присутствие скрытых и несравненно более опасных большевиков в Харбине и на линии.

16 мая. Состоялись похороны Уманского, обращенные в демонстрацию против порядков, при которых возможны такие убийства. В штатском образе бродил по собравшейся около собора толпе для изучения народного настроения; настроение оказалось самое озлобленное, но под прессом боязни открыто это обнаружить; вдали от военных и полиции разговоры свирепозлобные, но все время косятся, не слышит ли кто из чужих; очевидно, язык сдерживается перспективой возможности очутиться в искрошенном виде на том же городском огороде. Общий вид толпы полупочтенный, у многих же весьма углубленный большевистский; в разговоре мелькают надежды о наступлении времени, когда хлебнули из этого сосуда и весьма вожделеют, чтобы сие повторилось и уже без китайского пресечения.

Вокруг собора стоял сильный наряд китайской полиции, а мимо прошло несколько китайских рот, которых в толпе провожали ехидным шипением «хорватские опричники...». Вообще *credo*¹ толпы было совершенно ясно.

После отпевания толпа собралась двинуться к вокзалу, но китайские войска заставили ее разойтись; при этом с гражданами российской республики не церемонились.

17 мая. Надежды на то, что Хорват расправится с забастовщиками, не оправдались; Хорват остался той же виляющей хвостом лисицей. Китайцы же не упустили случая, и генерал Тао совместно с даоинем Ля-тя-ао выпустили приказ, коим объявляют, что в случае повторения забастовки китайцы примут уже свои меры; злые языки уверяют, что этот приказ издан по просьбе старшего русского начальства, не желавшего марать свою демократическую репутацию, нужную ему для будущего.

Прокуратура ведет следствие об убийстве Уманского; показывает, что старается найти виновных, и ничего не находит, хотя чуть ли не всему городу известно, что сделано это калмыковцами.

18 мая. Хорват как-то разошелся с рожденным им Семеновым; говорят, что причина кроется в том, что семеновцы добрались до вагонов с товарами, стоящих на станции Маньчжурия, занялись их реквизицией, или, как говорят, «семенизацией», в деньгах не нуждаются, а поэтому желают быть совершенно автономными и решили харбинских властей больше не признавать. В контроле дороги от старшего контролера В. я узнал, что остановка движения на запад скопила на станции Маньчжурия несколько тысяч вагонов с самыми разнообразными и весьма ценными грузами. Семеновцы это учли и начали все это реквизировать под предлогом военной необходимости; реквизируемое частью растаскивается причастными лицами, большею же частью продается за бесценок излюбленным спекулянтам и японцам, присосавшимся к атаману; бесцеремонность доходит до того, что проданные таким образом грузы отправляются на японскую станцию Чан-Чун по казенным перевозочным документам. Идет дневной грабёж; Хорват и многоликое начальство все это отлично знают и крепко зажмуривают глаза. Хорвату следовало бы кри-

¹ Символ веры.

чать караул, как управляющему дорогой, ибо дороге придется потом оплатить все убытки, ибо никакой суд не признает *force majeure*¹ в деле разграбления имущества частных лиц на станции, расположенной даже не на русской территории.

Как главноначальствующий и блюститель закона, Хорват обязан принять немедленно меры к прекращению этого грабежа, и в этом случае он имеет нравственное право обратиться за содействием к китайским властям.

Не зная, что делается с вагонами, Хорват не может, так как вагоны продаются в Харбине семеновскими агентами совершенно открыто, а тогда его бездействие и попустительство не имеют оправданий.

19 мая. Произошло то, что уже намечалось несколько дней. Семенов самоопределился и образовал какое-то подобие временного правительства Забайкальской области; сам он чем-то вроде главковерха с помощниками — казачьим генералом Шильниковым по казачьей части и с Таскиным по гражданскому управлению; выпущена очень туманная декларация, своего рода забайкальская керенка. Говорят, что вся эта комбинация проделана не без участия японцев. Как-никак, а выселенный Хорватом утенок отправился в отдельное плавание.

Вечером узнал, что ГЛИК² уничтожен и члены его высланы из пределов полосы отчуждения; все благоразумное в Харбине радуется проявленной наконец решимости; надо только, чтобы не испугались тех воплей, которые неминуемо поднимут разные явные и тайные совдепщики, и, не останавливаясь уже на полдороге, продезинфицировать весь состав служащих.

Семенов заявил, что не признает над собой ни Колчака, ни Пешкова; настроение харбинских семеновцев самое воинственное.

20 мая. В Харбине объявлено военное положение. Вышел приказ Хорвата по поводу роспуска ГЛИКа и высылки из полосы отчуждения виновников забастовки. Приказ туманный и склизкий, сильно воняет желанием себя выгородить; между строк сквозит, что высылка произведена не по желанию самого Хорвата, а по требованию китайцев: сохраняется для будущего демокра-

¹ Непреодолимых обстоятельств.

² Главный исполнительный комитет (?).

тическая зацепка. Все это очень неприятно, так как показывает, что решительной перемены курса не будет.

Местные спасители из буржуев и разные комитетчики взволнованы отделением Семенова, идут совещания, собираются посылать уговаривателей и искать почвы для какого-нибудь соглашения.

21 мая. Подогреваемые местными большевиками рабочие митингуют, но, видимо, боятся выступить решительно, так как стало известно, что китайцы передвигают к Харбину новые войска и объявили, что делают это на случай новой забастовки. Все — и Хорват, и рабочие, и разные политиканы — как бы сговорились делать побольше, чтобы поосновательнее утопить здесь русское дело и дать китайцам побольше поводов сесть нам на шею, все как будто забыли, что за их спинами уже не стоит грозная Россия.

22 мая. Был в большом штабе местного главковерха; там очень недовольны адмиралом, который, по общему отзыву, ничего не понимает в военном деле и совершенно не желает считаться с наличной обстановкой; сейчас он требует немедленного похода на Владивосток и самых решительных действий; его кто-то на это подускивает. Кроме того, семеновские «лавы» распаляют воображение новых харбинских преторианцев — отряда полковника Орлова, — примкнувших, по-видимому, к адмиралу и признающих (правда, тоже постольку поскольку) местные военные власти; этим спасителям тоже хочется побед, но на своем собственном направлении; они определенно отказываются идти в подчинение к Семенову и всячески выставляют важность владивостокского направления.

23 мая. Между семеновцами и орловцами установились самые враждебные отношения. Харбин кипит; кандидаты в Наполеоны, Нессельроде, Фуше и другие политические персонажи носятся, высунув язык, стрекочут, махлюют и пытаются показать, что на них сейчас поконтят пуп земли и они единственный якорь спасения. Хорват по-прежнему не способен резко показать свой курс, организовать настоящую силу и погрузился в разные комбинации помирить все грызущиеся в Харбине партии и привести ссорящихся к какому-нибудь компромиссу.

Скверно то, что нет такой власти, которую бы все признали и которой беспрекословно повиновались бы; народили здесь много очень высокого по титулам и ок-

ладам начальства, но все принадлежат к печальной памяти класса «уговаривающих». Плешков улыбается, банкетирует, блистает и остается тем, чем был всегда, т. е. безобидной, никчемушной пустопорожностью. Адмирал, по-видимому, человек с норовом до полной неуравновешенности и взбалмошности; закидывающийся по пустякам; не способный спокойно и хладнокровно разобраться в сложной и поганой харбинской обстановке; непокладистый и колючий, понявший, по-видимому, что такое Семенов; не знающий совершенно военного дела, нашей организации, системы обучения и ломающий все по-морскому так, как подобает всякому адмиралу.

В результате у Хорвата нет помощников; даже хуже, так как от них только одни хлопоты и никакой пользы.

26 мая. В городе большое волнение по поводу слухов о том, что семеновский отряд отрезан большевиками от станции Маньчжурия и пробивается с тяжелыми боями. Случилось то, что было неизбежным исходом этого наступления. У пославших не шевельнется и тени упрека в том, что это их вина, что это результат их преступного легкомыслия и военной безграмотности.

27 мая. В высоких харбинских сферах крупные раздоры: Семенов открыто задирает «главнокомандующего адмирала», а семеновцы и орловцы ходят, натопорщившись друг на друга, как молодые петушки; наиболее задорные решили не отдавать чести враждебным организациям.

28 мая. Вчера весь Харбин находился в напряженном состоянии, так как определенно ожидалось вооруженное столкновение между семеновцами и орловцами. Сыр-бор загорелся из-за того, что адмирал приказал коменданту города арестовать какого-то зело нашкодившего в Харбине семеновца. Семенов в ультимативной форме потребовал освобождения своего опричника и, получив отказ, пригрозил арестовать самого главнокомандующего и, как говорят, даже отдал все для этого приказания.

Выходит, что сейчас по части дисциплины мы много хуже большевиков. И такие архаровцы позволяют себе выпускать декларации и обещать восстановить закон и порядок; их медные лбы не в состоянии расчухать, какой губительный пример подчиненным они дают своим бунтовщицким поведением.

29 мая. Когда начались неудачи в Забайкалье, Семенов очутился в Харбине, ибо того «требовало общее положение дел», как говорят его приспешники. На фронте наши войска хорошо знали цену тем начальникам, которые при катастрофе оказывались в далеком тылу «для докладов», «для выяснения положения» и т. п. Прибыв в Харбин, Семенов заявил, что он Колчака не признает, слушаться его приказов не будет и что все чины его, Семенова, отрядов подчинены только своему атаману и никому больше.

Создалось такое положение, что всю ночь адмиральский вагон охранялся орловцами и пулеметами, а стоявший недалеко семеновский поезд находился в боевой готовности, выставив пулеметы из окон и направив их на вагон главнокомандующего. Не то скверная оперетка, не то сумасшедший дом.

Отношения Колчака и Хорвата тоже очень натянутые: вчера Колчак заявил Хорвату, что не желает оставаться главнокомандующим и уходит, на что получил ответ о неимении к тому никаких препятствий.

Вслед за этим к Хорвату явилась депутация в составе Орлова, его начальника штаба Венюкова и консула Попова и в форме ультиматума потребовала, чтобы адмирал был оставлен на своем посту. Ультиматчики зазнались до того, что уже не способны сообразить, что они повторяют то же самое, что делали в прошлом году товарищи, когда требовали смены или оставления разных командиров, и что такие порядки — это гробы для настоящей военной силы.

Что ответил делегации Хорват, держится в секрете, но зато известно, что начальнику штаба охранной стражи полковнику Баранову приказано уехать в отпуск, так как адмирал потребовал его удаления, заявив, что иначе он прикажет его расстрелять.

Вся публика, примазавшаяся к харбинским штабам, устроилась отлично, получила казенные квартиры и содержание по высоким окладам.

Вообще типики такие, что «свежа история, но верится с трудом». Сегодня полковник Нилус рассказал следующий случай. Доманевский считает себя великопным чтецом и любит угощать гостей своих чтением; однажды он читал Надсона и разозлился, что состоящий при нем для поручений отставной судейский генерал Л., угощавший всех чаем, шумел стаканами; он

поднялся и, не говоря ни слова, дал Л. в зубы и продолжал читать: «Христос молился...»

Ну и иравы! Харбинское воспроизведение помещичьих привычек конца восемнадцатого столетия.

30 мая. Хорват очень неприятно влопался: он принял депутацию Совета профессиональных союзов -и, подлаживаясь к их тону, излил свои гражданские чувства, критиковал действия отрядов и, в общем, залез здорово влево. Коварные товарищи по окончании аудиенции точно восстановили и записали все его слова и сегодня пропечатали весь этот разговор в газете «Труд».

В этой беседе весь Хорват как на ладони; очень неделикатные оказались товарищи; знающие свое начальство управленцы говорят, что многолкий и здесь вывернется, будет молчать, как будто бы ничего не случилось, а потом все забудется, ибо каждый день несет свежую сенсацию и заставляет быстро забывать старье.

31 мая. На фронте Семенов — Колчак тихо, кривая напряжения пошла книзу. По-прежнему только пьянство и скандаль. Атамань и их старшие персонажи дивят посетителей харбинских кабаков своими кутежами, оплачиваемыми десятками тысяч рублей.

1 июня. Началось торжественное выступление орловцев, или, как их здесь называют, «колченогих», на станции Эхо и Пограничную для дальнейшего завоевания Никольска; говорят, что на этом настоял адмиральский штаб, которому тоже хочется военных лавров. Грозные спасители двинулись на восток со всеми семьями и всем скарбом, но почти без патронов, которые в отрядах растеряли, а как говорят злые языки, просто распродали, потому что патроны сейчас в большой цене (до нескольких рублей за штуку).

Улицы Харбина дымят пылью относящихся автомобилей разных спасителей с разнообразными флажками; всякое революционное начальство начинается обыкновенно с автомобиля.

Потапов, живущий в одной гостинице с харбинским посланником Семенова, полковником Скипетровым, рассказывает, что как только Скипетров напьется (а это бывает почти каждый день), то сейчас же требуются казенные автомобили, добываются девки, и бещеное катанье продолжается до утра.

2 июня. У нас продолжают бесчинства. В ответ на арест одного семеновца, обвиняемого в грабеже и мошенничестве, Семенов приказал захватить начальни-

ка первого отдела охранной стражи генерала Марковского. Семеновцы в 4 часа утра ворвались в квартиру М. на станции Бухеду и, не найдя его дома (он был в Харбине), перерыли все вещи и залезли даже в спальню жены генерала; когда же последняя указала им на грубость их поведения и добавила, что когда в Иркутске их обыскивали большевики, то оказались вежливее и не входили в ее спальню, то производивший обыск крикнул, чтобы она не читала им нотаций, а то они с ней разделаются так, что она навсегда разучится это делать.

3 июня. Адмирал остается главнокомандующим; таков результат несколькихдневных совещаний, визитов, переговоров, уговоров и соглашений.

6 июня. В штабе адмирала говорят, что Колчак собирается ехать опять в Месопотамию, поступить на службу к англичанам и там бить большевиков и турок; говорят, он вызвал желающих ехать туда же офицеров, но таковых не оказалось; среди местной слякоти мало охотников рисковать жизнью и, во всяком случае, идти на большие лишения; куда выгоднее ничего не делать, жиреть и безобразничать здесь без риска и опасности.

Я не видел ни разу Колчака; все его очень ругают за его вспыльчивость и грубость, но то, что он рвется отсюда, показывает, что он лучше здешней своры; кроме того, никто не может упрекнуть его в том, что он ищет чего-то для себя лично. Но бесспорно одно, что он абсолютно непригоден к тому месту, на которое его кто-то выпихнул, так как у него нет ни одного качества, которое для сего требуется.

8 июня. Орловцы по прибытии на станцию Эхо ознаменовали свое грандиозным пьянством с битьем посуды и ораннем «Боже, царя храни»; как это глупо и неуместно; истинные монархисты должны понимать, что всякое открытое выступление — это лишний шип в тот терновый венец, который несет сейчас вся царская семья, истинные монархисты должны делать все, чтобы заставить красных забыть о Тобольске, считать дело монархии навсегда конченным и государя для них абсолютно безопасным; дело же свое творить в великой тайне.

Главверхи и главкомы спокойно смотрят на такие возмутительные вещи, как наличие двух оркестров музыки в отряде Орлова численностью всего в 200—300 штыков.

9 июня. Здесь готова начаться настоящая междоусо-

бица: Хорват сместил Колчака с должности главнокомандующего и приказал ему сдать должность Плешкову, а Колчак отказался это исполнить и заявил, что если его попробуют тронуть, то он вызовет «верные ему войска». На замечание, что это может вызвать кровопролитие, бурный адмирал, находясь в состоянии полного шторма, ответил: «Ну, и пусть будет кровопролитие, но распоряжаться всей здешней сволочи я не позволю».

Хорват, отдав приказ о смещении, сейчас же уехал в Пекин, предоставив Плешкову расправляться с буйным адмиралом; ну и нашел Хорват кому поручить такое щекотливое дело.

Аитураж Плешкова, ненавидящий Колчака, весь день уговаривал его отдать приказ о вступлении в должность и о состоявшемся отрешении адмирала, но не любящий никаких осложнений Плешков отказался это сделать и заявил, что будет ожидать возвращения Хорвата. Все это было бы очень смешно, если бы не было так бесконечно печально; вся судьба России на Дальнем Востоке болтается в таких дряблых, бесхарактерных, увертливых или ненормально бурных руках.

Приехала группа депутатов японского парламента, чтобы на месте пощупать общественное мнение по вопросу о выступлении Японии для оказания России помощи против захвативших ее большевиков; военные круги Японии очень хотят такого выступления.

10 июня. На верхах продолжается скандальная и безотрадно печальная свара. Хорват, вернувшись из поездки в Пекин, сказался больным, но адмирала все же принял. Говорят, что свидание было очень бурное, но в результате на вопрос начальника штаба генерала Хрещатицкого, в каком положении вопрос об уходе Колчака, Хорват ответил: «Надо потерпеть».

Так и остается на поучение войскам и на потеху врагам, что отданный Хорватом приказ не исполняется его ближайшими помощниками: одним по бурной недисциплинированности, а другим по дряблой нерешительности. Неужели же этот триумвират не в состоянии понять, что они делают и какой пример они подают своим подчиненным?

Дряблость и дразги наверху, разбойная и вороватая атаманищина под японским, по-видимому, соусом посередине, разгул, распутства и постепенное разложение на

почве белого большевизма внизу... безнадежная картина!

12 июня. Характерный разговор передал мне сегодня полковник Акнintьевский: является в штаб российских войск семеновский представитель, полковник Скипетров, и заявляет, что если не будет выпущен арестованный по приказу Колчака прапорщик Борщевский, то он, Скипетров, прикажет арестовать двух офицеров орловского отряда. Начальник штаба вместо того, чтобы арестовать такого заявителя, передает его требование адмиралу, от которого получается ответ с приказом в случае ареста двух орловцев арестовать трех семеновцев. Это объявляется Скипетрову, который со словами: «Ну, а я буду арестовывать всегда на одного больше», — уходит из штаба.

Ведь это какой-то гнусный фарс, а не настоящие штабы и начальники; разве может выйти что-нибудь прочное из такой распути и мерзости?

13 июня. Видел помощника Семенова по военной части и его родственника генерала Семенова, которого знаю давно по службе на Дальнем Востоке; высказал ему свое убеждение в огромном вреде, приносимом делу восстановления России появлением атаманов и разводной ими атаманины; высказал также свое мнение о том, что если бы Харбин не начал муссировать антибольшевистское движение и не совал бы на шею Забайкалью Семенова, то вся область с началом полевых работ успокоилась бы, и тогда умело выбранное и деловое войсковое правительство могло бы взять в свои руки власть и найти опору в зажиточном, домовитом казачестве; высказал также свое удивление, что со столь ничтожными силами его атаман пускается в дальние и сложные операции; ведь они не могут даже начать против красных малую войну, ибо симпатии населения не на их стороне, а на сочувствии немногочисленной и редкой по дислокации городской буржуазии далеко не уедешь.

Генерал уклончиво полусогласился с моими замечаниями, но упорно стоял на том, что атаману надо занять Читу, так как это сразу произведет на все население области очень сильное и благоприятное для него впечатление.

Для предоставления квартир высокому начальству и штабам выгоняют из насиженных домов старых слу-

жащих и создают им этим среди последних озлобленное настроение.

14 июня. Бестолочь и сумбур продолжаются, и нет никакой надежды на их прекращение. В результате тот самый Дальний Восток, откуда могла и должна была прийти смерть большевизму, становится для последнего все менее опасным, ибо здесь гноится все то, что должно было создать сибирскую белую военную силу.

Ведь даже разумный и беспристрастный правый, приглядевшись к Харбину и атаманам, брезгливо отшатнется от какого-либо здесь сотрудиинства, ибо ничто не может заставить сочувствовать этой грязи; тут и изменить даже ничего нельзя, ибо против искренней идеи порядка и закона поднимаются чудовищно разросшиеся здесь подлость, трусость, честолюбие, корыстолюбие и прочие прелести.

16 июня. Китайцы частно сообщили штабу охранной стражи, что, по донесению их маньчжурского начальника, семеновцы в беспорядке бегут к станции Маньчжурия, потеряв часть артиллерии; это известие подтверждено при разговоре с китайским генералом Тао, выразившимся, что положение семеновцев очень скверное и что он приказал сосредоточить свои войска к границе; говорят, что китайцы готовятся разоружить всех, кто перейдет в их пределы с оружием в руках. При всей печальности такого исхода, быть может, он был бы единственным для нас выгодным, дав возможность начать организацию войск на других началах.

17 июня. На востоке тоже началась наступательная оперетка; кандидат в уссурийские Семеновы есаул Калмыков с несколькими десятками человек перешел границу, дошел до Гродековских туинелей, но затем благополучно ретировался. Адмирал приказал усилить Калмыкова только что формируемыми ротами отряда Маковкина, самым невероятным сбродом из русских кандидатов в хулиганы и приманенных деньгами весьма хунхузистых китайцев.

Китайцы заявили, что никаких русских войск из Харбина на восток не пустят, а когда ехавший во Владивосток английский военный агент согласился прицепить к своему поезду несколько вагонов с солдатами ротмистра Враштеля, то китайцы задержали весь поезд. Поистине правы китайцы, когда на старый оклик «ходя» они высокомерно отвечают: «Ну, теперь это твоя ходя, а моя капитана».

Вся свита Хорвата кричит о необходимости немедленного расформирования всех отрядов. Поздненько спохватились, господа; нечего теперь кудахтать, так как вы сами понаделали российских хунхузов и белых большевиков, загнав в их гноища бесприютную и искавшую подвига молодежь. Выходит, что сердце длиннорободой дряблости вернулось из командировки в атаманские ставки.

Проявите хоть сейчас железную решимость и используйте наличную обстановку, дающую возможность ликвидировать наиболее опасную семеновщину, а для этого закройте ей все способы грабить и существовать; создайте свои прочные части и привлечите в них все, что есть порядочного в семеновском отряде.

В Харбине определенно говорят, что идея создания атаманов принадлежит триумvirату из жены Хорвата, консула Попова и начальника военного отдела генерала Колобова; последний является духовным родителем создания на границах полосы отчуждения «кулачков», которые в разных местах били бы по большевикам и не давали им покоя. Нелепая по сущности идея была одобрена комитетом защиты родины и Учредительного собрания, думавшим, что это спасительное средство спасает капиталы богатых заправил комитета (теперь они, кажется, почувяли уже, что сня опасность не исчезла, а удвоилась и стала очень близкой).

Всех этих авторов, вдохновителей и подстрекателей следовало бы отдать на сутки в распоряжение ближайшего совнаркома в расплату за кровь русской молодежи, пролитую и проливаемую для осуществления всех этих ахней и корыстолюбивых вождений, и за тот колоссальный вред, который уже нанесен ими делу русского возрождения здесь, на Востоке.

18 июня. Под влиянием трусливых опасений о возможности возвращения сюда совдепских гераклидов в Харбине начались какие-то демократические совещания по выработке обращения к союзникам с призывом о помощи.

Удивительный народ эти харбинцы, воображающие себя пупом русской земли! Они думают, что достаточно им собраться, поболтать и, попив чайку, руками какого-нибудь борзописца настрочить хлесткую и жалостную резолюцию, и сейчас же зашевелиятся спящие деды — союзники, двинутся корпуса, и поплывут корабли. Надо было раньше иметь голову на плечах.

21 июня. Состоялось демократическое совещание; как и следовало ожидать, все пролетарские представители заявили протест против приглашения союзников и ушли из заседания; в этом они искренни, ибо понимают, что с прибытием союзников конец всяким надеждам на восстановление здесь союда; тут их не проведешь никакими демократическими вывесками и никакими туманными резолюциями; они отлично сознают, что демократия, Учредительное собрание, народоправство и прочий словарь — это одна бутафория, от которой им, кроме шишек на лбу, ничего не причтется.

Скверно то, что наша буржуазия не способна говорить прямо и открыто, что она хочет восстановления закона и порядка; скверно то, что она не понимает, что ей необходимо многим поступиться, многое пожертвовать и определенно, решительно, бесповоротно об этом заявить. Нужна открытая и честная деловая сделка, а не полужульнические с обеих сторон фигли-мигли.

22 июня. В газетах появились выдержки прений, происходивших на демократическом совещании; рабочие, профессиональные союзы и отдельные национальные группы высказались против приглашения союзников; ничего патриотического или национального в этом протесте нет, так как под ним кроется только боязнь потерять все «завоевания революции». Приглашительная резолюция принята одними ценизовиками, т. е. получилось то, что следовало предвидеть еще до созыва этого никчемного совещания; в результате убедились еще раз, что население расслоено на два непримиримых лагеря; которые не согласить между собою никакими демократическими соусами. Нужно много времени и тяжчайших испытаний для того, чтобы сгладить острые, торчащие из каждого лагеря углы и острия, чтобы исчезло свирепое недоверие и сделалась возможной какая-нибудь средняя линия прочного и искреннего соглашения. Сейчас же народные массы более чем когда-либо подозрительны ко всему, что идет из буржуазного лагеря; они понимают, сколько потеряли «господа».

23 июня. Косолапые и «неуминые» действия наших «правительств» напоминают фарс на тему из жизни экзотических республик; каждое из правительств ищет верноподданных путем самых заманчивых посулов, пыжится вовсю и пытается доказать, что оно — самое настоящее и законное, сильное и популярное, и если еще не гремит вовсю, то только из снисходительности и в ожи-

данни, что слепые прозрят, маловерные познают и принесут покорность.

Забайкальское правительство Семенова сидит на китайской территории, под защитой китайских войск; не может носа сунуть на территорию, правительством которой именуется, но декларирует законы, назначает министров и должностных лиц. Появилось и амурское правительство, приступившее к формированию своих войск, куда, как гласит объявление, «с согласия генерала Хорвата» приглашаются желающие.

26 июня. Местные газеты сообщили о решении союзников помочь России путем военного вмешательства в дальневосточные и сибирские дела. Наши «правительства» и комитеты зашевелились и заерзали перед местными иностранцами представителями; у многих текут слюнки от предстоящих возможностей попасть на первое место.

В контроле мне рассказывали, как расхищаются на станции Маньчжурня груженные вагоны; семеновцы реквизируют все, не брезгая ни галантереей, ни дамскими ботинками. Станционное начальство, таможня и грузовладельцы молчат, ибо знают, что поднявшему крик грозит прогулка в Даурские сопки, откуда уже нет возврата. Но почему молчит Хорват и допускает такой грабеж, совершенно непонятно.

Содержимое вагонов продается близким к атаману и его главным приспешникам за десятую и меньше часть стоимости.

27 июня. Упорно говорят, что большевизм в Сибири свержен и там уже у власти стоит новое сибирское правительство. Если это верно, то союзное вмешательство более чем необходимо, дабы под его впечатлением в первый же период дать новой власти окрепнуть и создать необходимейший государственный аппарат. Я очень надеюсь на Сибирь, на ее солидарность и уравновешенность и на то, что среди коренных сибиряков наберется несколько десятков честных людей, способных установить власть определенную, твердую, законную и для населения полезную. Только бы не играли в демократию и не боялись отобрать у масс те опасные игрушки, которыми те завладели; будут неудовольствия, будут восстания, но первые надо перетерпеть, а со вторыми справиться — тогда через несколько времени все перемелется.

28 июня. Здесь задержано 29 вагонов кожи, рекви-

зированных Семеновым на станции Хайлар и проданных какому-то спекулянту; они следовали как военный груз с оплатой по военному тарифу.

И всего этого недостаточно для того, чтобы принять решительные меры против грабителей; ведь все знают, что добываемые этим путем деньги идут преимущественно на те дикие кутежи и роскошную жизнь, которыми прославляют себя все атаманские прихвостни. Доколе же, о Хорват, ты будешь оставаться дряблой тряпкой?

29 июня. Вчера в кабаке Палермо происходило очередное грандиозное пьянство наших спасителей, закончившееся стрельбой и убийством семеновского офицера хорунжего Кабанова, имевшего какое-то причастие к продаже вагонов; при поднятии трупа Кабанова в его карманах нашли 130 тысяч рублей.

Нравы самые откровениые; родственник моего beau frèr'e'a, служивший писарем в одной из батарей, рассказывал, что там делается по части хозяйства; все стараются набивать карманы, не останавливаясь ни перед подложными счетами, ни перед сотрудинчеством с самыми грязными аферистами. Зато все кутежи относятся на счет хозяйственных сумм. И в такой гнусной и воровской обстановке готовится на службу родине наша зеленая молодежь!

30 июня. Колчак уехал в Японию; считают, что этим весь инцидент исчерпан. О том, что не исчерпаны его вредные последствия и его гибельный пример, никто не думает. Не хватило даже совести воспользоваться переменной лица и упразднить нелепую должность главнокомандующего, а также расформировать части, состоящие из начальства, штаба и хора музыки.

1 июля. Инцидент с задержанием вагонов с кожей грозит сделаться злобой дня. Семеновские представители, обеспокоенные слишком громким скандалом, заявили, что их атаман выслал в Харбин особого уполномоченного — ревизора, чтобы разобрать это дело.

Ревизору для внушительности дана целая сотня семеновских башибузуков — испытанное средство для того, чтобы у многих отшибло память и засохли языки и они не были слишком говорливы; здесь весь Семенов. Несмотря на все видимые атрибуты власти, защиты и помощи получить не у кого.

3 июля. В районах Никольска и Владивостока идут бои между чехословаками и большевиками; о том, что

успех должен быть на стороне первых, не может быть ни на минуту сомнения.

Какое горе, что у нас сейчас вместо организованной силы опереточные правительства, опереточные главкоплечи и опереточные по своему боевому значению, но очень грозные по своей распушенности и по царящей среди них жажде реванша и мести отряды.

Попыткой задержать чехословаков Троцкий дал нам все козыри и сам родил ту силу, которая способна раздавить его красную мразь.

Но если то, что зародилось в Харбине и сгноено в разных отрядах, полезет на русскую территорию, то население скоро пожалеет об ушедших большевиках, — конечно, черное население, которого большевики почти не трогают, но которое больше всех затреплет от наших спасителей.

4 июля. Определенно сообщается, что во всей Западной Сибири власть совдепов свергнута; страна возвращена к порядку и законности, и установлено новое сибирское правительство, имеющее уже свою армию.

5 июля. Ночью штаб российских войск во всем своем многолюдстве изволил отбыть на станцию Пограничная, как на начальный этап будущего движения в пределы Приморской области.

7 июля. Вечером Хорват «отбыл на фронт», так называется теперь станция Пограничная; местные полководцы очень горды образованием «собственного фронта», так как с самоопределением Семенова они остались при одних тылах, а между тем иметь свой фронт считалось и считается необходимейшим аксессуаром для всякого большого тылового героя.

На этом новом фронте уже началась свара: мелко-разбойничий подголосок Семенова Калмыков, к которому за последнее время набежало в чаянии предстоящих благ много разной вольницы, тоже самоопределился, заявил, что Плешкова он слушаться не желает, а с Орловым действовать совместно не будет. Посему и написали сладкоглазливому соглашателю в надежде, что он как-нибудь помирят собравшихся на Пограничной лебедя, рака и жуку.

8 июля. Проснулись сегодня сразу при двух правительствах: во Владивостоке — сибирское (видимо, какой-то дубликат), а у нас, поднимай выше, — всероссийское с Хорватом во главе и с помощниками ему в

лице избранных деятелей дальневосточного комитета и прочих «известных всей России лиц».

Правительства натопорщились друг на друга и уже собираются одно другое арестовать.

Хорват и члены правительства, отбывшие на фронт, везут с собой «манифесты о принятии на себя всей полноты власти» для торжественного объявления его в Никольске. Форменная оперетка да еще с третьеразрядными исполнителями! Близкие «правительству» деловые круги радуются в предвкушении бешеных выгод, связанных с «принятием всей полноты» друзьями и обязанностями.

Теперь становятся ясны все махинации последних дней: удаление Колчака, вывод орловцев, образование Восточного фронта и пр. Все это были «приготовительные упражнения», а ныне сразу выпалили из сорокадвухвершковой мортиры «бойбой» в виде всероссийского правительства.

9 июля. На «фронте» невероятный кабак; все хотят распоряжаться, но никто не хочет повиноваться. Калмыков, по донесению полковника Акинтиевского, обнаглел до недопустимости; главнокомандующий и правительство делают вид, что сего не замечают.

10 июля. В местных газетах появились указы временного правительства автономной Сибири, родившегося во Владивостоке, жалкие подражания разным керениадам с теми же демократическими и революционными всхлипываниями.

В частях войск сохранены комиссары с назначением на эти должности каких-то неведомых прапорщиков, очевидно с громким рреволюционным прошлым.

11 июля. С вечера по городу расклеены обращения к населению от лица народившегося временного правительства всей Руси, возглавляемого временным правителем генералом Хорватом.

Населению объявляется, что господин Хорват решил «принять на себя всю полноту государственной власти». Видимо, пример Семенова заразителен; если он обавтономился на забайкальском звании, то отчего же Хорвату не хватить в том же духе, но уже во всероссийском масштабе.

Актив у обоих претендентов почти одинаков, и если у Хорвата больше нравственного и международного авторитета, то у забайкальского Гришки больше дерзости, решительности, да и его орды, пока он их кормит, его

слушаются; денежные средства тоже из родственного источника: у одного секретные позанмствования из кассы К.-В. железной дороги, а у другого явный грабёж вагонов и грузов той же дороги.

Сфабркованный ещё в Харбин манифест собирались объявить в Никольске, но чехословаки не пустили туда новоявленное всероссийское правительство, пришлось ограничиться единственной доступной станцией Гродеково, благо, что она пришлась на русской территории. Веселенькое начало для всероссийского правительства.

Злые языки говорят, что новоявленный правитель, — это только ширма, за которой распоряжаются его собственные супруга, консул Попов и японский майор Араки — комбинация для меня совершенно непонятная.

Отряд Орлова расформировали; по хозяйственной части там обнаружена растрата до полумиллиона рублей. Как обидно, что вовремя не произвели такой же операции и с другими отрядами, насколько все здоровое и разумное было бы теперь легче к осуществлению!

12 июля. Продолжается представление не то харбинского «Ревнзора», не то «Тушинского вора», но только в ярко опереточных полотнах. Правитель и министры державы Российской сидят в Гродекове, так как дальше вход им воспрещен чехами.

13 июля. Правительство продолжает сидеть в гродековском карантине; для местных борзописцев представляется отличный случай написать фарс на тему «Гродековское действо», или «Не спросясь броду, не суйся в воду», с фанфарами, куплетами, нотами и с переодеванием разных многостных государей в министры.

Но Харбин лнкует; перед оголодавшими аспирантами открылись вереницы должностей министров и их товарищей, директоров, главноуправляющих, губернаторов и пр., и пр.; все считают, что как патентованные спасатели они должны быть возведены в первейшую очередь. Временами только смущаются сердца невыясненностью отношений с чехословаками и непонятием молчанием союзников.

14 июля. Правительственные круги уверяют, что у них достигнуто полное соглашение с чехами. Для новоявленной власти стыдно, что все это не было сделано раньше; надо было понимать, что нельзя начинать создание власти с того, что поставить ее в смешное и нелепое положение; надо было додуматься раньше, что

без чехов и без союзников немислима никакая власть.

15 июля. Продолжение грустного фарса. Всероссийское правительство жарится в вагонах на запасных путях захолустной станции Гродеково (за границей потратят немало труда, чтобы отыскать на карте, где находится сия колыбель новоявленной всероссийской власти); в районе Никольска временная Чехословакия, а дальше, во Владивостоке, сидит сибирское правительство, так же относящееся к Сибири, как Хорват относится к России.

16 июля. Настроение среди рабочих определению против гродековской комбинации; никакие манифесты и излияния не могут уверить их, что все это делается в их пользу.

17 июля. Сведения, полученные из Владивостока, рисуют тамошнее положение в пестром и нерадостном виде. Чехи выгнали большевиков, но затем объявили, что они не враги народу и что если и арестовали большевистских главарей, то только для того, чтобы избавить их от расправы.

Сибирское правительство признано только местными ценизовиками, еле держится и представляет из себя такую же смешную и нелепую фигуру, что и гродековская комбинация.

Разрешенные чехами похороны большевиков, убитых во время переворота во Владивостоке, обратились в крупную пробольшевистскую демонстрацию. Чешская демократическая размазня мне очень не нравится; ибо чехам приходится сейчас играть решающую роль в первом периоде нашей реконструкции, ибо они единственная здесь реальная, организованная и сплоченная сила. Защитники чехов уверяют, что последним приходится пока считаться с большевиками, так как их эшелоны еще не пробились через красную завесу; это что-то очень искусственное.

22 июля. Гродековское правительство начало свою реконструктивную деятельность архиндиотским распоряжением о движении в приникольский район карательных отрядов для усмирения населения и отобрания у него оружия. Это отшибает последнюю надежду на то, что из этой комбинации выйдет что-либо путное. Тут, очевидно, работа не самого Хорвата, а состоящих при нем советников, по части самого крутого реванша и расправы. Воображаю, каких делов наделают там харбинские спасители, у которых уже полгода чешутся руки по

части усмирения и показания кузькиной матери; они создадут Хорвату такую рекламу, что население бросится лучше на сторону самого черта, чем главы таких усмирителей.

Какую-то деревню эти герои больших дорог уже сожгли — этим они сожгли целый шанс на восстановление России, ибо эта нелепая жестокость никогда не забудется той властью, которая ей приказала и ее допустила; очень больно, что среди усмирителей часть наемных китайцев.

Неужели у Хорвата и его министров так мало мозгов, что они не могут понять, что с их несколькими сотнями вольницы, сдобренной наемными хунхузами, можно сжечь одну-другую деревню, перепороть несколько десятков крестьян, но делать это можно, имея чехов впереди и китайские войска сзади? Такие безумные распоряжения губительны, ибо порядка восстановить не могут, но зато поднимают за собой бурю ненависти и желания отомстить; последнее вполне осуществимо, ибо насильники не так уж сильны, а со времен революции население привыкло к тому, что начальство можно хватить и дубьем, коли оно не ирравится или колется.

Самое же скверное то, что такие дикие выходы вконец губят самую идею новой власти, ибо ярко показывают населению, что несет ему эта власть, сливающаяся немедленно в его представлении с возвращением старого режима и новой мести.

Господа, схватившиеся за власть, ошатели и думают, что все старое вернулось обратно и им можно управлять и расправляться по прежним полицейским шаблончикам и по заветам Держиморды; они забывают, что сейчас в их распоряжении нет ни армии, ни полиции, ни всех средств государственного аппарата, но зато против них стоит все то, что привила населению революция, — свержение и развенчание всех бывших богов и разложение многих задерживающих центров.

Весь трагизм и вся безнадежность положения и заключается в этой неспособности разумно учесть все происшедшее за последние полтора года. При таком начале приходится очень бояться, что хорватовщина России не устроит и из ямы, куда последняя свалилась, ее не вытащит.

Пока что два правительства сидят на концах Приморской области, обливают друг друга помоями и уязвляют

разными разоблачениями — поучительная картинка для будущих подданных!

23 июля. Самойлов назначен начальником тыла всех российских войск; видел у него проекты всех штатов и сметы расходов; цифры получились весьма внушительные: только по интендантской смете на полгода требуется 150 миллионов рублей. Все штаты раздуты до невозможного; имеется даже управление запасной бригады, в которой нет, да и не будет, вероятно, ни одного солдата, но зато есть два генерала, несколько адъютантов и бригадные: врач, священник и пр., и пр. Бригада эта придумана нарочито, чтобы устроить некоторых лиц, пронирыливые молодцы прямо выдумывают для себя должности, сами составляют штаты, пишут проекты приказов о своем назначении и проводят все это с молниеносной быстротой.

Назначения идут по принципам керенщины, т. е. независимо от стажа, а по изволению власть имущих.

Количество личных адъютантов, этого мерзейшего отзвука старого прошлого, грозит сделаться анекдотическим.

Умножились весьма и вертхвостки, именуемые для приличия сестрами милосердия (на одну настоящую рабочую сестру приходится штук девять таких кузниц); это нарочитое удобство для женолюбивого начальства. Хоть бы вспомнили, какую ненависть навлекло на себя на фронте начальство и офицерство самым бесцеремонным развратом с этими авантюристками, замаравшими святой образ настоящей сестры.

В угаре надежд, поднятых свержением в Сибири большевизма, померкли уроки прошлого, и все жадно тянутся к старым источникам кормежки, благ, преимуществ и наслаждений; все чавкают оголодавшими челюстями, выпускают похотливую слюну и не способны видеть будущего — темного, грозного, неизвестного.

24 июля. Владивостокские газеты подтверждают своими сообщениями, что в Приморской области царит невероятнейший хаос; самые разноцветные и разноплеменные влияния и комбинации распоряжаются, приказывают, указывают, но слушаются только японцев и чехов, ибо за приказами тех и других стоят внушительные кулаки.

Харбинский «Вестник Маньчжурин» задыхается от славословий временному правителю и изощряется в фабрикациях самых розовых известий. Приехавшие с

«восточного фронта» с увлечением рассказывают, как расправлялись победоносные харбинские спасители с непокорным населением и как отдавали на расправу немным китайским солдатам захваченных большевиков; подлые харбинские реваншисты захлебываются от наслаждения.

26 июля. Всероссийский правительственный курьер продолжает болтаться на запасных путях станции Гродеково; положение стало настолько иелепо, что даже харбинские хорватовцы закисли; наиболее оптимистичные продолжают распинаться на тему, «что такой осторожный и умный государственный (с каких это пор?) деятель, как Хорват, никогда бы не рискнул на предпринятый им шаг, если бы все не было прочно обеспечено; очевидно, что вопрос в каких-то деталях и надо потерпеть».

28 июля. Во всей линии воцаряется полная реакция со всеми скверными нажимами старого режима; «слово и дело» поручено старому полицейскому ярыжке, а ныне главному confidentу Хорвата подполковнику Арнольду.

29 июля. Самойлов, ездивший опять в «ставку», передал мне предложение Флуга, назначенного Хорватом военным министром, принять участие в работе министерства. Не знаю, что и ответить; отказываться неудобно, так как могут счесть за нежелание служить общему делу, а кроме того, быть может, даже и в этой белиберде можно принести какую-нибудь пользу; но вместе с тем не знаю, каково положение самого Флуга и насколько он в состоянии проводить свои взгляды, а следовательно, и насколько я смогу проводить свои, которые так сильно расходятся с таковыми же главных птенцов гнезда Димитриева. У них все тру-ла-ла, ура и самопропитание.

Опора всероссийского правительства — отряд полковника Маковкина, состоящий наполовину из китайских хунхузов, взбунтовался, и китайцы разбежались, унеся с собой оружие и снаряжение. Недурна армия самодержцев всея гродековской станции и ее запасных путей.

31 июля. На политической бирже с «гродековскими» и «хорватовскими» без перемен. Разговоры об интервенции продолжаются, не приводя ни к чему реальному; впрочем, реально то, что каждый день увеличивает развал России и дает отсрочку большевикам для упрочения своего положения и уничтожения инакомыслящих.

Семенов под давлением большевиков отбыл на стан-

цию Хайлар. Вот когда бы всероссийскому правителью по текущей безработице показать свою решительность и ликвидировать раз и навсегда остатки атаманищны, гибельного влияния которой на восстановление государственности могут не понимать только идиоты и не видеть только уклончиво слепые или заинтересованные сами в этой мерзости.

1 августа. В гродековской кухмистерской продолжается создание должностей для приятелей, родственников, длиноязычных политиканов и пролаз; появились уже многочисленные краевые инспектора. Избранные, устроившиеся и жаждущие образуют восхитенный хор неумолкающих псалмопевцев, день и ночь до хрипоты возносящих хвалу «создавшему вся».

Для честных людей картина весьма отвратная и по своему внутреннему значению безнадежно грустная, ибо сожрать эта клика может что угодно, но восстановить, конечно, может только самые гнусные стороны старого, ну а этот номер теперь не пройдет.

2 августа. Газеты Приморья все время журчали об отрезвлении народных масс, познавших всю сладость большевистского управления. Сегодня владивостокские газеты сообщают, что на только что состоявшихся выборах в городскую думу большевики получили большинство — 54 голоса из 91. Оправдываются тем, что большевикам помогла очень скверная в день выборов погода, так как буржуазия предпочла остаться дома в то время, когда рабочие слободки шли на выборы почти поголовно. Как это характерно для поведения наших еще мало битых революцией буржуев; только что свергнута красная власть, нужно всем взяться за то, чтобы выдвинуть лучшие силы и с ними начать строить новую жизнь, но... идет сильный дождик, господа буржуи боятся промочить свои нежные ножки и отдают смертельным врагам чрезвычайно важный общественный, политический и даже международного значения постсамоуправление городом Владивостоком. Сколько же еще красных встрясок надо этой слякоти, чтобы она очнулась и поняла, что так дальше нельзя!

Российские правители и их приспешники носятся взад и вперед между Харбином и Гродековым и только на экстренных поездках; иначе как с extra господа министры гродековского тупика и генералы несуществующих российских войск не ездят: в этом ведь специфическая сладость власти и реальное проявление своего про-

виденциального назначения. То, что все это обращает всмятку все движение по дороге, жрет жалкие запасы топлива и отбирает с графика локомотивы, никто из вновь вылупленных министров не думает — их мозги и сердца от таких несоответственных высоте их положения мыслей надежно застрахованы. Ну, что такое правильность движения пассажирских поездов или нормальный экспорт на Эгершельд сравнительно с тем, что какому-нибудь сановнику нужно проехать в Харбин или Гродеково по делу, не стоящему скорлупы от выеденного яйца! Достаточно повелеть.

Обыватели — из фрондирующих — не без ехидства подчеркивают факт весьма широкого пользования казенными автомобилями законными Юноами разных Юпнтеров местного Олимпа; указывают, что стоимость автоверсты перевалила уже за 15 рублей золотом и что болтание этих Юнои по лавкам харбинской пристани имеет очень мало отношения к делу спасения России.

3 августа. От ожиданий и не удовлетворенного до сих пор аппетита температура у местных реакционеров поднялась; некоторые впали в берсекерский раж и вызывают тении Реинейкампа и Меллер-Закомельского; напрасно они тревожат эти тени, так как у Семенова и Калмыкова уже воспитаны такие чемпионы по карательной части, перед которыми оба старых усмирителя являются белогубыми щенками.

4 августа. «Правительство» начинает приручать местную оппозиционную печать (примемы по этой части всегда одни и те же). Сотрудник газеты «Новости Жизни» некий Клиорни, очень злое перо, здорово пробирал Хорвата; тогда его пригласили в Гродеково, милостиво с ним беседовали, после чего он вернулся и написал очень благосклонную для гродековской комбинации статью. Злые языки называют даже, во сколько обошлась гродековской кассе вся эта поездка.

6 августа. Хорватский Харбин лнкует, так как официально объявлено, что 4 августа временный правитель и правительство прибыли во Владивосток.

Вечером официально сообщено о высадке во Владивостоке английского десанта, и опубликована японская декларация по поводу посылки войск в Сибирь; декларация очень туманная, что вполне естественно, так как японцам надо сохранить для будущего шансы толковать ее так, как будет для них выгоднее.

7 августа. Все чающие движения воды бросились во

Владивосток, чтобы не опоздать при раздаче теплых мест.

8 августа. Разговаривал с приехавшим с линии офицером, который рассказывал, что ежедневно мимо станции, на которой он служит, проносятся экстренные поезда; проходящие на восток эшелоны разных организаций невероятно безобразничают, никого не слушают, задерживают отправку поездов и на малейшее возражение угрожают поркой.

Один из начальников старших штабов, которого я спросил, зачем они так раздувают формирование высоких штабов и учреждений старших, для дела ненужных, должностей, ответил (он очень прям и откровенен): «Сие нужно для флага и для получения содержания: надо же как-нибудь кормиться».

10 августа. Правительство перебравшись во Владивосток без своей армии, которая осталась стоять на разъездах около станции Гродеково; при попытке этой «армии» продвинуться к Никольску у нее произошло столкновение с чехами, и есть убитые; виновником считают нетрезвое состояние начальника штаба российских войск генерала Хрещатицкого, который, как говорят, отрешен Хорватом от должности.

Идет такая нелепая неразбериха, что многие разумные люди, даже очень реакционно настроенные, начинают кукситься и терять надежду на улучшение.

Прибывшие из Владивостока говорят, что правительство сидит где-то на Эгершельде на запасных путях в самом нелепом положении, так как во Владивостоке имеется своя автономная власть в лице земской управы, объявившей себя единственно законным наследником всех исчезнувших правительств.

11 августа. Слухи о столкновении с чехами подтверждаются; говорят, что Хрещатицкий в разгаре кутежа приказал весьма решительному ротмистру Вращелю оттеснить чехословаков, закрывавших путь для движения на Никольск; при этом часть русских солдат отряда Вращеля отказались идти против чехов, за что их тут же нещадно выпороли; выпороть, конечно, следовало тех, кто отдавал такое приказание.

Из рассказа одного добровольца, прибывшего из Забайкалья, узнал от очевидца, какие безобразия там творятся; при выступлении в экспедицию прежде всего заботятся о запасах вина и кухнях милосердия, все растраты покрываются из казенных сумм; при малейшей

опасности начальство и штабы удирают на китайскую территорию, бросая мелкие отряды на собственное их попечение.

Газеты передают, что приморская земская управа обратилась к иностранным консулам с просьбой убрать из пределов Приморья хорватовские отряды, которые чинят над населением разные безобразия и насилия и жгут целые деревни. Земцы умело собрали и размазали единичные случаи, бросив скверную тень на все отряды белого знамени.

Таковы результаты дряблости Хорвата, не сумевшего не допустить посылки в пригородековский район карательных отрядов, составленных, как на грех, наполовину из китайских хуихузов. Вместо закона, порядка и хлеба новоявленная власть принесла с собой населению порку, сожжение деревень, расстрелы и насилия. Все, что сделано единичными недостойными представителями власти, ложится на самую власть; Хорват же не мог не знать, кого посылают в эти карательные и разоружительные экспедиции, и должен был понимать, что все будущее принятой им на себя власти будет зависеть от итогов первого ее соприкосновения с местным населением.

12 августа. Получил телеграмму от Флуга с просьбой приехать во Владивосток для переговоров; решил ехать, хотя мало надежды, чтобы я там мог пригодиться — слишком уж радикально расходятся мои принципиальные взгляды с тем, что там считается допустимым.

13—14 августа. Проехался в современном невероятно грязном и битком набитом вагоне. В пути встретили несколько чешских эшелонов: по внешности в большом порядке, но не имеют обозов, что привязывает их к железной дороге; артиллерии очень мало, а то, что есть, — образца 1900 года и еще древнее.

На Пограничной стоят наши эшелоны так называемого туземного полка; вид отвратительный, кругом невероятная грязь, по внешности какие-то подозрительные оборванцы; часть эшелонов приткнута на разъездах; кругом ни деревца, вокруг вагонов кучи отбросов и экскрементов; вагоны похожи на мусорные ящики; половина солдат состоит из хуихузов-китайцев, которые вследствие жары сидят и ходят в костюмах Адама.

И в то же время на ст. Пограничной стоят китайские войска, поразившие меня своим приличным видом и внешней дисциплинированностью.

Еще в Харбине бросалось в глаза, что китайцы в китайских войсках одеты по форме и внешне подтянуты, в то время, как китайцы-солдаты на русской службе ходят, напоминая фронтовых товарищей 17-го года, — грязные, оборванные, в расстегнутых шинелях, представляя собою каких-то босяков с Хитрова рынка.

На гродековской платформе целое гулянье; много подмазанных сестриц, больше бальзаковского возраста, окруженных роями юных и пожилых жеребчиков весьма расхлястанного вида. На Таловом разъезде стоит штаб российских войск, имея в хвосте два вагона с машинистками.

15 августа. Утром имел свидание с Флугом, который предложил мне место помощника военного министра с окладом 18 тысяч рублей в год.

В ответ на предложение высказал Флугу свое служебное сгедо, причем заявил, что основанием всего считаю немедленное упразднение всех вольных организаций и атаманов и переход на планомерное, неторопливое создание новой армии, начав с приведения в порядок казарм, сформирования школ и учебных команд, реального разрешения всех вопросов довольствия; по современной обстановке необходимо обставить офицеров и солдат фамым заботливым образом и наладить весь уклад так, чтобы сразу же можно было ввести части в строгие рамки устава внутренней службы, этого основания дисциплины и порядка. Нельзя ввести новые части в разгромленные казармы и требовать от них порядка.

Флуг ответил, что и он и Хорват того же мнения, но что нельзя рвать все уже образовавшееся сразу, а надо ждать, пока все это изменится само собой. На это я возразил, что с такой тактикой согласиться не могу, так как каждый день существования атаманщины укрепляет ее положение, привязывает к ней молодежь, распускает, развращает и гноит последнюю.

И красный и белый большевизм — это смертельные внутренние опухоли, и против них нужна немедленная операция. При наличии атаманских вольниц и атаманов, не признающих ничьей власти, невозможно создавать что-либо здоровое и прочное, так как большинство предпочтет болтаться и наслаждаться у атаманов, чем служить и трудиться у нас.

Вернувшись от Флуга, несколько часов думал, на что решиться; несомненно, что моя программа не пройдет,

а в таком случае нет никакой надежды на успех предстоящей работы.

После долгой борьбы решил пожертвовать возможным благополучием для семьи и отказаться; написал Флугу письмо, поблагодарил за доверие, высказал причины, заставляющие меня уклониться от предлагаемого назначения.

16 августа. Из разговоров со старыми сослуживцами узнал, что все разговоры о сильной и дисциплинированной армии приморского земства такие же мыльные пузыри, как бахвальство атаманов их отрядами; как и везде, здесь налицо только штабы, а штыков — как кот наплакал (в двух полках по 200—300 штыков, а в остальных налицо только штабы).

От Латкина узнал подробности «геройского взятия отрядом гардемаринов большевистского парохода у устья Сунгари». С этим очень носились в Харбине и чествовали участников, награжденных за это дело георгиевскими крестами.

На пароходе ехал подчиненный Латкину таможенный чиновник, подавший рапорт, в котором описывает безобразия и насилия, учиненные героями при захвате несопротивлявшегося парохода; по «обстоятельствам момента» рапорт оставлен без движения.

17 августа. Начатые формироваться полки тают с каждым днем, так как молодежь тянет к Калмыкову; здесь очень скучно, установлены занятия и очень донимают тяжелые караулы, а в отрядах веселье, разгул и ничегонеделание; немногие уходят, ища подвига и боевой жизни, а большинство ищет, где легче служить и больше платят.

Из многочисленных сообщений из самых разнообразных источников несомненно, что вторжение в пределы края хорватовских хунзухов и их усмирительные меры и сожжение деревни Нижняя Девица принесли для белой идеи самые печальные результаты. К Хорвату население отнеслось сначала безразлично, но после учиненных насилий, умело размазанных большевиками и эсерами, все приニコльское население потребовало у земства общей мобилизации, дабы прогнать и истребить насильников.

Старые сибирские офицеры, бывшие это время в Никольске, говорили, что, не будь этих драгонад, весьма вероятно, что при умелом обращении с населением последнее в лице наибольшей, здоровой части могло стать

на сторону Хорвата и «снизу» признать его власть, т. е. дать этой власти такой беспронятный козырь, как народное одобрение.

Говорят, что союзники настойчиво требуют, чтобы разноцветные соперники за обладание властью пришли к какому-нибудь соглашению, но надежды на это нет никакой, ибо непримиримость не в принципах, а в жажде власти и нежелании от нее уйти; зловеднее всех эсеры, сброшенные большевиками год тому назад и считающие себя единственными законными претендентами.

Февралев рассказал мне, что в уссурийском войске сейчас полная раздрайка, но фактическая власть находится в руках атамана Калмыкова, собравшего вокруг себя несколько сот офицерской и казачьей молодежи и террором затыкающего рот всем инакомыслящим. Сейчас он единственная реальная русская сила, и с ним заигрывают все «правительства», стараясь приманить его на свою сторону размером предлагаемых субсидий. Сейчас вообще идет покупка свободных шпэг: полковник Волков рассказал мне, что к нему приехал хорватовский сторонник и главарь дальневосточного комитета Тетюков и предлагал ему в безотчетное распоряжение сто тысяч рублей на выдачу пособий нуждающимся офицерам.

18 августа. Встреча японского главнокомандующего: всюду союзные флаги, почетные караулы союзных войск, союзное начальство и офицеры. Тяжело смотреть на родной мне Владивосток, совершенно потерявший свой русский щеголеватый вид. Чехословаки вычистили все вещевые магазины, хранившие непркосновенные запасы крепости на двести тысяч человек; теперь они щеголяют в нашем обмундировании и сапогах; при встрече узнаю наше штиглицевское сукно и великолепные сапоги работы вятских кустарей — все это заказывалось и привозилось, когда я был членом крепостного распорядительного комитета.

Толстов мне рассказал, что, когда началось разграбление чехами наших крепостных магазинов, то он обратился к командовавшему чехами генералу Дитерихсу, надеясь на то, что тот — русский генерал русского генерального штаба; на жалобу Толстова, что чехи грабят, Дитерихс ответил: «И дальше будем поступать так же, у нас ничего нет, и взять нам неоткуда; русского же нам жалеть нечего».

21 августа. Встретил бывшего командира Уссурийско-

го казачьего полка полковника Пушкина, который рассказал мне краткую историю теперешнего атамана Калмыкова: сын мелкого харьковского лавочника, затем подпоручик 1-го Сибирского саперного батальона, он выпросил у командира 1-го Сибирского корпуса прикомандирование к Уссурийскому казачьему дивизиону, представив подложные бумаги о том, что он кубанский казак. После революции был уличен в том, что интриговал между казаками против офицеров; его хотели предать суду, но командир 3-го конного корпуса генерал Крымов не захотел марать этим делом имя уссурийских казаков и приказал выгнать Калмыкова из полка и, как не казака, отправить его в резерв офицеров в Киев. Тогда Калмыков уехал в Приморье, явился в войско, начал ораторствовать на митингах, сделался популярным и попал в заместители войскового атамана; сначала дружил с совдепами, произнес в Никольске приветственную совдепу речь, но накануне возвращения в область фронтовых казаков и офицеров ушел на китайскую границу и, собрав около себя несколько десятков молодых офицеров, юнкеров и кадет, объявил себя борцом против большевизма, подражая Семенову, стал обыскивать поезда и этим кормиться; в конце концов на станции Пограничной образовался не то вольный отряд, не то разбойничья шайка.

Вот и вся биография этого мелкого, но честолюбивого авантюриста, пробирающегося на ампулу уссурийского Семенова; казаков он умело щекочет перспективою полной, никого не признающей казачьей самостоятельности и захвата возможно большего количества земель.

22 августа. Большевикам дали слишком много времени, чтобы оправиться от первого данного им тумака; они осмелели до того, что появились на озере Ханка и высадили десант, угрожая сообщением Никольск — Пограничная; у Шмаковой они потрепали союзников, которые потеряли при этом часть артиллерии.

Местные китайцы очень озлоблены продвижением сюда японских эшелонов; были уже случаи столкновения японских солдат с китайскими; последние держат себя вызывающе, особенно по отношению ко всему русскому; нет прежней силы, нет и уважения.

23 августа. Семенов самоопределился в командуящие отдельной восточносибирской армией из нескольких корпусов; появились и штабы корпусов, и многочисленные тыловые учреждения; бойцов же по-прежнему несколь-

ко сотен офицеров и юнкеров, плюс приманенные жалованьем и положением хунхузы и инородческие банды.

Если союзники искренне хотят нам помочь, то непонятно, как могут они так равнодушно взирать на всю эту вакханалию; давая войска, деньги и техническую помощь, он вправе потребовать, чтобы мы делали дело, а не творили только одни глупости да гадости.

25 августа. Какие-то смутные слухи о происшедшем во Владивостоке выступлении офицерской организации Волкова (или, как она теперь называется, полковника Бурлина) в пользу Хорвата, причем была попытка арестовать Толстова.

Земство завопило о контрреволюции, вмешались не то чехи, не то союзники и разоружили все русские войска. Очевидно, разразилось то брожение, которое было во Владивостоке еще во время моей поездки и поддерживалось тайными агентами Хорвата; уже тогда было очевидно, что офицеры более склонны идти за известным генералом Хорватом, чем за каким-то выскочкой, лизавшим ноги у разных эсеров, ненавистных большинству за свою глупую и разрушительную для государства политику.

26 августа. Владивостокские события выясняются в следующей версии: после долгих тайных совещаний хорватовские агенты склонили владивостокские организации, давно настроенные против Толстова, признать командование над ними генерала Плешкова; при этом пришлось принять меры против поддерживавших Толстова войск; тогда, по просьбе земства, союзные консулы приказали разоружить все русские войска, что и было исполнено.

В результате обезоружена и опозорена единственная приличная русская военная организация Волкова; приличное всегда гибнет, а дрянь вроде Семенова и Калмыкова попала под чье-то союзное крылышко и процветает.

Правительство Хорвата, или, как его называют, деловой кабинет, делает пока только одни ошибки; слишком уже не терпится и хочется стать признанной властью. Ошибались горько те, кто выставлял Хорвата как умного и ловкого дипломата; то, что делается его именем, определенно показывает, что он или плохой и неумный дипломат, или на нем ездят верхом такие же плохие и неумные советники; ведь только этим можно (в дополнение ко всему прочему) объяснить такие промахи, как попытки добиться признания путем разных прону-

циаменто и подкопов под учреждения и лица, признаваемые *de facto* и союзниками и чехами.

28 августа. Толстов, куда-то исчезнувший во время волковского выступления, восстановлен консулами в своей должности как ставленник единственной полупризнаваемой ими здесь власти земской управы.

Вызванному уже во Владивосток Плешкову пришлось, ради спасения лица, отправиться с каким-то поручением на «даурский фронт».

Ясно, что хорватовская комбинация со всероссийским правительством села в глубокую и смешную лужу; советники и вдохновители харбинского хозяина вообразили, что если столь знаменитая, по их мнению, величина как Дмитрий Леонидович, соблаговолит принять на себя задачу устроить Россию, то все ему немедленно зарукоплещут, и войска, флоты и капитаны немедленно ринутся на помощь столь знаменитому вождю. Все это родилось в психологии мелких обывателей мелкого города и повторило историю снницы, хвалившейся зажечь море. Сляпали все очень скоро, про брод ни у чехов, ни у союзников не спросили, своим правителем никого не изумили и попали в самое конфузное положение.

29 августа. Настроение пестрое: то набегают розовые волны оптимизма и надежды, но когда оглянешься вокруг, то все мрачнеет. Что представляет из себя центр борьбы — Харбин? Разоренные эмигранты, вышибленные из привычной колени и все потерявшие бюрократы, горящая мщением молодежь, напуганные национализацией заводчики и фабриканты, равнодушные ко всему, кроме наживы, спекулянты, атаманские орды распушенной молодежи, трясущийся обыватель, эсеровские и большевистские рабочие... и все это в густом соусе полного непонимания происходящего ныне исторического переворота. Сейчас головы высоко подняты у тех, кто в слагающейся обстановке видит только возможность сесть на старые места, закрутить все старые гайки, сторичею расплатиться с теми, кто принес все пережитое за последний год, и повернуть жизнь в старое русло. Опушены головы, и злобно сверкают глаза у тех, кто хватил сладкого, но уже отброшен от него и боится, что не придет вновь его очередь.

Родина, умирающая и опозоренная, это и для первых, и для вторых только ширма, чтобы прикрыть свои истинные вожделения.

30 августа. Японцы энергично двинулись на Хабаровск, и, конечно, с успехом.

Всероссийское правительство, своего рода Limited¹ с ограниченной сферой деятельности (не дальше забора, ограждающего эгершельдские тупики), очень много пишет, еще больше назначает.

Семеновцы свободно продвигаются на север; очевидно, что чехи нажимают на большевников со стороны Байкала.

Красная хмара понемногу рассенвается, но кто-то ее заменит?

31 августа. Из Владивостока сообщают, что соединенное заседание военных представителей всех союзников признало назначение Плешкова главнокомандующим неприемлемым; неизвестны мотивы такого решения, очень для нас интересные, ибо могли бы разъяснить позицию и проекты союзников.

Обидно за Хорвата, что его толкают на разные faux pas. Теперь сделали из мизерного Толстова фигуру и победителя; пробный урок по главным отделам экзамена на государственность прошел у эгершельдских правителей с полным провалом. Харбинские представители союзников уверяют, что их выступление и разоружение русских отрядов произошло под сильным давлением Соединенных Штатов и что они всецело на нашей стороне.

Вечером говорили, что оружие нашим частям во Владивостоке возвращено.

1 сентября. Японцы заняли Иман, причем мост, слава богу, уцелел; его разрушение было бы огромным ущербом для жизни всего Займанского района.

Чехословаки от Чнты продвинулись на Карымскую и встретились с семеновцами; нехорошо то, что большевики не приняли удара и разбежались по разным медвежьим углам и труднодоступным урочищам, что сделает дальнейшую борьбу с ними очень тяжелой. Нужна планомерная война с постепенным очищением отдельных районов, а это грозит долгой и затяжной внутренней борьбой, в которую ввяжутся разные таежные и каторжные банды.

2 сентября. Говорят, что чехословаки прочистили всю магистраль и что путь свободен чуть ли не до Волги; сообщают также, что в Томске или Омске имеется пра-

¹ С ограниченной ответственностью (говорится об акционерных обществах или товариществах).

вительство и что в Сибири образовалась уже своя армия, успешно борющаяся с красными.

Захиревшее одно время сибирское, сидящее во Владивостоке, правительство — или так называемая дерберовщина, — ободренное успехами на сибирском фронте, воскресло и, объявив себя единственной законной властью, требует, чтобы все его признали и ему подчинились.

Пока что сибирское правительство Дербера объявило Хорвата узурпатором, а Плешков объявил приморскую земскую управу изменниками. Обмен столь острых комплиментов не может разрядить крайне напряженную атмосферу и способствовать возможности какого-нибудь соглашения. Для населения эта ругань весьма поучительна и дает много материала для заключений об «авторитете власти».

Один из членов английской миссии, спрошенный, как они относятся ко всему у нас происходящему, ответил, что они «ждут, к чему же наконец придут русские джентльмены».

3 сентября. Началась железнодорожная забастовка, объясняемая недовольством служащих новыми окладами жалованья и введением сдельной оплаты труда. Все, что слышу здесь о положении служащих, убеждает, что в управлении дорогой нет системы и делового чутья, нет умения идти впереди времени и устранять вредные препятствия раньше, чем они сядут на голову.

Нет даже и практической деловитости: ввели, например, новые оклады по системе сдельной оплаты и забыли многие разряды служащих, которые, по сути своей деятельности, не могут быть рассчитаемы по этой системе.

4 сентября. Забастовка продолжается; забастовал и телеграф. Сегодня один из контролеров дороги показывал мне образчики сапог с деревянными подошвами и одеял, разлезающихся на куски, поставленных для местной тюрьмы: сапоги по 66 рублей за пару, а одеяла по 109 рублей за штуку. Приемщики все время уговаривают его дать согласие на прием, потому что ничего другого нет, а когда он отказался, то к нему явился «некто» с предложением 60 000 рублей за согласие.

Все, видимо, остается у нас по этой части по-прежнему, увеличилось только куши; можно себе представить, что делается при заказе дров, угля, металлов, смазки и пр., где дело идет о десятках миллионов.

5 сентября. Говорят, что Хорват уехал на запад на совещание с представителями сибирского правительства по вопросу о конструкции новой государственной власти. Совещанию этому суждено играть самую решающую роль для всего будущего; пошли, господи, чтобы его участники оказались способными пожертвовать всем личным и выполнить все нужное для столь серьезного дела.

Сообщают, что по всей сибирской магистрали и далее на запад, вплоть до Пензы, установлено свободное движение и всюду полный порядок.

6 сентября. Забастовщиков все время уговаривают; дернуло же ввести неудачные оклады как раз в то время, когда по всей обстановке и по серьезности развивающихся событий необходимо, чтобы дорога работала полным ходом и вообще было бы поменьше горечи, укуса, неудовольствий и обострений.

От уговоров забастовочный комитет становится все упрямее и несговорчивее, требует официального признания.

7 сентября. Японцы заняли Хабаровск — это весьма серьезный этап в борьбе с красными; теперь надо заняться скорейшим установлением порядка и законности в крае. Исполнить это некому, ибо весь актив разных властей и партий уходит на взаимную грызню и оплевание; кроме того, на хвосте у японцев увязался Калмыков, который способен завернуть населению такой режимчик, что он восплачет по большевикам.

8 сентября. Забастовка благополучно продолжается, губя и без того скверное матернальное состояние дороги. Григорий Семенов заделался главнокомандующим всеми вооруженными силами на Дальнем Востоке; за полтора года мы имели еще более нелепых главкотяпов, и нас уже удивить теперь трудно.

9 сентября. С запада получены известия об открытии сибирской областной думы и о составе сибирского правительства.

Плохо то, что на западе к власти вылезла эсеровщина, которая вне конкурса по части подкупа и свержения правительств, но безнадежна по части здорового строительства; значит, опять начнутся болтология и разные демократические кривляния, да заоблачные попытки насадить на земле социалистический рай, не считаясь с озверением людей и вакханалней самых животных инстинктов.

Хорват вернулся в Харбин, по внешности весел, но по

светским разговорам — надежд на «утверждение во временно занимаемой должности» никаких; на персональное его вхождение в состав новой власти все единогласно согласны, но по остальному — полный отказ.

Относительно Семенова отзыв сопровождавших Хорвата в его поездке таков: «обнаглел до последних пределов; иначе и быть не могло, раз такую ворону запустили в высокие хоромы».

10 сентября. С запада идут неприятные сведения о борьбе за власть, загоревшейся между сибирской областной думой и самарским комитетом членов Учредительного собрания; в комитете, как сообщают, весьма левое направление вплоть до сохранения власти Советов.

11 сентября. Временный правитель изволил отбыть во Владивосток. Забастовка продолжается; как будто бы злой рок тяготеет над тем, чтобы ухудшать и без того достаточно кавардачное положение.

12 сентября. Нелепешая забастовка продолжается; управление дороги ведет себя очень глупо, применяя жалкие приемы мелкого сыска, но не имея решительности объявиться хозяином, цыкнуть на служащих и заставить их или работать, или уйти, но вслед за тем немедленно вынудить в нужды служащих и удовлетворить их.

Продолжается картина разъездов кандидатов на Юнкеры всех рангов, — конечно, экстренными поездами, с вагонами-столовыми, с семьями или заменяющими их институтами (секретарши, машинистки, сестры милосердия и т. п.).

И катаются господа взад и вперед, притворяясь, что спасают Россию.

13 сентября. Приехавшие из отрядов дегенераты похваляются, что во время карательных экспедиций они отдавали большевиков на расправу китайцам, предварительно перерезав пленным сухожилия под коленами («чтобы не убежали»); хвастаются также, что закапывали большевиков живыми, с устилом дна ямы внутренностями, выпущенными из закапываемых («чтобы мягче было лежать»). Хочется думать, что это только садическое бахвальство и что, как ни распущены наши белые большевики, все же они не могли дойти до таких невероятных гнусностей.

14 сентября. В вышедших сегодня газетах на первом месте приказ командующего местными чехословацкими отрядами Гайды прекратить забастовку под угрозой предания забастовщиков военно-полевому суду. Приказ

очень хлесткий, но, как выяснилось, оя отдан *post factum*, после фактического окончания забастовки, прекращенной еще вчера.

Семенов отдает громовые приказы и требует подчинения себе всей полосы отчуждения К.-В. железной дороги, так как сибирским правительством он назначен командиром 5-го сибирского корпуса и главным начальником Приамурского военного округа.

15 сентября. Вечером видел телеграмму на имя Флуга из Западной Сибири, сообщающую, что положение там прочное и что идет полное объединение буржуазии и народа; последнее выражение мне очень не нравится и заставляет сомневаться в правдивости всего остального; никогда я не поверю в искренность такого объединения. Далее сообщается, что дело соглашения между Сибирью и Комучем почти безнадежно; оканчивается телеграмма указанием на необходимость немедленной помощи со стороны союзников.

Газетные сообщения подтверждают, что в освобожденных от большевизма районах Приуралья и Поволжья идет несосветный кавардак; все лезут к власти, ругаются, подкапываются, совещаются и ничего путного выдумать не могут. Большевиков кое-как еще прогнали, а дальше устроиться не могут.

18 сентября. Сидим под палкой главнокомандующего генерала Гайды, блеснувшего в беседе с представителями владивостокской прессы редкой развязностью и лейтенантской смелостью в разрубании самых сложных политических и военных узлов. Этот австрийско-чешский пузырь должен скоро лопнуть, но пока он воняет и осложняет наше и без того косматое положение.

19 сентября. Харбин подчинили чешскому полковнику Кадлецу. Семенов едет на свидание с Калмыковым, который обосновался в Хабаровске, влез в большую дружбу к японцам и развернулся во все свое незаконное. В общем, над всем висит «русские дураки, разумеете и покоряйтесь, трепещите и безмолвствуйте», все равно перед кем, будь то чехи, японцы, китайцы, атаманы...

Гайда во Владивостоке заявил, что никакого хорватского правительства не существует и что Хорват должен вернуться на пост директора-распорядителя китайской дороги; быстро оперились братья-чехи по части вмешательства в наши дела.

20 сентября. Пестрота владивостокского положения украсилась появлением там чешского кандидата в си-

бирские Бонапарты в лице все того же Гайды; выходит, что кто бы палку ни взял, тому и быть над нами капра-лом; кандидат, судя по его речам, достаточно безгра-мотный.

21 сентября. Прапорщик Опарин, приехавший со станции Ханьдаохезцзы, рассказывает, как по их участку прошел семеновский броневой поезд, выбрал лиц по особому списку и тут же их нещадно перепорол, предупредив, что на следующий раз будет хуже. Все это знают, но молчат. По краю катится волна дикого произ-вола, долго накапливаемого за время пьяного безделья на разных стоянках в полосе отчуждения; теперь дорва-лись и стараются вовсю.

Не может быть, конечно, двух мнений о необходимости самого беспощадного истребления всех главарей боль-шевизма, но это должно осуществляться властью госу-дарства с ледяным спокойствием, без малейшего призна-ка лицемерия или мщенья.

Знаменитый скандалист, семеновский опричник пол-ковник Скинпетров произведен своим принципалом в ге-нералы и назначен командующим войсками Приморской области и комендантом Владивостокской крепости; се-меновщине очень хочется упрочиться во Владивостоке и, захватив весь Дальний Восток, сделаться его настоящим хозяином.

22 сентября. Новоявленные и непризнанные прав-тельства «испускают» приказы, указы, повеления о мо-билизации и т. п. Всякой лягушке хочется возможно ско-рее раздуться в страшного вола и своим видом напугать остальных лягушек; при этом одним из хороших средств сделаться волом считается почему-то объявление мо-билизации.

23 сентября. Во Владивостоке объявились Колчак, Потапов и Доманевский; последние два, очевидно, пото-му, что есть возможность пристроиться к какой-нибудь из существующих комбинаций.

Гайда прислал Плешкову телеграмму и в ультима-тивной форме требует признания себя главковерхом, японцы же объявили, что для них Гайда, как главно-командующий, не существует; печально наше положение, когда приходится играть роль горшка между стучающи-мися котлами.

Во Владивостоке идет чернильная война между тем же Гайдой и заместителем Толстова по должности командующего войсками Приморской области полков-

ником Бутенко, и туда же направляется семеновский командующий Скипетров.

В Хабаровске объявился еще командующий войсками округа генерал Мандрыка, исполнявший эту должность перед первым большевистским переворотом, и заявляет, что он единственный настоящий; на него устремился Калмыков, считающий себя законным повелителем Хабаровска и Приморской области.

В довершение кавардака сюда же двигается на броневых поездах Семенов, едущий на свидание с атаманами Уссурийского и Амурского войска для заключения общеказачьего союза, а затем установления казачьей гегемонии на Дальнем Востоке.

Довольно сумбурный и колоритный винегрет из припасов плохого сорта и сомнительной свежести.

26 сентября. Проехал генерал Владимиров, командированный из Омска к генералу Флугу; он человек резко откровенный и рассказал, что никакой армии в настоящем значении этого слова в Сибири нет, а есть офицерские и юнкерские отряды, исправно бьющие большевиков.

Газеты сообщают, что Хорват будет назначен верховным комиссаром Дальнего Востока на правах наместника омского правительства; этим, по-видимому, предполагают разрубить узел, завязавшийся от наличия сразу двух властей, претендующих на всероссийское звание; третий конкурент — сибирское правительство владивостокского образования — прекратил свое существование.

Общее впечатление таково, что большинство готово согласиться на то, чтобы признать права всероссийской власти за уфимским образованием.

Гайда утром собирался кого-то арестовывать и разоружать немногочисленные плешковские войска, но наткнулся на китайцев, которые заявили, что этого не допустят, и для внушительности предоставили в распоряжение Плешкова целую бригаду своих войск.

К вечеру Гайду и Плешкова как-то помирили, и Плешков стал ездить без китайского конвоя.

Непонятно поведение союзников; казалось бы, у них есть все способы прекратить шальные выходы и наших, и чешских атаманов, и казалось бы, что это первое, что надо сделать для восстановления в стране порядка. А то над нами повторяются эксперименты, достойные увековечения в продолжение щедринской «Истории одного го-

рода», но только в быстром, чисто кинематографическом темпе.

27 сентября. Гайда умчался на запад, назначив полковника Кадлеца главнокомандующим в полосе отчуждения, т. е. смешав этим и без того сумбурное здесь положение до последних пределов. Ни китайцы, ни японцы этого назначения никогда не признают, и все шишки будут валиться на головы несчастных русских. Гайда неистовствует, очевидно понимая, что чехи нужны дозарезу омскому правительству, и последнее готово все пертерпеть, чтобы с ними не ссориться. Плохо было без приятелей, а с ними, кажется, еще хуже.

В Харбине выявился украинский консул, пытавшийся осуществлять свои великодержавные права, но ему пригрозили арестом, и он стушевался.

Гайда, всюду ищущий популярности (неизменное качество подобных выскочек), приказал прицепить к своему поезду два вагона для местной молодежи, едущей в Томский университет; в результате три четверти поехало спекулянтов, нагруженных медикаментами, иглками и прочей мелочью, на которые сейчас в Сибири стоят чудовищные цены.

28 сентября. Гайда не унимается и издал приказ о назначении Кадлеца главноначальствующим над всем русским Дальним Востоком; надвигается какое-то чешское пленение: осмелевшие австрийские дезертиры и наши бывшие пленные почуяли свою силу и садятся на наши шеи самым бесцеремонным образом, при полном молчании и бездействии союзников.

Из Западной Сибири получены какие-то смутные сведения о вспыхивающих там беспорядках; сие вполне естественно, ибо, с одной стороны, население слишком долго варится в атмосфере безвластия, а с другой — слишком много недовольственных и не попавших туда, куда им хотелось, ну, они и колобродят.

29 сентября. Известия о беспорядках и междоусобице в районе омской власти все более и более фиксируются. Там к числу воскресших факельщиков русской революции прибавился селянский министр Чернов.

Верховным главнокомандующим назначен Болдырев; военные достоинства его невелики, но он большой ловкач, а при надобности стойкий человек, что проявил в инциденте с Крыленкой в ноябре 1917 года; во всяком случае, это лучшее из всего, что есть в Сибири, за исключением только Флуга, который наиболее подходил бы к

этой роли; очень жаль, что Флуг оказался здесь, а не в Омске.

30 сентября. По сведениям из Западной Сибири, беспорядки произведены офицерскими отрядами, недовольными средней и колеблющейся политикой вновь образованных министерств и требовавшими уклонения вправо, в сторону крутой реакции; значит, и там начинается своеобразная атаманщина.

1 октября. Мне совершенно ясно, что из смеси эсеровщины, думских пустобрехов и, естественно, настроенных очень реакционно офицерских организаций ничего, кроме вон и взрывов, не выйдет; из таких продуктов даже самые первоклассные специалисты по соглашательству ничего не сварят.

5 октября. Получены приказы о назначении командирами корпусов Семенова и какого-то Элерц Усова (должно быть, тоже *opus*¹ из революционного репертуара). Семенов теперь двуручничают, фигурируя то командиром корпуса (при повороте на Омск), то командующим восточносибирской армией (в остальных секторах).

Состоялось торжественное вручение знамени Уссурийского казачьего войска мелкосортному разбойнику Калмыкову, причем вручал один из скандальнейших есаулов читинского атамана генерал Скипетров. Участвуя десять лет тому назад в церемонии прибивки и освящения этого знамени, не мог никогда и думать, что ему придется увидеть такой позор.

6 октября. Во Владивостоке идет совещательная торговля между Хорватом и приехавшими туда делегатами Сибири во главе с Вологодским. Хорват, как говорят, крепко стоит на своих требованиях. То, что делается в Западной Сибири, заставляет желать, чтобы Дальний Восток сохранил свою самостоятельную структуру при условии истребления с корнем атаманщины, что не по силам ни Хорвату, ни Сибири; это могут сделать только союзники, и с этого и надо начинать переговоры.

При атаманах здесь и атаманшине (другого, но не менее опасного для государственности типа) в Сибири всякая власть будет у них в плену и ничего здорового родить не может.

7 октября. Сообщают из Владивостока, что соглашение между Хорватом и Вологодским состоялось; Хорват

¹ Произведение.

назначается главным начальником на Дальнем Востоке; сообщают также о назначении комиссарами правительства в Приморскую власть бывшего владивостокского городского головы И. И. Циммермана, а на Сахалии — бывшего тамошнего губернатора Бунге.

8 октября. Получили первые приказы главковерха Болдырева; тон напыщенный, мало деловитый, очень свойственный штабным вскормленным, не знающим, что войска приказов не читают, а чувствуют их по делу, а не по их фразистости.

Такие краснобайные приказы пишутся для начальства, для газет, для посторонней публики; войскам же нужна деловитость, краткость, очевидность знания верхами их нужд, разумность и возможность предъявляемых к ним требований.

В полученных приказах чувствуется желание убедить, уговорить и создать настроение; все это и всегда и теперь не к месту: сейчас надо, чтобы прозвучал властный голос повелевающего, способного заставить всех уверовать, что он приказывает не для одного только сотрясения воздуха. Со времен революции мы забыли такой голос; для многих он будет неприятен, многие отнесутся к нему враждебно, многие станут открыто против него, но все сие надо претерпеть, побороть, сломать, и тогда дело выиграно; бурные массы вернутся в старое, но улучшенное и очищенное от старого сора русло, и над русской армией загорится заря новой жизни.

9 октября. Приехавшие с запада говорят, что для развертывания сибирской армии произвели очередной призыв и набрали новобранцев, но офицеры их опасаются больше, чем красноармейцев; рассказывают, что в Томске и других городах офицеры собираются на ночь в отдельную казарму и что оружие и пулеметы охраняются офицерскими караулами.

11 октября. Калмыковские спасители показывают Никольску и Хабаровску, что такое новый режим; всюду идут аресты, расстрелы плюс, конечно, обильное аннексирование разных денежных эквивалентов в обширные карманы спасителей. Союзникам и японцам все это известно, но мер никаких не принимается.

Про подвиги калмыковцев рассказывают такие чудовищные вещи, что не хочется верить.

В газетах речь селянского министра Чернова на тему, что нам нужна мужицкая армия; слепенький и глухонький эсеровский столб так ничему не научился, про-

зевая, видимо, то, что было с нашей армией в последнюю четверть прошлого года.

Товарищ из похоронного бюро, похоронившего Россию, не понимает, что армия должна быть народной по задачам, но аристократичной по духу, по жажде подвига, по рыцарству поступков, по джентльменству жизни и по героизму в борьбе; наши же мужики — не по своей вине — могут дать только серые толпы, смесь слизняков, рабов, шкурников и хулиганов; они в этом не виноваты — такими их сделала жизнь.

16 октября. Семенов объявил мобилизацию; можно себе представить, какой винегрет получится из его присяжных хунхузов и собранных новобранцев и запасных; во что он их оденет и на что будет содержать? Нечего и говорить об отрицательном впечатлении, производимом теперь на население страшным словом «мобилизация». Вообще, бесцельно, бесполезно, а для общего настроения и строения только сугубо вредно.

Вечером говорили, что в Омске произошли какие-то серьезные события, но в чем дело — неизвестно, при этом подметил у двух собеседников, жаждущих движения воды, скрытую радость о возможном крахе Омска как антагониста харбинских планов и вожделений.

17 октября. Прочитал интервью Вологодского при проезде его через Харбин; он наговорил много розового и, между прочим, заявил, что крестьяне готовы к добровольной самомобилизации. Последнее заявление в устах главы правительства показывает его легковерность, малоосведомленность и опасное незнание народного настроения; крестьяне, быть может, и готовы к самомобилизации, но именно «само», для защиты своих собственных интересов и для обеспечения себя от прочих «иций» — реквизиций, экзекуций, национализаций и т. п.

Характерной иллюстрацией к заявлению главы правительства является телеграмма из Славгорода, сообщающая, что по объявлении призыва там поднялось восстание, толпы крестьян напали на город и перебили всю городскую администрацию и стоявшую там офицерскую команду.

19 октября. Сюда приехал Хорват из Владивостока и омский военный министр генерал Иванов-Ринов из Омска и будут о чем-то совещаться.

20 октября. По заключению Самойлова, прибывший из Омска Иванов-Ринов — пустомельный, но нахальный

дурак: врет вовсю и хвастается, что у него превосходная армия в 150 тысяч штыков и золотой запас, под который он может выпустить кредиток на 60 миллиардов рублей. Важен он чрезвычайно и объявил, что «творит великое государственное дело».

22 октября. Заходил бывший владивостокский жандармский офицер полковник Михайлов, рассказывал, что делается у Семенова; сообщил, между прочим, что недавно атаман завел себе временную атаманшу из харбинских шансонеток и преподнес ей кольцо в 40 тысяч рублей.

23 октября. Спекулянты скупают все наиболее ходкие товары и отправляют их на запад; большое раздолье разным семеновским уполномоченным, взимающим хабару за то, чтобы все отправляемое прошло мимо атамана беспрепятственно и не подвергаясь семеннизации.

Не брезгают спекулятивными доходами и проносящиеся мимо нас революционные министры, уполномоченные и новоявленные генералы, набивающие свои вагоны контрабандой и разными ценными товарами; конвои у всех свирепые и неразговорчивые, почему таможенные чиновники, щадя свой живот, и не пытаются досматривать такие запретные вагоны; на харбинском вокзале можно наблюдать экстренные поезда и служебные вагоны, в которых ящики набиты в купе до самого потолка.

24 октября. Калмыков перебрался из Хабаровска на станцию Гродеково; здесь он ближе к Семенову, и ему легче нажимать на Владивосток и его сообщения с Харбином; главное же, можно возобновить обыски поездов и, ища крамолу и красноту, находить кредитки, золото, драгоценности, без коих трудно существовать широкому атаманскому бюджету.

И все боятся этого разбойника, несмотря на то, что достаточно хорошей роты, чтобы его раздавить; боятся настолько, что сведение о его прибытии в Гродеково отложило уже назначенный отъезд во Владивосток Хорвата; калмыковская банда на все способна, особенно на что-либо особенно озорное.

На предложение Самойлова арестовать Калмыкова Хорват ответил, что это несвоевременно и надо подождать (чего? — сам Хорват, вероятно, не знает).

Так застаивается этот гнойный нарыв, ликвидация которого сразу привлекла бы на сторону ликвидировавшего все широкие симпатии.

Вернулся со станции Эхо полковник Волков, ездив-

ший туда, чтобы познакомиться с состоянием тамошнего офицерства (на случай формирования новых надежных частей); по его мнению, $\frac{3}{4}$ молодых офицеров распущены и развращены до полной невозможности их исправить, а некоторые из них — готовые уже преступники, опасные для общества и государства, ибо за деньги на все способны. Таковы результаты организации хорвато-колововских «кулачков»; большевикам они вреда не принесли, а себе напакостили так, что и поправить невозможно.

25 октября. Хрещатицкий совсем ушел в японское лоно и родил проект подъяпоненной русской армии, где в каждом полку одна рота будет японская (на случай усмирения), а при каждом штабе будет японский комиссар. За нены можно додуматься и до этой гнусности. Самому Хрещатицкому предоставляется, конечно, место инспектора этих формирований с соответственным окладом и правом жить где угодно (чуть ли не в Японии); ему это очень важно, так как, по отзыву железнодорожных служащих, сей генерал специализировался по провозу контрабандного спирта во Владивосток и называется между ними «спиртовозом».

26 октября. Местные газеты напечатали приказы, изданные Калмыковым, когда он сидел в Хабаровске; приказы написаны таким вульгарно-хулиганским стилем, что вызвали бы зависть у любого красного комиссара. Люди, выжимавшие прежде из себя каждую строчку, выскочив в комиссары или атаманы, развязывают язык, делаются многоглаголивыми и дарят перлами своего хулиганского стиля.

Характерен приказ расстрелять какого-то хорунжего за ограбление ювелирного магазина; ни следствия, ни суда, а прямо «приказываю этого негодяя расстрелять».

Семеновский комендант Владивостока генерал Скипетров продолжает свои пьяные оргии; в одном из шантанов он содрал кожу с лица и переломал ноги штабс-капитану Викену, заключив этим какие-то пьяные пререкания.

27 октября. Газеты сообщают, что во Владивостоке должно состояться важное военное совещание в составе Хорвата, Иванова-Ринова, Семенова и Калмыкова. Нелегко положение Хорвата, которому приходится соглашаться на такие совещания; какие военные советы могут дать эти полуграмотные, хунхузоподобные атаманы?

Публика здесь не стесняется; один из хрещатицких

орлов в пьяном виде хвастался у Самойлова, что у них на черный день припасено полтора миллиона, которые они и поделят при «необходимости отходить в южном направлении».

28 октября. Из Владивостока рассказывают, что Калмыков сначала ограбил, а потом истребил проезжавший отряд шведского Красного Креста; операцию произвели так чисто, что даже нашли и убили уцелевшую от первой экзекуции женщину.

31 октября. Официально объявлено о назначении Хорвата верховным уполномоченным Временного сибирского правительства на Дальнем Востоке. Отныне вся судьба русского дела зависит от того, какую линию поведения примет Хорват и кто будет его главными сотрудниками; если все будет продолжать оставаться в руках той жадной, глупой и нечестной камарильи, что и сейчас, то все сведется к толченью воды в бюрократических ступах и к бессильному болтанию по течению.

Обер-хунхуза Семенова послали уговаривать унтер-хунхуза Калмыкова быть поосторожнее по части угробления людей и калмыкации чужой собственности. Разве уговоры могут помочь, раз атмосфера безнаказанности уничтожила все препоны для насилия и преступления?

1 ноября. Сколько времени просидели на конструкции власти; высидели наконец какой-то компромисс, а жизнь за это время убежала далеко вперед, прибавив новые горы к прежним громадам тяжелейших задач.

Пока что Калмыков вместо заслуженной им петли получил два миллиона и разрешение на общую мобилизацию уссурийских казаков. Одновременно он заявил, что до установления в России твердого правительства он никакой власти не признает и, будучи во Владивостоке, не пожелал иметь никакого дела с находившимся там Ивановым-Риновым.

Его политика совершенно ясна; имея деньги, он рассчитывает приобрести симпатии казачества, раззадорить казаков идеею полной автономии и возвращения им земель надела Духовского, и сразу ошарашить казаков выдачей им всего, на что они заявляют претензии за прошлое время; в этом отношении он отлично учитывает любовь казаков к деньгам и понимает, что тот, кто первый удовлетворит казачьи жалобы, получит авторитет и поддержку; одновременно он учитывает свою силу, не-

большую, но состоящую из отчаянных и хорошо оплачиваемых головорезов.

Кулака, который был бы сильнее его и мог его пристукнуть, пока что не видно, потому атаманишка и пользуется удачно сложившейся для него обстановкой.

2 ноября. Из Омска сообщают из агентурных источников, что прибывший туда Колчак при помощи офицерских организаций устроил там какой-то переворот, сместил всех министров и объявил себя диктатором. Если это верно, то из того, что он показал здесь, очевидно, что это будет очень скверный диктатор — для диктатуры одной импульсивности и вспыльчивой решительности очень недостаточно.

На нас рычат все; на днях японцы пригрозили даже нападением на личный конвой Плешкова за то, что начальник конвоя отнял у японских солдат избиваемого ими русского. Американские солдаты на станции Пограничной избили нашего коменданта; итальянцы разграбили товарный поезд... Недурны первые цветочки дружеской интервенции. *Vae victis!*¹

Забайкальские хунхузы отличились чересчур уж громко: богатый иркутский золотопромышленник Шумов, выехавший на бронированном поезде Семенова с большим грузом золота, найден в реке Селенге с простреленной головой. И все это сходит безнаказанно.

4 ноября. Приехавшие только что из Западной Сибири рассказывают невеселые вещи про прочность тамошнего положения; к власти выбились случайные люди; их «случай» возбудил зависть многих аспирантов на такие же амплуа, и на этой почве ждет глухая грызня, подкопы, смаивание на свою сторону вооруженной силы, попытки переворотов и пр. и пр.

Некоторые представители власти сделались смешными вследствие попыток изображать из себя важных гран-сеиьоров; другие чувствуют непрочность своего положения и ничего не делают; настроение населения делается враждебным власти.

Калмыков развернулся вовсю. Всеволожский мне рассказал сегодня, что сюда приехал бывший у Калмыкова офицер Дроздов и заявил, что там не офицерская организация, а гнусная шайка самых отборных негодяев и форменных разбойников, учиняющих над населением невероятные насилия.

На днях Калмыков приказал расстрелять свой «юри-

¹ Горе побежденным.

дический отдел», заведовавший арестами, обысками и калмыкациями; кара разразилась за то, что атаман узнал, что чины отдела брали не по чину и мало сдавали начальству из получаемой добычи; перед расстрелом чинам отдела отдали на изнасилование захваченных разведкой девушек, обвиненных в большевизме; последнее было обычным приемом для добывания себе женщин, которые по миновании надобности выводились в расход.

5 ноября. Харбин осчастливлен прибытием самого атамана Григория Михайловича, конечно, на трех бронированных поездах; раскатывает по улицам с какой-то девкой, облепленной бриллиантами, владельцы которых, вероятно, там, идеже несть ни болезней, ни воздыхание; сии бриллианты должны изображать кристаллизованную любовь к отечеству.

6 ноября. Что делается в Омске, остается неизвестным.

7 ноября. Получил предложение Флуга занять должность начальника штаба Дальневосточного военного округа; при этом Флуг предупредил, что он, вероятно, уйдет, так как Омск не согласился на его назначение помощником Хорвата по военной части и назначает на это место генерала Артемьева. По словам Флуга, он делает все, чтобы уничтожить атаманщину; первая очередь за Калмыковым, и хотя его и поддерживают японцы, но ныне собраны многочисленные документальные доказательства того, что Калмыков — квалифицированный военный преступник, и это будет предъявлено союзникам для обуздания японского сочувствия; для ликвидации же Калмыкова в Хабаровск будут двинуты из Забайкалья части 8-й стрелковой дивизии.

С Семеновым дело труднее, но его думают обезопасить, переместив его на чисто почетную должность походного атамана дальневосточных казачьих войск.

Я высказал Флугу, что при условии ликвидации атаманов я готов идти на любое место, но только при условии работать с ним; идти же в начальники штаба к незнакомому генералу Артемьеву, да еще при известной мне обстановке хорватского антуража, я уклоняюсь.

Акинтиевский читал письмо своего товарища по академии капитана Сумарокова, посланного в числе нескольких молодых офицеров генерального штаба в Читу для формирования там настоящих штабов.

Сумароков пишет, что творимые у Семенова безобразия и грабежи не поддаются никакому описанию; за две

недели застрелилось семь офицеров; расстрелы идут сотнями, и начальники состязаются в числе расстрелянных; про порку и говорить нечего, это обычное занятие.

Здесь, в Харбине, атаман и его прихвостни дивят харбинцев своими расходами и кутежами, оплачиваемыми десятками тысяч рублей, нарочно афишируя эту расточительность расплатами так, чтобы видела остальная публика.

Союзники грызутся и интригуют; на днях у Флуга был французский капитан Пеллио (один из поддерживателей Семенова) и заявил, что генерал Нокс самозванец, что никто не разрешал ему начинать русские формирования и что единственный законный уполномоченный союзников — это генерал Жанен.

8 ноября. Не было ни гроша, а вдруг алтын; получил предложение и на должность начальника отдела охранной стражи; своего рода *embarras d'engagements*.

В 12 часов в соборе торжественное молебствие по поводу именин Хорвата; зачем это лакейское подлизывание? Все те, которые опоздали на панихиду о государе, сегодня явились заблаговременно.

9 ноября. Зашел в штаб российских войск, до сих пор благополучно существующий; много народу, много суеты; со стороны можно повернуть, что кипит серьезная работа, так как все что-то пишут и суетятся; в действительности же работа сводится к осведомлению и контрразведке, обратившейся в охранку, да еще к цензуре.

Говорил с начальником штаба генералом Хрещатником; многоглагольная и сладкоглагольная бестия, по своему содержанию замечательно подошедшая к харбинскому болоту.

Неизвестно почему, стал подделываться под мои взгляды, нещадно ругал атаманов и яростно выражал мнение о необходимости их ликвидировать; я смотрел на него не без удивления, так как знал про все его связи с этими же самыми атаманами; рассказал мне сказку для грудных детей о том, что американцы предлагали Хорвату безвозвратную ссуду за то, чтобы он согласился на введение в состав управления нескольких американцев. Особенно сладко пел о проекте создания русской армии при помощи японцев, причем распластывался в восхвалении честности и незаинтересованности японцев, которые-де только и думают о том, чтобы восстановить Россию, нещадно ругал генерала Нокса, называя его провокатором, желающим спасти Англию русской

кровью; пришел в священный ужас и усугубил свое доказательное рвенне, когда я высказал свое сомнение о бескорыстности японских симпатий.

Вообще японцы недаром потратили деньги, приёнив к себе этого ловкого и жадного проныру, сладенького, вкрадчивого, внешне отлично вылощенного, а внутри химически чистого от принципов порядочности; знавшие его раньше говорят, что таким он сделался только здесь под влиянием увлечения полтичкой, сильного честолюбия и любви к кутежам и женщинам.

10 ноября. Газеты полны перечислением разных высоких персонажей, отдельно и группами текущих с запада во Владивосток, Японию и Америку со всевозможными явными и тайными миссиями и поручениями; миссии и поручения в огромном большинстве — фиговые листья, прикрывающие желание удрать от тяжелой работы, а также быть подальше от неопределенной, а подчас небезопасной атмосферы разных Уф, Самар, Омсков и Томсков.

12 ноября. С запада сообщают, что в Томске и Мариинске были военные бунты — прямой результат несвоевременного и неподготовленного призыва; сейчас еще рано начинать новые формирования, ибо собранные — и собранные по принуждению — толпы крестьянской и городской молодежи, душевно больной и взъерошенной всеми революционными эмоциями и переживаниями, являются готовым и восприимчивым материалом для любой пропаганды и для выступления против власти. Вдохновители разных мобилизаций и наборов не учитывают совершенно настроения и обстановки и продолжают жить по старым указкам: приказать, тащить, заставить, экзекутировать, цыкнуть и т. п., забыв, что за всем этим не стоит уже ни старого авторитета, ни прежних сил и средств для принуждения.

Трудно понять, для чего собирать парней, которых затем боятся так, что не дают им винтовок и держат последние под сильными офицерскими, при пулеметах, караулами. Здоровой силы не получают, но, собирая молодежь в большие скопления, облегчают их общение, организацию и делают их опасными для самих себя.

19 ноября. Всеволожский, вернувшийся с западной ветки, рассказывает, что, проезжая через Хайлар, видел стоявший семеновский поезд: на вагоне атамана красовалась надпись: «Без доклада не входить, а то выпорю», поистине казацко-разбойничье остроумие.

21 ноября. Из Омска сообщают, что начальник таможенного гарнизона полковник Волков и другие участники незаконного ареста министров преданы военно-полевому суду. Надо радоваться такому удачному началу, долженствующему положить предел покушениям разных кандидатов в переворотчики и атаманы; надо надеяться, что у адмирала есть сила, чтобы поддержать начатый правильный курс.

Очень туманны фигуры министров нового состава; успех работы зависит от их способности уйти сразу от партийности и стать на чисто деловую почву.

22 ноября. Семенов в самой резкой форме потребовал, чтобы адмирал немедленно отменил свой приказ о предании суду Волкова, Красильникова и К°, угрожая при неисполнении его требования самыми решительными мерами: пока же остановил всякое сообщение востока с Омском и прекратил работу телеграфа.

Это — уже открытое восстание, поднимаемое кучкой разбойных негодяев, недовольных Колчаком за время его командования в Харбине и понимающих, что с утверждением адмирала у власти им предстоит конец. Они идут ва-банк, поднимая бунт в тылу Омска, переживающего тяжелые дни внутренней неурядицы и внешних успехов.

Прав я был, когда считал их белыми большевиками, работающими только на потеху собственной жадности, распушенности, разврату и общей нравственной мерзости. В их пьяных башках, ошалевших от безнаказанности, видимо, не способна шевельнуться мысль, какую мерзость они делают против той родины, которую хватаются защищать; трясая за свою шкуру, за свою вольную и разбойную жизнь, они замахиваются на неприятную для них фигуру адмирала, а бьют по всему делу восстановления государства.

Что же смотрят японцы, весьма помпезно представленные около атамана? Трудно поверить, чтобы они не знали о посылке этого омерзительного ультиматума.

А Гришкнины хвалителн разливались, уверяя в его уме, государственности и любви к родине; да разве есть хоть на грош мозга в той пустой башке, которая пошла на такое дело, разве есть хоть капля любви к родине в сердце, которое не дрогнуло, когда рождался, подписывался и посылался такой преступный документ? Каков бы ни был Колчак, но омская обстановка выдвинула его к власти, ведущей смертный бой с большевизмом, и сто

раз проклят тот, кто восстает на него и этим помогает большевикам. Все, в ком есть честь, любовь к родине, обязаны сплотиться около адмирала и своим трудом, своими достоинствами покрыть его недостатки.

К открытому бунту подан подлый соус в виде заступничества за казаков, для приобретения популярности в качестве защитника казачьих льгот.

Обнаглевших читинских разбойников надо двинуть так, как заслуживает их подлая измена, тем более подлая, что все ее основание — в личной ненависти атамана и его своры к адмиралу.

23 ноября. Проехал назад в Омск Иванов-Ринов, нагруженный контрабандой и разными товарами; говорят, что он поспешил оставить Владивосток, потому что открыто резко отозвался о Калмыкове, а тот пообещал явиться во Владивосток и выпороть Иванова-Ринова. Тот уехал; а теперь приходится сидеть в Харбине и ждать, пропустит ли его через Читу Семенов. Веселенькая восточная часть сибирской магистрали с рассевающимися по ней атаманами.

26 ноября. Плешков рассказывает, что, по вычислению начальника коммерческой части Слауты, Семенов зарабатывает сейчас до трех миллионов рублей в день плюс звание благодетеля населения; он продает харбинским купцам наряды на вагоны, а они обязаны давать атаману 20 процентов чистой прибыли, но не имеют права сами наживаться выше таких же процентов.

В результате довольны все: и купцы, и Семенов, и население.

2 декабря. По части продажи вагонов Харбин далеко превзошел ту знаменитую вакханалию, которая царяла здесь по этой части в 1905 году, когда вагонами оплачивались и карьера, и любовь, и разные тайные услуги, даже удачно выбранный подбородок высоких чинов, выдававших вагоны наряды.

Сейчас иметь наряд на вагон в западном направлении равносильно маленькому состоянию. Старший контролер дороги рассказывал мне, что сегодня по коридорам коммерческой части носилась барышня разыскивая некоего Полетнку по спешному делу продажи вагона за 50 тысяч рублей, делая это совершенно открыто.

Удачнее всех торгуют вагонами семеновские конторы; там надежнее всего, ибо в дальнейшем вагоны идут безопасно от семенизации и дополнительных взятков.

Хорошо торгуют чехи; японцы цепляют частные грузы своих купцов к воинским эшелонам.

6 декабря. Получена телеграмма, что вместо Флуга помощником Хорвата и командующим войсками Приамурского округа назначается проезжавший здесь Иванов-Ринов: печальное назначение, не обещающее ничего хорошего и скверно характеризующее мозги и намерения Омска. Иванов-Ринов был и остался бравым полицейским, сделавшим административную карьеру на жестокости усмирения Пешпекского восстания; в военном деле безграмотен и, как казак, тяготеет к атаманам: ему по-настоящему дисциплинарным батальоном командовать, а ему дали для воссоздания огромный военный округ.

9 декабря. Японцы остановили отряд Волкова, посланный для ликвидации Семенова, и пригрозили при неповиновении применить оружие; в Никольске же заставили вернуть оружие разоруженной калмыковской сотне. Это уже хуже, чем невмешательство, это открытая помощь бунтовщикам и прямой удар по образующейся русской власти.

Неужели же союзники и Соединенные Штаты не вмешаются и не осадят назад зарвавшихся япошей и не укажут им, что они не имеют права мешаться в операцию усмирения бунтовщика и пособника большевикам?

В газетах характерная телеграмма начальника читинских мастерских на имя начальника Забайкальской железной дороги о том, что работы мастерских приостановлены на два дня, так как рабочие по приказанию Семенова перепороты и не в состоянии выйти на работы. Пришибленный от страха начальник просит начальство оградить от повторения, так как это «отражается на продуктивности работ»; на иной протест бедняга не решился: помирать скоропостижно — кому охота?

11 декабря. Японцы воспретили движение всех отрядов, двинутых для ликвидации Семенова. Неизвестно, что делает Омск для остановки этого возмутительного вмешательства; говорят, что все сообщения с Омском прерваны Читой, телеграммы не пропускаются, и остановлены все поезда, идущие на запад. Происходит очевидное восстание Читы против Омска, и последний должен биться на два фронта. Японцы раскрыли свои карты: им не нужно воскресшей России, раз они поддерживают столь решительно гнойный, развратный читинский прыщ.

12 декабря. Затыжка семеновского инцидента делается тревожной; союзники безмолвствуют. Сегодня получены сведения, что японцы разоружили сибирские части, двинутые для ликвидации Читы; это уже венец позора и вместе с тем патент на звание Иуды Гришке Семенову, который ради спасения своей блудливой фигуры направил друзей-японцев на русские войска.

16 декабря. Ночью ограбили коммерческое собрание; когда туда явилась полиция, то в одной комнате нашла гостей, продолжавших от страха сидеть с поднятыми вверх руками. Говорят, что грабители — выгнанные из разных организаций офицеры.

20 декабря. Семеновская авантюра продолжается. Союзники полувмешались, но в пользу атамана; сделано это семеновским приятелем и прихлебателем, французским капитаном Пеллио, который обошел приехавшего французского генерала Жанена, настроил его в пользу Семенова, и теперь Жанен работает, чтобы свести все на нет. Значит, здоровый и нужный для утверждения авторитета Омска исход становится почти безнадежный, ибо против него не только японцы, но и главный представитель союзников.

Невероятно печально наше положение, когда жизненнейшие вопросы нашего существования решаются японскими, французскими и иными капиташками, прикормленными и припоеными тароватым по этой части атаманом; там за ними ухаживают, улаживают их чем угодно, до женщин включительно, и получают за это заступничество и радужные донесения.

В Харбине появились семеновские вербовщики и смаивают молодежь на службу к атаману, рисуя соблазнительные картины вольной, бездельной и не знающей удержа жизни; одному из артиллерийских офицеров так и говорили: «жрем до отвала, пьем до беспросыпа, препятствий никаких, а служба — одно удовольствие».

1919 ГОД

29 апреля. Прибыл в Омск; в ставке невероятная толчея, свойственная неналаженному учреждению; в работе не видно системы и порядка; старшие должно-

сти заняты молодежью, очень старательной, но не имеющей ни профессиональных знаний, ни служебного опыта, но зато очень гоноровой и обидчивой. На один такт верный приходится девять неверных или поспешных; все думают, что юношеский задор и решительность достаточны, чтобы двигать крайне сложную и деликатную машину центрального управления.

30 апреля. По просьбе адмирала (Колчака, «верховного правителя») рассказал ему свои впечатления о харбинской и владивостокской военной, политической и общественной жизни; высказал свое *credo*, что атаман и атаманщина — это самые опасные подводные камни на нашем пути к восстановлению государственности и что необходимо напрячь все силы, но добиться того, чтобы или заставить атаманов перейти на законное положение и искренно лечь на курс общей государственной работы, или сломать их беспощадно, не останавливаясь ни перед чем.

Адмирал ответил, что он давно уже начал эту борьбу, но он бессилен что-либо сделать с Семеновым, ибо последнего поддерживают японцы, а союзники решительно отказались вмешаться в это дело и помочь адмиралу; при этом Колчак подчеркнул, что за Семенова заступаются не только японские военные представители, но и японское правительство.

Боюсь, что по этой части адмирала обманывают его докладчики, а особенно Иванов-Ринов и другие спасители Семенова; общее впечатление моих дальневосточных впечатлений, что дальневосточную атаманщину поддерживают определенные лица японской военной партии и делают это ловко, придавая всему вид тайной правительственной поддержки.

Адмирал сообщил, что только что получил от Иванова-Ринова две листовые телеграммы о том, что все спасение Дальнего Востока — в назначении Семенова командующим дальневосточной армией; очевидно, чинские фирмы так вскружили голову бывшей полицейской ярыжке, что он возомнил, что в союзе с Семеновым ему легко будет забраться и повыше второго места на Дальнем Востоке.

Я вновь доложил адмиралу свое убеждение в необходимости раз навсегда разрешить атаманский вопрос и высказал свой взгляд, что единственным исходом будет официальное обращение ко всем союзникам с протестом против поведения Японии, поддерживающей

явного бунтовщика, не признающего власти омского правительства, подрывающего ее авторитет и насаждающего своими насилиями и безобразиями ненависть к правительству и сочувствие к большевикам. Раз союзники заявляют, что не желают вмешиваться в наши внутренние дела, то зачем же они допускают японцев поддерживать антиправительственную организацию и вмешиваться в отношения адмирала к взбунтовавшемуся и забывшемуся подчиненному?

Если же это не поможет, то самому адмиралу надо принять командование над отрядом и идти на Читу; пусть японцы устраивают всеветный скандал и разоряют самого верховного главнокомандующего. Читинский нарыв надо ликвидировать, иначе он все сгноит и задушит.

Радикальность предлагаемых мной мер смутила даже адмирала, и он перешел на отчаянное положение дела снабжения армии.

2 мая. Читал пространное донесение полевого коитроля при отряде атамана Аниенкова, работающего к югу от Семипалатинска на границах Семиречья; порядки те же, что и у нас в Приамурье: те же беззакония, тот же произвол, то же нежелание перейти на легальные условия существования и хозяйства.

На запрос контроля об оплате произведенных реквизиций Аниенков ответил: «Я реквизирую, а кто будет платить — не мое дело».

К делу поставок в этом отряде примазались разные проходимцы и мошенники, выгнанные со службы и судимые за подлоги и растраты; всюду для грязных операций нужны грязные люди.

Вернулся с фронта начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Лебедев, выдвинутый ноябрьским переворотом на эту исключительно важную должность. Что побудило адмирала взять себе в помощники этого случайного юнца, без всякого стажа и опыта? Одни говорят, что таково было желание устроителей переворота; другие объясняют это желанием адмирала подчеркнуть связь с Деникиным, который прислал сюда Лебедева для связи.

Впечатление от первой встречи с наштаверхом неважное: чересчур он надут и категоричен, и по этой части очень напоминает всех революционных вундеркиндов, знающих, как пишется, но не знающих, как выговаривается.

Из ознакомления с донесениями с фронта убедился, что дела там совсем неважны и что оптимизм ставки ни на чем не основан. Достаточно разобраться по карте и проследить последние события, чтобы убедиться, что наше наступление уже захлебнулось и подкрепить его уже нечем. Здесь этого не хотят понять и злятся, когда это говоришь: слишком все честолюбивы, жаждут успехов и ими избалованы.

В районе Бугуруслана нас прорвали в очень опасном месте; этот прорыв уже третьего дня намечался группировкой красных войск и их передвижениями, и мало-мальски грамотный штаб, конечно, в этом разобрался бы и принял бы необходимые меры. У нас же этого не расчухали или прозевали, или не сумели распорядиться. Сейчас зато злятся, ищут виновных и рассылают обидные цуки.

Я считаю положение очень тревожным; для меня ясно, что войска вымотались и растрепались за время непрерывного наступления — полета к Волге, потеряли устойчивость и способность упорного сопротивления (вообще очень слабую в импровизированных войсках). При таких обстоятельствах обозначавшийся уже на левом фланге переход красных к активным действиям очень неприятен, так как готовых и боеспособных резервов у ставки нет; имеются совершенно сырые части генерала Каппеля, но для них нужно еще 2—3 месяца для того, чтобы они стали годными для упорных операций.

Был у военного министра генерала Степанова; знаю его по артиллерийскому училищу; порядочный человек; старательный, но бесцветный работник; знакомство с адмиралом в Японии выдвинуло его на тяжелый пост военного министра.

Сейчас под него подкапывается ставка, сваливая на него все недостатки по снабжению армии. Вообще отношения между ставкой и военным министерством самые враждебные; обе стороны зорко шпионят одна за другой и искренно торжествуют и радуются, если противник делает промахи и ошибки; оказывается, что в общем моральном разложении можно было докатиться и до такой гадости. Вот к чему приводит борьба за власть, за первенство; честолюбие, корыстолюбие, женолюбие слепят многих и заставляют забывать главное — спасение родины и борьбу с страшным красным зверем. В угаре этой борьбы в средствах не стесняются,

а поэтому сплетня, провокация, ругань, возведение самых гнусных обвинений и распространение самых подлых слухов — в полном ходу.

3 мая. Утром поехал к члену местной японской военной миссии майору Мике, который в 1914—1915 годах состоял при штабе X армии, когда я был начальником штаба армии; приказа о моем назначении еще нет, и я решил воспользоваться своим неофициальным положением и прежним знакомством с Мике, чтобы резко, определенно и без всяких экивоков высказать ему свое удивление по поводу того, что своим вмешательством в наши дела с Семеновым они не дают нам возможности справиться с опасной смутой и утвердить незыблемый авторитет новой государственной власти. Какими фиговыми листьями ни прикрывай они дерзости и бунтарства Семенова, истина для всех ясна, и дерзость есть дерзость, бунт есть бунт. Копаться в этой истории поздно, и ее надо прикончить, но так, чтобы при этом не пострадал престиж власти и чтобы впредь уже никому не было повадно выкидывать такие фокусы.

Если Семенов действительно любит Россию, то обязан понять, что сейчас долг каждого поддерживать Омск, помогать ему, ослаблять его промахи и всячески поднимать авторитет власти; будь он даже прав во всей этой истории, он обязан пожертвовать своим личным на общее благо, проявить полнейшее, беспрекословное, сугубо подчеркнутое повиновение и, забыв все, работать изо всех сил на общее русское дело, а не ради интересов читинского болота и его вздорных лягушек. Сейчас это его священный долг, дабы залечить ту глубокую и опасную рану, которую он по заносчивости нанес общегосударственной власти.

Все это я высказал Мике, причем подчеркнул, что сейчас главная задача правительства — возможно скорее восстановить законность, порядок, уважение к власти и внушить населению уверенность, что народившаяся власть — это власть крепкая, честная, законная и сильная, способная заставить себя слушаться; нельзя позволять населению края продолжать жить в атмосфере произвола и насилий, ибо это делает его анархическим и толкает в объятия большевиков и злостных агитаторов. На Дальнем Востоке одним из крупнейших препятствий к водворению порядка и законности являются атаманы и окружающие их банды насильников, интриганов и темных жуликов, прикрывающих высокими

и святыми лозунгами всю разводимую ими грязь и преследование личных, шкурных, честолюбивых, корыстолюбивых, чрево- и плотоугодных интересов. Для этих гадин восстановление порядка и закона все равно, что появление солнца для ночных пресмыкающихся, ибо с восстановлением закона приходит конец их вольному, разгульному и развратному житию и кончается приток в их бездонные карманы безотчетных сумм, добываемых самыми темными путями.

Психология этих белых товарищей самая комиссарская, но у них не хватает откровенности, и они драпируются в ризы любви к отечеству и ненависти к большевизму. Каторжный Калмыков двух слов не скажет, чтобы не заявить, что он идейный и активный борец против большевиков, а японцам должно быть лучше всех известно, с кем и какими средствами борется и расправляется этот хабаровский подголосок Семенова.

Я указал Мике, что у них достаточно агентов при Семенове и Калмыкове, чтобы знать, что делается в Чите, Даурии и Хабаровске, в атаманских юридических отделах и чрезвычайках; как грабится казенное добро, как продаются вагоны и какого сорта люди окружают Семенова и являются его советниками, представителями и уполномоченными.

Было тяжело говорить это иностранцам, но я считал, что это мой тягостный долг. Мике и пришедший затем полковник Фукуда хакали и изображали на своих лицах удивление, как будто бы я сообщал им что-нибудь новое и чрезвычайно странное; оба заявили, что ничего подобного им не известно, на что я порекомендовал затребовать от своих агентов необходимые сведения и выразил надежду, что, разобравшись, японцы помогут нам обратить Семенова в законное русло и сумеют очистить его от облепивших его гадов, ибо по всему, что известно о Семенове, опасен не он, а окружающая и пленившая его клика, о которой выражаются, что в ней никого и заподозрить в порядочности нельзя.

Вред атаманщины, это — мое *credo*; я считаю, что она работает на большевизм лучше всех проповедей и пропаганды товарищей Ленина и Троцкого. На это явление надо смотреть в широком масштабе, беспристрастно, объективно и аналитически. Мальчишки думают, что из-за того, что они убили и замучили несколько сотен и тысяч большевиков и замордовали некоторое количество комиссаров, то сделали этим великое дело, нанесли

большевизму решительный удар и приблизили восстановление старого порядка вещей. Обычная психология каждого честолюбивого взводиного, который считает, что он решил исход боя и всей войны. Но зато мальчики не понимают, что если они без разбора и удержу насильничают, порют, грабят, мучают и убивают, то этим они насаждают такую ненависть к представляемой ими власти, что московские хамодержцы могут только радоваться наличию столь старательных, ценных и благодетельных для них сотрудинок.

4 мая. Получил от Неклютина копию доклада главного начальника Уральского края Постникова о состоянии вверенного ему края; ужаснулся аналогии со всем тем, что происходит у нас на Дальнем Востоке; полное падение авторитета власти, вызванное нечистоплотностью ее представителей; то же засилье распущенных военных начальников; то же повеление народных масс, неудовлетворенных бесполезностью и гнильностью власти. При всем своем пессимизме я не ожидал, что и здесь так же плохо и что и тут, много ближе к власти и к аресту ожесточенной борьбы, разворачивается такая же безнадежная, гнетущая и грозная по своим неизбежным последствиям картина.

На фронте неважно. На уфимском направлении один из украинских куреней (здесь тоже допустили эту нелепицу) перебил офицеров и перешел к красным. Несмотря на то, что в Западной армии дела совсем плохи, Сибирская армия продолжает наступление на запад. Ставка на все это взирает и, по-видимому, не вмешивается, очевидно, неспособная понять, что неуспехи на фронте Западной армии глубже и опаснее, чем это им кажется, и что надо очень и очень об этом подумать, подобрать вожжи и выработать план действий сообразно слагающейся обстановке.

На оперативном докладе 27—30-летние генералы, не видевшие фронта, очень решительно ругают неумение и нераспорядительность фронтовых начальников. Пока что, вместо того чтобы остановить Сибирскую армию и сообразить, что же дальше делать, сорвали с места и экстренно гонят на фронт, на затычку разных дыр и слабых, совершенно не готовых к бою части ген. Каппеля и бывшие в тылу конные части. Этим сырьем дела поправить нельзя, затычки и заплатки не помогут, но зато части быстро истребятся и сделаются не способными к бою; ведь опять-таки недавний еще опыт гер-

манской войны дал нам десятки печальных примеров такой стратегии.

Ясно, что наше наступление выдохлось, а красное началось; нужно это учесть и принять сильные меры, а не отмахиваться и затыкать пробиваемые во фронте дыры. На мои замечания ставочные вундеркинды удивленно косятся и небрежно замечают, что победы под Пермью, Уфой и в других местах одержаны еще более сырыми частями; они не способны понять разницы в обстановке и разницы боевого качества милиционных частей при успешном наступлении от такового же — при начавшихся неудачах, отступлении и необходимости упорной и стойкой обороны; к последней не были годны красные; не годны к ней и мы: значит, надо отходить, вытянуть резервы, дать им отдохнуть, дойти до выработанного исходного положения для нового наступления и тогда уже перейти в таковое.

5 мая. Полученные от армий сведения о состоянии снабжений дают самую отчаянную картину; самое скверное в том, что нет надежды на скорое улучшение, ибо все заказы с большими опозданиями размещены на востоке, срочность исполнения не обеспечена, а транзитный транспорт сократился почти вдвое, так как восстания в Енисейской губернии остановили ночное движение на всем Красноярском участке, и Иркутский узел все более и более забивается не пропускаемыми на запад поездами.

(7 мая автор вместе с Колчаком отправились в Екатеринбург на съезд представителей фабрично-заводской промышленности.)

8 мая. Утром прибыли в Екатеринбург; на вокзале встречены командующим сибирской армией генералом Гайдой; почетный караул от ударного, имени Гайды, полка с его вензелями на погонах, бессмертными нашивками и прочей бутафорией; тут же стоял конвой Гайды в форме прежнего императорского конвоя.

Все это очень печальные признаки фронтового атаманства, противно видеть все эти бессмертные бутафории, достаточно позорные в последние дни агонии старой русской армии; еще противнее вместо старых заслуженных вензелей видеть на плечах русских офицеров и солдат вензеля какого-то чешского авантюриста, быть может, и храброго, но все же ничем не заслужившего чести командовать русскими войсками в их святой борьбе за спасение родины.

Сам Гайда, ныне уже русский генерал-лейтенант, с двумя Георгиями, здоровый жеребец очень вульгарного типа, по нашей дряблости и привычке повиноваться иноземцам влезший на наши плечи; держится очень важно, плохо говорит по-русски. Мне — не из зависти, а как русскому человеку, бесконечно больно видеть, что новая русская военная сила подчинена случайному выкидышу революционного омута, вылетевшему из австрийских фельдшеро в русские герои и военачальники. Говорят, он храбр, но я уверен, что в рядах армии есть сотни наших офицеров, еще более храбрых; говорят, что он принес много пользы при выступлении чехов, но ведь это он делал для себя, а не для нас; вознаградите его по заслугам, и пусть грядет с миром по своему чешскому пути; что он нам и что мы ему, он показывает это достаточно своим исключительно чешским антуражем, тем чешским флагом, который развевается у него на автомобиле, теми симпатиями, которые он во всем проявляет к чехам, всячески их поддерживая. Не могу дознаться, кто подтолкнул Омск на такое назначение, которое обидно, бесцельно, а может быть и вредным; то, что я слышал про Гайд у в ставке, убеждает, что это тоже крупный атаман, сумевший поблажками, наградами, подачками и возвышениями приобрести известные симпатии и образовать обширные кадры преданных ему лиц; такие революционные случайности понимают, что они случайны, и обыкновенно запасаются обязанными людьми для борьбы с разными течениями и деградациями. Вырастают эти бурьяны легко, а вырываются с великим трудом.

В штабе армии сделан оперативный доклад и прочитаны сводки о ходе действий в Западной армии. Я был ошеломлен и подавлен тем, что в тоне докладывавших (какой-то полковник, геи. Богословский и сам Гайда) сквозило несдерживаемое удовольствие по поводу неудач в Западной армии и усердно подчеркивались свои, довольно проблематичные при общем положении фронта, успехи. Я знал, что между штабами армий раздор и нелады, но никогда не думал, что дело зашло так далеко.

В ставке я сразу заметил, читая донесения штабов армий, что между ними существует антагонизм, вызванный несомненно соперничеством по части успехов и ссорами по вопросу о распределении сообщений; кроме того, как мне объяснили в ставке, сибиряки-представители

восставших против большевиков офицерских организаций — относились вообще очень пренебрежительно к Западной армии, как преемнице Народной армии Комуча.

За оперативной сводкой последовал совершенно абсурдный доклад о развитии наступления безостановочным движением на Москву, куда генерал Пепеляев обещается и обязуется вступить не позже, чем через полтора месяца. И все слушали и радовались. Я хотел доложить свой взгляд на невозможность этого проекта, но адмирал, под давлением Гайды, не дал мне слова, сославшись на то, что надо торопиться, чтобы не опоздать на парад всех войск гарнизона.

Трудно было ожидать полководческих талантов и приличного понимания широкого военного дела от бывшего австрийского фельдшера и подчиненных ему 28—30-летних генералов, видевших настоящую войну в роли взводных командиров; но можно было ожидать от них сколько-нибудь практической сметки и здравого смысла. Пришлось увидеть, что руководство операциями целых армий находится в руках младенцев, очень дерзких и решительных, но смотрящих на дело со ступеньки ротного командира и думающих только о своем приходе и о своих фантазиях.

Было обидно, что адмирал всему этому верил и радостно улыбался, когда ему повествовали, как Пепеляев под гром колоколов будет вступать в Москву; ведь если мы будем строить все на таких проектах, то легко добраться и до возможности потерять самую возможность когда-либо увидеть эту Москву.

Некоторые части одеты в английское обмундирование, доставленное генералом Ноксом, и в массе выглядят аккуратно и для неопытного глаза даже внушительно; остальные части одеты порядочными оборванцами. Самое скверное то, что все направлено на то, чтобы сколотить части по внешнему виду, а на отдельных солдат не обращено должного внимания. Это всегда было скверно, ну, а теперь это — основание верного неуспеха, ибо теперь нужны не боевые квадраты их дрессированных единиц, а подготовленные к бою отдельные единицы.

(В вагоне) я рассказал (генералу Попову) свои наблюдения при обходе войск, когда, между прочим, мне пришлось видеть два случая битья солдат офицерами за

то, что при проходе адмирала они не поворачивали, как полагается, головы, — уже одно это дает мне право на многие печальные выводы.

После обеда Гайда возил адмирала в чешскую мастерскую-фотографию, великолепно обставленную; судя по тому, что показывали адмиралу, фотография работает главным образом для Гайды, уготовляя ему великолепные по исполнению альбомы Урала и военных действий, с крышками из разных уральских пород, украшенных уральскими самоцветами; всюду гербы Гайды поверх опрокинутых вниз головами императорских и королевских орлов с надписью «ex libris P. Gaidae». Исполнение высокоартистическое и, несомненно, на русский казенный счет, ибо жалованья не хватит, чтобы все это оплатить.

...Гайде, например, вздумалось иметь конвой в старой императорской конвойной форме — и на это, по его приказу, истрачено свыше трех миллионов рублей.

Та же распушенность царит и дальше. Пепеляев захватил все запасы, найденные в Перми, и не хочет ни с кем делиться; он же заставил все местные заводы работать только на свой корпус; Гривин, Вержбицкий, Казагранди делают то же самое и не исполняют ничьих приказаний; благодаря этому в одних частях архизбыток, а у других голод и нищенство.

Все попытки учесть военную добычу и обратить ее на общее снабжение безрезультатны и вызывают самые острые протесты, даже вооруженное сопротивление; чинов полевого контроля гонят вон, грозят поркой и даже расстрелом. Гайда захватил единственную на всю Сибирь сукоиную фабрику, обозные мастерские — все то, чего нет в Западной армии, и не дает последней ни одной шинели, ни одной повозки или походной кухни; в ответ на это Западная армия прижимает Сибирскую, не давая ей фуража и гречневой крупы. Все распоряжения главного и полевого интендантов армиями игнорируются и не исполняются.

10 мая. Обедали у Гайды в шикарном особняке сукоинного фабриканта Злоказова. Я сидел рядом с шибко лезущим вверх генералом Сахаровым, сотрудником Нокса по устройству владивостокской офицерской школы, автором проекта создавать молодых офицеров краткосрочным обучением. Судя по его деятельности, он по идеологии недалеко ушел от блаженной памяти графа Аракчеева; по словам профессора Николаевского ниже-

нерного училища генерала Ипатовича-Горанского, Сахарова в училище звали бетонной головой; внешний вид его подходит к этому названию, внутреннее содержание, по-видимому, тоже. Он влюблен в Иванова-Ринова и заявил мне, что тот представляет крупного государственного человека. Оба они держиморды аракчеевского типа и оба были бы хорошими командирами дисциплинарного батальона, где их «государственные» качества нашли бы отличное применение. В Омске на эти типы спрос; не способная рассуждать стремительность нравится, и в ней видят залог твердости и успеха.

Глубоко печально, что главные персонажи омского градоначальства одурели от своего высокого положения и думают, что курс на непреклонность и на держиморд может привести к успеху; твердость власти — не значит угрюм-бурчеевщина.

11 мая. Вечером узнал от генерала Касаткина причины, побудившие ставку выбрать северное направление для развития решительного наступления против красных. Для нас, сидевших в тылу, выбор этого направления был всегда непонятен, так как казалось, что по всей обстановке следовало двигаться через Уфу и Оренбург на Самару и Царицын на скорейшее соединение с уральцами и Деникиным...

Маленькие люди в ставке говорят, что северное направление избрано под влиянием настойчивых советов генерала Нокса, мечтавшего о возможно скорой подаче английской помощи и снабжения через Котлас, где существовало прямое водное сообщение с Архангельском, куда уже прибыли значительные английские запасы.

Все это было очень заманчиво, но не могло быть поставлено во главу угла, ибо, в конце концов, имело за собой больше «нет», чем «да»; все это пришло бы само собой при хороших успехах у Самары и при соединении с Деникиным к западу от Царицына.

Все горе в том, что у нас нет ни настоящего главнокомандующего, ни настоящей ставки, ни сколько-нибудь грамотных старших начальников. Адмирал ничего не понимает в сухопутном деле и легко поддается советам и уговорам; Лебедев безграмотный в военном деле и практически случайный выскочка; во всей ставке нет ни одного человека с мало-мальски серьезным боевым и штабным опытом; все это заменено молодой решительностью, легкомысленностью, поспешностью, незнанием

войсковой жизни и боевой службы войск, презрением к противнику и бахвальством.

Нокс очень хорошо к нам настроен, но он очень мало понимает и стратегии, да еще в русской обстановке; он искренно хочет нам блага, но надо же уметь корректировать проявления этого хотения. Он, например, упрямо стоит на том, чтобы самому распределять приходящие к нему запасы английского снабжения, и делает при этом много ошибок, дает не тому, кому это в данное время надо; появились любимые части вроде капеллевского корпуса, отлично до последней нитки и с запасом снабженного, в то время, когда имеются голые и босые части, на которые эта неравномерность действует очень скверно. Методичному и привыкшему к системе англичанину хочется сразу все наладить, не считаясь совершенно с той обстановкой, в которой все это приходится делать.

Я говорил с Ноксом и просил его передать снабжение нам, обещаясь выполнять все его желания. Нокс горячился и указывал, что русские власти не умеют распределять свои запасы, и он не желает, чтобы доставляемое Англией снабжение распылялось без толка и без пользы.

12 мая. Продолжаю болтаться по секциям и наблюдать русскую болтливость и неделовитость: меня оставили сидеть здесь до конца съезда; знаколюсь с людьми, с настроением разных классов и с состоянием и нуждами разных отраслей промышленности. Утром был на заседании многочисленной кожевенной секции (Тюменский, Курганский и Красноуфимский районы): типичное российское заседание, председатель — демократического, эсеровского вида, но очень деспотического характера, всех перебивает, полемизирует с докладчиками и пользуется всяким случаем, чтобы подпустить резкость по адресу правительства и представителей власти; а случаев много, ибо несуразные меры разных агентов министерства снабжения довели кожевников до того, что им выгоднее гноить кожу в бучилах, чем сдавать ее в казну. Распоряжаются так, что и солдаты босы, и честные кожевенные предприятия трещат; наживаются же одни только жулики и спекулянты.

13 мая. Утром разбирался с заказами, распределенными здесь уполномоченными министерства снабжения, после чего высказал товарищу министра Мельникову, что в этом деле нужны прокурор, сенаторская ревизия

и военно-полевой суд, ибо, несомненно, многие заказы распределены или сумасшедшими идиотами, или заинтересованными в заказах мошенниками. Контракты составлены так, что все выгоды и преимущества даны подрядчикам, а за казной оставлены обязанности платить и отвечать за все случайности, без обеспеченной даже надежды и на срочность исполнения, и на самое исполнение. В общем, то же самое, что и во Владивостоке. Крупные заказы розданы демократически по мелким, маломощным, неизвестным и совершенно безнадежным подрядчикам без залогов, штрафов и с выдачей вперед авансов, ничем абсолютно не обеспеченных; эти подрядчики брались выполнить заказы в любое время, ибо, очевидно, никогда и не собирались выполнять принимаемые на себя обязательства. Большие заводы отказались от этих поставок, так как их невозможно было выполнить в указанные в условиях сроки, особенно по новым для Урала видам производства, по которым надо было ставить новые отделы.

В результате ни один заказ к сроку не выполнен, армия сидит без обоза и без походных кухонь, а подрядчикам розданы многие десятки миллионов казенных авансов под фиговое обеспечение.

От каких-либо наскоков казны подрядчики надежно обеспечены параграфом 6-м всех договоров, по коему казна должна доставлять сырье и материалы, а если это не будет исполнено, то всякая ответственность с подрядчика спадает.

Местные обыватели говорят, что эти подряды были предметом беззастенчивой спекуляции и продавались из рук в руки; был заключен договор на поставку пяти тысяч повозок стоимостью свыше 12 миллионов рублей с каким-то кондуктором подводного плавания, весь капитал которого состоял из знакомства с уполномоченными министерства и в носильном платье, а все техническое оборудование — в карманном ноже.

По словам Федотова, полученные от казны многомиллионные авансы пущены в спекуляцию по покупке и продаже разных товаров, об исполнении заказов думают только немногие, и в результате армия останется без необходимейших предметов снабжения.

14 мая. (На обратном пути в Омск) встретили поезд междусоюзного контроля — десять *grand new* пульмановских вагонов К.-В. железной дороги под двумя паровозами. Этим у фронта отнимается минимум два по-

ездных состава и в такое время, когда каждый вагон остро нужен.

Едут якобы знакомиться с состоянием фронтовых дорог, а на самом деле катаются.

Ведь это все старые, опытные железнодорожники, для которых достаточно донесений сотен сидящих всюду агентов и инспекторов для того, чтобы знать действительное состояние дорог.

Едут под флагом важного дела, а в действительности преследуют только интересы собственного любопытства и развлечения; очень приятно проехаться по незнакомой Сибири, в чудное весеннее время, повидать близко разные события, заглянуть «на фронт»...

Вагоны великолепны, буфет, повара и вина первоклассные, удобства путешествия исключительные, до вагона с машинистками *manches-courtes* включительно; едут, как избавители и благодетели. Ну, а остановка и без того хромающего движения и задержка движения на фронт продовольствия, снаряжения и одежды — это такие «пустяки» сравнительно с теми великими благодеяниями, которые принесет пробег этого великолепного поезда! Я искренно пожалел, что красные не спустили его около Тайшета под откос — вагоны блиндированные, и членовредительства не было бы.

Ведь и без того наши несчастные дороги стонут от экстренных поездов верховного, Лебедева, Гайды, разных чешских начальников, высоких комиссаров и прочих спасителей.

Все эти междосоюзные господа не в состоянии сообщить, что их ослепительный пробег взад и вперед нужен только им самим. Выдумали, что нас надо учить, как распоряжаться своими дорогами; нам нужны не их советы, не их вмешательство, не их поездки, а присылка нам паровозов, запасных частей и масла; тогда и мы справимся по-своему, не на первый, быть может, сорт, но не хуже иностранцев; насколько я успел познакомиться с работой министерства путей сообщения, то, кажется, это единственное, работа коего заслуживает полного одобрения и в котором рули управления в надежных и знающих руках.

Вместо советов лучше бы помогли реально поддержанию порядка на железных дорогах, понимая под этим не станции и рельсы, а всю полосу дороги. Если бы в полосе железных дорог был порядок, то тогда было бы легко иметь полный порядок и в эксплуатации. Что тол-

ку в том, что американские диспетчеры прибавят $\frac{1}{4}$ поезда в сутки, когда красноярские и тасеевские большевики спустят под откосы в десять раз большие количества вагонов.

Нужна моральная и материальная поддержка в самых широких и искренних размерах, а не советы, руководство, назойливые опекуны и прочие прелести наличной интервенции, навалившиеся на нас, как какие-то новые египетские казни.

15 мая. Вернулись в пыльный и душный Омск. Был на оперативном докладе в ставке; последние сводки мне очень не нравятся, так как несомненно на фронте Западной армии инициатива перешла в руки красных, наше наступление выдохлось, а армия катится назад, не способная уже за что-нибудь зацепиться. Наступление красных обозначилось уже определенно по двум направлениям: вдоль Самаро-Златоустовской железной дороги и в разрез между Сибирской и Западной армиями. Ставка не понимает положения и позволяет Сибирской армии наступать на глазовском положении. Одна лошадь в паре пятится назад, другая прет вперед. Направление в разрез армий ничем не прикрыто и, по мере продвижения сибиряков вперед, их положение делается все опаснее. Когда я указал это генерал-квартирмейстеру ставки, то тот сослался на наличие в Екатеринбурге больших резервов и добавил, что с введением в дело резерва Каппеля на фронте Западной армии все перевернется опять в нашу пользу.

Таким образом вся судьба зауральской кампании висит на двух кучах совершенно не готового к бою сырья, без артиллерии, без средств связи, не обстрелянного, не умеющего маневрировать; я не видел войск группы Каппеля, но и без того понимаю, что за несколько зимних сибирских месяцев и при условиях современной стоянки было абсолютно невозможно сформировать годные для боя части. Как подкрепления успеха такие части могли еще пригодиться, но, выдвинутые в расшатанный и кагающийся назад фронт Западной армии, они не в состоянии помочь делу; фронт же Западной армии и расшатан и катится неудержимо назад, что ясно чувствуется из туманных, загрированных и старающихся сохранить лицо донесений штаба этой армии; не подлежит сомнению, что потеряна способность сопротивления, что хуже крупного поражения.

Временами пытаюсь поймать себя в ошибочности

своих мрачных расчетов, но действительность не дает мне по этой части никакой лазейки; вижу перед собой непомерно растянутый фронт; растрепанные, полуголые и босые, истомленные и вымотанные вконец части; молодое, очень храброе, но неопытное и неискусное в управлении войсками и в маневрировании начальство; самоуверенные, враждующие между собой и не особенно грамотные по полководческой части штабы армий, автономные, завистливые, не способные друг другу помочь; самонадеянную, бездарную, безграмотную по стратегии и организации ставку, далекую от армии и не способную разобраться в происходящем; никаких ресурсов по части готовых для боя резервов; никаких планов текущей операции, кроме задорного желания изменить неуспех в успехе... и очень мало надежды на то, что все сие преходяще и может измениться в лучшую сторону.

То же, что делает сейчас ставка, есть безнадежное цеплянье за возможность какого-то чудесного переворота в нашу пользу; идет игра на авоську; а вдруг красные выдохнутся, или подброшенные резервы сразу изменят положение.

Все это приемы, недостойные крупной игры, показывающие, что, вместо мастеров, игру ведут авоськи да небоськи самого мелкого калибра.

В тылах тоже неблагополучно; серьезное восстание расползается в Кустанайском уезде; туда послан казачий генерал Волков, известный своей решительностью; сегодня он уже доносит, что две главные банды им достигнуты и истреблены. Вообще же на восстания в тылу ставка обращает слишком мало внимания и начинает тревожиться только, если это отзывается на подвозе или вызывает посылку войск; посмотреть поглубже и повнимательнее на это движение не хотят и только от него отмахиваются. Говорил по этому поводу с Бурлиным и Кондрашевым, настаивая на необходимости обратить внимание на тыловые восстания, отыскать вызывающие их причины и принять меры по устранению этих причин, каковыми в большей половине является не большевизм.

Ставка уверена, что если на фронте будет успех, то тылы смирятся и успокоятся; я же смотрю на это иначе и считаю, что никакие успехи на фронте нам не помогут, если местные агенты власти в тылу будут вести себя так, чтобы вызывать ненависть населения. Сейчас, например, идет формирование отрядов особого назначе-

ния, поступающих в распоряжение управляющих губерниями; казалось бы, что в эти отряды надо назначить отборный состав, обеспечить его материально самым широким образом, а у нас все делается как раз наоборот: в отряды идут отбросы армии и чиновничества, очевидно, в надежде нажиться; оклады в отрядах нищенские, одеты они оборванцами и даже не все имеют вооружение. Никакой реальной силы они не представляют, являясь по сущности полуразбойничьими бандами, годными на карательные экзекуции и на расправу с крестьянами, но не способными бороться с красными шайками.

16 мая. Весь день я просидел в ставке на совещаниях по поводу новой конструкции военного управления; с недоумением узнал, что, по-видимому, решено сосредоточить в лице Лебедева должности начальника штаба верховного главнокомандующего и военного и морского министров, дав ему помощников по всем трем должностям. Честолюбию этого бездарного выскочки, видимо, нет пределов.

Я заявил, что подобное совмещение совершенно невозможно, ибо нельзя совмещать полевую должность с званием министра, члена совета министров; пытался разъяснить совещанию, что если действительно армия и фронт страдают вследствие отношений, установившихся между ставкой и военным министерством и их верхами, то сама система управления тут ни при чем.

Надо или заставить верхи работать дружно и в одну струю, или же их сменить и поставить такие, которые работали бы, как хорошо съезженная пара; ломать же систему в такое горячее время невозможно.

Мое мнение осталось единоличным, и никто его не поддержал.

Докладывал адмиралу и все время убеждаю ставку, что надо во что бы то ни стало остановить рост армии и всякие самочинные формирования, ибо давно уже у нас нет во что их одевать, а кое-где нет и чем кормить. Ведь, по сводкам ставки, у нас на довольствии состоит около 800 тысяч человек; наладить снабжение в таких размерах мы совершенно бессильны.

На наше горе красные оказались умнее нас; когда у них обозначилась невозможность сдержать наш стихийный порыв, они отдали нам Урал, ушли на Волгу, подтянули подготовленные резервы, наметили очень нехитрый и белыми нитками шитый план операции и

тремя группами ударили по нашему растянутому фронту.

Ставка была обязана задержать армии на Урале, дать им устроиться и отдохнуть, обеспечить снабжение и тогда идти к Волге; вместо этого все понеслись вперед так, как будто бы красных не было.

Скверно то, что, судя по рассказам беспристрастных наблюдателей, импульсом этого безудержного наступления было честолюбие фронтовых начальников и погоня за намеченными впереди призами и связанными с их достижением наградами.

После взятия Перми и Уфы юные полководцы стремительно полетели вперед. Пепеляев на Вятку, Вержбицкий на Казань, Ханжонков на Самару; красные почти не сопротивлялись. При этом полете, сопровождаемом мелкими, но раздуваемыми всюду успехами, перестали думать и соображать; хотелось только первым прийти к поставленной цели и прославиться.

Получившееся при этом непомерное растяжение фронта создало благоприятную почву для многочисленных новых формирований и развертываний; была пущена в ход система местных мобилизаций, объявляемых самостоятельно начальниками разных войсковых комбинаций. Эти шальные, бессистемные призывы ничего, кроме вреда, не принесли и силы армии не прибавили; голодное население не особенно против них реагировало, так как поступление в войска давало одежду и кормежку.

Для этих спазматических формирований не было ни кадров, ни учителей, ни снаряжения; они только обманывали верх своим напугом, и своей численностью (это я видел уже в Екатеринбурге) они давали миражи армий и реальной силы там, где ни настоящих войск, ни реальной силы не было. При успешном наступлении все это не сказывалось, ибо серьезных боев не было, особенной опасности тоже, а всякий успех давал наступающему богатую добычу. Но с тех пор, как на фронте Западной армии фортуна повернулась к нам задом и понадобилась стойкость и подвиг, не слепленные ничем прочим части, случайные сборища деревенских и городских парней, оказываются уже не способными выдерживать выпавшие на их долю боевые и походные испытания. Так говорят приезжающие с фронта офицеры, преимущественно старые артиллеристы, которых я встречаю ежедневно в управлении полевого инспек-

тора артиллерии; многие прямо сознаются, что при отходе местные мобилизованные расходятся по своим деревням, унося одежду, снаряжение, а иногда и вооружение.

С подготовкой резервов в чаду успеха не торопились; сейчас с огромным уже опозданием всюду идет лихорадочная работа по выброске вперед этого сырья; спешкой уже не покрыть такие серьезные органические недостатки всей системы. Отсутствие самоанализа и служебного опыта позволяет и ставке и штабам армии забывать, что кучи людей, одетых в военную форму и имеющих — да и то не всегда — в руках ружья, представляют только весьма малую часть совокупности тех данных и качеств, которые необходимы для того, чтобы иметь право называть эти кучи воинскими частями, годными для войны и для боя.

Неудержимо гонят на фронт части группы генерала Каппеля; я перестал уже говорить об опасности отправки туда этого сырья, так как это бессильно кого-нибудь здесь вразумить. Закрыв глаза и заткнув уши, видят в этом спасение положения на фронте Западной армии и не желают разумно оценить все положение, хладнокровно подсчитать все шансы и принять решение, не считаясь ни с чем, кроме пользы. Мне уже надоело быть какой-то каркающей Кассандрой среди этих оптимистов, убежденных, что сейчас войну надо вести по особенным, им известным и уже проверенным на опыте правилам. Юицы не способны разглядеть тот рубец, на котором кончилось июньское восстание прошлого года и началась настоящая война, имеющая, конечно, свои специфические особенности, но все же настоящая, управляемая незыблемыми законами война. Они не разбираются в том, что армия в сотни тысяч ртов (к сожалению, не штыков) — это не партизанские отряды и офицерские организации первого периода войны и что для существования и управления армий необходимо держаться основ того, что выработала военная наука и что дал боевой опыт прошлого.

17 мая. Рано утром в ставке состоялось секретное совещание по вопросу о реорганизации военного управления; объявлено окончательно, что Лебедев будет наштаверхом и военным министром (добавление морского министра встретило сильное сопротивление морских кругов и, по-видимому, не пройдет). Ставочная и антистепановская молодежь в восторге и уже готова

плясать победный танец на костях поверженных врагов.

Я пытался убедить совещание в несвоевременности реформы, предлагал два компромиссных проекта, удовлетворяющих законным требованиям обстановки, но ничего не разрушающих, но все это было гласом вопиющего в пустыне.

Старые и тревожные картины: честолюбцы тянутся к власти, забирают ее полными руками, готовы стать неограниченными самодержавцами, но хватит ли знаний, умника, опыта, честн, любви к родине и жертвенного бескорыстия, чтобы со всем захваченным справиться! Ведь военное дело — то же ремесло, а чтобы быть хорошим ремесленником, надо практически изучить дело, начав с мелочей и пройдя все стадии мастерства. Надо знать не только, как пишется, но и как выговаривается.

Ставка швыряет на фронт все сырые резервы, гонит туда последние скудные запасы винтовок для того, чтобы раздать их еще не стрелявшим никогда парням и бросить их в наступление.

Везде в тылу спешно одевают в форму новобранческие толпы, наученные ходить с песнями и в ногу, дают им первый раз в жизни винтовки и воображают, что это солдаты, затем все это спешно набивается в вагоны и гонится на восток для закупоривания образовавшихся всюду на фронте дыр (он давно уже дырявый, но заметили это только теперь, когда во все дыры полезла наступающая краснота).

На внутренних фронтах по мере наступления теплого времени число очагов восстания все увеличивается; на Тайшетском участке идет настоящая война; восставшие банды громят волостные правления, убивают священников, лесничих и мелкую интеллигенцию.

18 мая. Лебедев и его молодежь разработали наконец окончательный проект системы военного управления, причем главная цель — истребление Степанова и Марковского с подчинением всего Лебедеву — достигнута. Результатом реформы является создание невероятно громоздкой ставки, вбирающей в себя часть отделов военного министерства.

Всю ставку сваливают на Бурлина, все министерство хотят нагрузить на меня, а Лебедев принимает двойной венец фронта и тыла и право все время кататься, но все путаться и ничего не делать.

На Тайшетском участке красные свалили под откос

двенадцать новых паровозов, шедших на усиление западносибирского участка.

Восстания и местная анархия расползаются по всей Сибири; говорят, что главными районами восстаний являются поселения столыпинских аграрников, не приспособившихся к сибирской жизни и охочих на то, чтобы пожить за счет богатых старожилов.

Плохо все это кончится; ставка упрямо все тащит на фронт и не желает понимать огромной важности образования в тылу прочных и надежных гарнизонов; посылаемые sporadически карательные отряды только бунтуют население, так как не разбирают правых от виноватых, жгут деревни, вешают и, где можно, безобразничают. Такими мерами этих восстаний не успокоить; для их исцеления нужны иные меры. Прежде всего глупо охранять железную дорогу, сидя на станции, ходя по рельсам и не имея ничего в стороне от дороги, в районе наиболее опасных селений и важнейших колесных дорог. Говорил об этом генерал-квартирмейстеру и оперативной части, но получил ответ, что это дело начальника красноярского района генерала Розанова, которому на месте виднее, что надо сделать для того, чтобы прикрыть железную дорогу от нападения восставших жителей. Так же легкомысленно смотрят в ставке на все нужды тыла. Думаю, что сейчас нас может выручить только дружеская оккупация наших тылов союзными войсками; возложить охрану порядка и власти на части, наспех и неумело формируемые из зеленой крестьянской и городской молодежи, неустойчивой и больной всеми приобретениями революции, — немыслимо. Не верю вообще в возможность скоро сформировать новые надежные части русской армии, даже при самых совершенных методах исполнения; то же, что делается в Приамурье и здесь, в Сибири, грозит подарить нас такими воинскими частями, которые в тяжелые минуты испытаний могут сделаться причиной нашей гибели; ведь уже и сейчас в шифрованных донесениях с фронта все чаще попадаются зловещие для настоящего и грозные для будущего слова «перебив своих офицеров, такая-то часть передалась красным». И не потому, что она склонна к идеалам большевизма, а только потому, что не хотела служить, не хотела рисковать в бою своею жизнью и в перемене положения, создаваемого изменой, думала избавиться от всего неприятного.

19 мая. Пришлось быть безмолвным свидетелем объявления Степанову уже совершившегося факта его от-

ставки и утверждения адмиралом новой реформы военного управления. Пришлось пережить очень неприятные минуты нравственной неловкости за вынужденное участие в этой церемонии и чувства стыда за адмирала, в котором не нашлось достаточно характера, чтобы сделать это самому и в более приличной для своего сотрудника форме; неискренность адмирала очень напоминает в этом несчастного Николая II.

21 мая. Ставка сообщила, что я назначаюсь помощником начальника штаба **верховного** главнокомандующего и управляющим военным министерством.

23 мая. Получил приказание верховного правителя вступить в управление военным министерством; во всех других назначениях мне отказано, причем адмирал приказал мне передать, что будет поддерживать меня во всех моих начинаниях.

Ставка и военное министерство пребывают уже два дня в состоянии полного хаоса; смелые реформаторы, начав свою перекройку, залезли в такие безысходные практические трущобы и встретились с такими неожиданностями, что совершенно растерялись. Они знают, как пишется, но не знают, как выговаривается.

Их легкомыслие дошло до того, что решили выполнить всю реформу в три дня, после чего сразу зажить по-новому. Только полное профанство в деле и мальчишеская задорность способны родить столь нелепое распоряжение. Думают — и в этом отношении очень не далеко ушли от комиссаров, — что стремительность и категоричность приказа, подкрепленные угрозами разных кар и жупелов, достаточно для того, чтобы заставить осуществить любой бред, любой каприз.

Я уверен, что и через три недели реформа эта будет еще продолжаться, и чем больше не будут торопить, тем она пройдет хуже и тем дольше затянется; в глубине же тыла и в обиходе армии она будет жить еще многие и многие месяцы.

24 мая. Досадно то, что большинству отделов ставки и министерства нельзя отказать в том, что с внешней стороны они работают очень усердно, и по первому взгляду можно подумать, что работа кипит; в действительности же, благодаря отсутствию опытных верхов, вся работа сводится к пустопорожней переписке, к сбору запоздалых и никому не нужных статистических и справочных данных и к ущемлениям и пререканиям. С одной стороны наталкиваешься на самую заскорузлую канце-

лярщину и сухой, не желающий ни с чем считаться бюрократизм, с другой стороны — царит самая неприкрашенная внутренняя атаманищина и царство личного произвола и усмотрения.

25 мая. Создал себе внушительный круг врагов среди сильных представительниц слабого пола, проведя через ставку приказ о воспрещении пользоваться казенными автомобилями для частных надобностей; надо положить конец тем безобразиям, которые мы видели на большой войне и которые продолжаются и ныне, приводя к тому, что число автомобилей тем меньше, чем ближе к фронту; тылы переполнены автомобилями, а на фронте начальники корпусных групп и дивизий их не имеют; здесь вся адъютантищина и прихлебательская челядь высоких лиц раскатывает по магазинам, ресторанам и визитам в казенных автомобилях, тратя скудные запасы горючей смеси и масла и разбивая шины, — все, что мы достаем с великими усилиями и на золотую валюту; по вечерам вся дорога у загородного сада покрыта казенными машинами с высокими военными и гражданскими дамами, приезжающими сюда отдохнуть от ужасной омской пыли. О том, во что обходятся казне эти прогулки, головки милых дам не думают.

По ночам казенные автомобили торчат у крылец разных увеселительных и элитных мест, ожидая иногда высоких сановников, освежающихся там от великих государственных трудов, а чаще всего их адъютантов, чиновников для поручений и прочего чиновного лакейства.

Я настаиваю на необходимости оставить машины только у тех лиц, служба которых требует быстроты передвижения, а все освободившиеся автомобили отправить немедленно на фронт; это облегчит передвижение строевых начальников и покажет армии, что о ней думают не только на словах, а способны кое-чем для нее и поступиться.

Вечером получил некоторый сюрприз, так как оказалось, что Лебедев назначен все же военным министром, а я попал к нему в помощники.

26 мая. На фронте никакой надежды на улучшение; как ни загромированы фронтовые донесения, из них все же всюду лезет, что дела неважны; несомненно, что способность сопротивления многих частей потеряна и что офицеры и солдаты выбились из сил; при таком положении нужна или смена, или отдых, а мы не в состоянии ни сделать первой, ни дать второго.

То, что делает ставка, для меня непонятно: это или полная военная безграмотность, или же отсутствие мужества сознаться в своей ошибке, в плохом расчете всей операции; видимо, Лебедев и К° или безнадежно слепы, или не способны на сильное мужественное решение; они безмерно честолюбивы, им хочется только успеха и славы; им, как капризным детям, хочется, чтобы боженька помог, чтобы с их горизонта исчезли противные красные бьяки и чтобы наступили опять победные и столь приятные для них дни.

Сейчас не может быть никакого сомнения в том, что мы потеряли все успехи этой зимы; красные умело учли все наши ошибки и все невыгоды безмерно растянутого, жидкого и расстроенного положения; ярко очевидно, что на нас ведется решительный удар и что против нас введены в дело свежие резервы. Все это делает борьбу очень неравной, и в этом надо честно сознаться, трезво оценить создавшееся положение и принять героические решения.

27 мая. В ставке и по всему городу ползут слухи о предъявлении адмиралу Гайдой какого-то ультиматума, в котором, обвиняя Лебедева и К° в бездействии и в глупых и вредных распоряжениях, он требует немедленно убрать Лебедева и передать всю оперативную часть генералу Богословскому.

Ставка пытается сохранить все это в секрете, но секрет дырявый, и сквозь его дыры лезут и расползаются самые нелепые слухи и зловердные комментарии.

Такой взрыв со стороны Гайды был, по моему мнению, неизбежен по двум причинам: прежде всего несомненно, что распоряжения ставки — нелепые, несообразные с обстановкой, возлагающие на войска невыполнимые задачи и принимающие очень часто дерзкие и обидные для войск формы — не могли не вызвать острого раздражения штабов армий против ставки и ее главы Лебедева; особенно недоволен был штаб Сибирской армии, всегда почти автономной, гордой своими победами. Фронт всегда и без того ненавидит свои тыловые верхи, зло и придиричливо разбирает все их распоряжения и в них видит причины всех своих бедствий и неудач; нужно очень умелое и тактичное руководство и большая забота верхов об армии для того, чтобы победить это органическое нерасположение, подчас даже ненависть. Ставка же, наоборот, делала все, чтобы стать на фронте сугубо постылой и остро ненавистной, ну, а штабы армий, групп

и дивизий, с своей стороны, постарались, чтобы это усугубить. Частые поездки на фронт Лебедева, очень надменного, самовлюбленного, резко и бестактно путавшегося в армейские распоряжения, конечно, не могли способствовать укреплению авторитета ставки.

Сама атмосфера ставки, с неналаженностью и суетливостью работы, важностью молодых сановников и малым вниманием к нуждам и просьбам армий, также не могла прибавить уважения и доверия.

Несомненно, что и штабы армий страдали теми же недостатками, но кто же способен видеть даже бревна в собственном глазу?

С другой стороны, было совершенно естественно, что начатая с весны реорганизационная работа и постепенные попытки привести армию к законному порядку существования не могли быть встречены спокойно и благожелательно фронтовыми владыками, атаманами и атаманчиками, которые не могли понять, что все это жизненно необходимо для пользы дела, и смотрели на все такие меры, как на личную обиду и на посягательство на их законные права.

Они привыкли жить по-своему, стеснений не любили, тылу и верхам не верили, новых порядков и ограничений их воли и самодурства не желали; хотели продолжать распоряжаться самостоятельно, вне какого-либо удерживающего и контрольного влияния. Будучи детьми бурных времен, они были не способны перейти к более спокойным условиям и более ограниченным рамкам существования, а потому поднимались против всего, что хотело положить предел тому, что они считали своими неотъемлемыми и на войне приобретенными правами.

Затеянные ставкой реформы и проявляемая ею, хотя пока еще только бумажная, деятельность и настойчивость в желании их осуществления должны были вызвать и вызвали резкий протест и отпор со стороны фронта, но, конечно, не в форме открытого неповиновения, а под каким-либо благовидным предлогом, каковой и нашелся в общей ненависти к главе нашей ставки и к самой ставке и в недовольстве шальными, бесталанными и гибельными по своим последствиям распоряжениями очень молодого наштаверха.

Я смотрю на дикую выходку Гайды как на последнюю попытку обратить внимание адмирала и правительства на все происходящее и на невозможность иметь во главе высшего оперативного управления бездельного и

бесцветного наштаверха. Это то же самое, что пытался сделать в 1905 г. Гриппенберг в отношении Куропаткина. Вижу, что был прав, когда во время поездки в Екатеринбурге при разговоре с адмиралом по поводу капризности и неисполнительности Гайды и под впечатлением той враждебности к Западной армии, которая чувствовалась в атмосфере Екатеринбурга, я советовал адмиралу подчинить Гайде обе армии, видя в этом единственный выход из создавшегося положения. Я был уверен, что тогда Гайда вылез бы из себя, но сделал бы все, чтобы доказать, что его гений способен всякий неуспех обратить в победу, и дал бы все необходимое для помощи Западной армии; наличие достаточно организованного штаба и, по-видимому, энергичного и дельного Богословского гарантировало техническую сторону дела; одновременно этот исход разрешал вопрос и реорганизации управления армиями, уничтожал их автономию, приближал оперативное управление к фронту и ставил ставку в надлежащее ей положение. Адмирал тогда задумался и обещал поговорить с Лебедевым, что было равносильно похоронам по первому разряду.

Пришлось просить генерала Касаткина составить и разослать в армии, корпуса и дивизии брошюру о железных дорогах с изложением самых элементарных сведений о работе железных дорог, о данных, обуславливающих их провозоспособность, и о зависимости последней от профиля, водоснабжения, расположения депо и запасов топлива и пр. и пр. А то наши фронтовые полководцы думают, что железная дорога — это все равно что улица и что достаточно пригрозить расстрелом или поркой личного состава или поставить всюду зубодробительных комендаитов, чтобы по линии побежало столько поездов и такого состава, сколько заблагорассудится какому-нибудь скоропалительному превосходительству. Позабыл фамилию какого-то очень молодого, но и очень решительного генерала в Екатеринбурге, который на заявление начальника дороги о том, что технические условия не позволяют станции пропустить больше известного числа вагонов, заявил, что придет на вокзал своего есаула с казаками, и тогда станция пропустит вдвое и втрое больше.

Он был очень поражен, но понял свое заблуждение (в чем искренно соизался), когда я ему объяснил влияние профиля, величины перегонов, длины путей и остальных технических данных на пропускную и приемную спо-

способность станций. Жалко, что раньше не начали учить наш командный состав; большевики учили это лучше нас, посадив всюду прикованных на цепочки спецов, восполняющих неграмотность старшего коммунистического начальства.

29 мая. Восстания в близком и глубоком тылу разрастаются, весна и листва дают огромные преимущества повстанческим бандам; средств противодействия у нас нет, так как все годное притянул фронт, а те импровизированные части, которые посылаются в тыл, способны только на то, чтобы поднимать новые восстания. Обозрав тыл, ставка учинила огромный н, быть может, непоправимый промах, ибо без спокойного тыла нам никогда не выгреть.

Мой «пессимизм» считает, что сейчас военными средствами нам уже не справиться с тыловыми восстаниями и что для этого надо или какое-нибудь чудесное изменение настроения населения, созданное экстремнейшими и шкурнополезными мерами, или же немедленная оккупация тыла союзными войсками и введение там смешанного русско-союзного управления, в котором союзная его часть должна гарантировать населению безопасность от атаманины и беззаконий.

К сожалению, оккупация *en masse* возможна только за счет Японии и ее войсками, а между тем то покровительство, которое оказывается японскими начальниками Семенову и Калмыкову, не дает никакой возможности надеяться на нужную для нас политику японской оккупации.

Желая дать вооруженную силу начальникам губерний и областей, министерство внутренних дел стало формировать отряды особого назначения; забыли, что служба таких отрядов требует отборных людей строго законного порядка, и получилось нечто очень мрачное и нелепое, ничтожное по своему военному значению, неспособное справляться с крупными восстаниями, но зело вредоносное по своей распушенности, жажде стяжания и легкости по части насилий.

В отряды попало немало старых, опытных полицейских и жандармских ярыжек, которые по старой привычке надувать начальство заливают его донесениями об успехах, разгроме повстанцев и покорении под-нози, а сами бегают от повстанцев и отводят душу над беззащитным населением. Лучше бы бросили все эти усмирения и ограничили охраной железной дороги; быть мо-

жет, без усмирений все усмирилось бы само собой, особенно когда подошло бы время полевых работ.

30 мая. Ночью адмирал лично отправился в Пермь на уговоры Гайды. Скверная вещь это разные уговоры, сие блестяще доказано два года тому назад нашим неудачным главноуговаривающим Керенским и его вольными и невольными последователями; я сам это пережил в течение шести месяцев состояния в роли корпусноуговаривающего. Компромисс — это не решение, а только временная отсрочка, спешный ремонт опасной трещины, поверхностное, но не радикальное лечение.

Адмиралу надо отцукать Гайду, заставить его понять весь вред его дерзкой эскапады, но надо также и самому разобраться в доводах Гайды и убрать бесталанного и вредного наштаверха; ведь Гайда совершенно прав, обвиняя Лебедева и ставку в неумелых и вредных для фронта распоряжениях и требуя направления всей работы ставки на более дельную дорогу; ведь очевидно, что ставка ничего до сих пор не дала ни по части оперативного управления, ни по части организации.

Сегодня по карте я подсчитал, что отсутствие руководства армиями во время шалого военного полета к Волге и нелепое выбрасывание вперед отдельных частей в стремлении первыми и поскорей захватить известные пункты привело к удлинению фронта на 260 верст, разбросало армии и группы и лишило их всяких резервов.

31 мая. Наступательные эксперименты с неготовыми для боя войсками окончились очень печально: левый фланг Сибирской армии разбит и, как доносит Гайда, «дезорганизованные части генерала Вержбицкого бегут». Впервые встречаю в оперативной сводке такое откровенное донесение; в ставке считают, что сейчас Гайда желает возможно сильнее сгустить краски о положении на фронте для того, чтобы резче подчеркнуть, к чему привели распоряжения Лебедева; мне же думается, что под общим приподнятым настроением прямо сорвалось слово правды, которую прежде усердно гримировали.

Несомненно только, что и в Сибирской армии перешли за коэффициент упругости боевого сопротивления и что ей грозит тот же оборонительный паралич, который уже разбил Западную армию.

Вообще, положение на фронте сделалось таким, что недавние оптимисты примолкли и в Омске наступило довольно тревожное настроение.

Я смотрю на будущее еще мрачнее, так как наши

последние резервы — 11-я, 12-я и 13-я дивизии, формируемые в тылу в Омске и Томске, к бою еще не готовы, не имеют артиллерии, пулеметов, средств связи, обоза и пр. и пр.

А между тем очевидно, что нам на Урале уже не удержаться, а это грозит Екатеринбург, Перми и Челябинску, в которых сосредоточены большие запасы разного снабжения. Поэтому приказал приостановить продвижение за Омск новых запасов и просил начальников снабжений армий расходовать все то, что накоплено в их тылах. Просил генерал-квартирмейстера ставки дать заключение о том, не своевременно ли начать частичную эвакуацию Екатеринбурга, но получил громоносный ответ на тему, что подобные проекты могут отразиться на «настроении войск».

Вот до чего доводит кабинетное управление при помощи несведущих по своей специальности юнцов; они живут утопиями и миражами, мечтают о сохранении настроения, которое так определенно обрисовано в сегодняшнем письме Конковского.

1 июня. В ставке нахмуренное настроение; Лебедеву приказано считаться больным, и он занимается в своем вагоне, передав фактическое исполнение наштаверха Бурлину; говорят, что это сделано, чтобы не дать повода бурному Гайде осуществить какую-нибудь выходку и не дразнить его получением распоряжений за подписью Лебедева.

3 июня. На фронте Сибирская армия покатила назад и покатила совсем скверно, по-видимому, в положении, близком к катастрофическому; разгром ее левого фланга поставил в почти безвыходное положение ее правофланговые части, которые все время гнали вперед, в направлении на Глазов.

Фронт сломлен, а тут еще инцидент с Гайдой и перекраивание омскими портными дырявой и без того хламиды высшего военного управления; в тылу же все шире и шире разгорается восстание. Одна Тайшетская пробка уже два месяца остановила ночное движение поездов на этом участке и самым тяжелым образом отзывается на нашем подвозе, сократив вдвое число приходящих с востока вагонов и не давая возможности отправлять назад освобождающийся порожняк; скудость подвоза усугубляется обращением на линии союзных эшелонов и союзных поездов, причем своего подвоза союзники ни в коем случае сократить не желают, свою порцию графика вы-

деляют в первую очередь, а нам оставляют огрызки; ясно, что при таких условиях совершенно невозможно образование каких-либо запасов, и мы живем за счет ежедневного подвоза или сокращения дач.

4 июня. Утром вернулся из Перми адмирал; одновременно приехали Гайда и Дутов, а с востока прикатил смененный с должности командующего войсками Приамурского округа казачий держиморда Иванов-Ринов; надо весьма опасаться, что эта политиканствующая троица устроит здесь какой-нибудь кавардак.

Акинтьевский, ездивший с адмиралом на ликвидацию гайдовской истории, рассказал мне подробности всего инцидента. 26 мая председатель совета министров получил телеграмму Гайды с просьбой, чтобы совет министров поддержал те требования, с которыми Гайда обратился к верховному правителю.

Но требований этих к адмиралу не поступило — видимо, в последнюю минуту не хватило духа послать.

Когда Вологодский доложил верховному правителю о полученной телеграмме, то адмирал вызвал Гайду по беспроволочному телеграфу и после нескольких вопросов, спросил Гайду: «Намерен ли он исполнять его, верховного главнокомандующего, приказания?»

Гайда на это ответил: «Да, но поскольку они не будут мешать его, как командующего Сибирской армией, оперативным распоряжениям». Отсюда и завязалась вся история, обостренная требованием убрать Лебедева.

После совещания с Ноксом и Жанэном адмирал решил сам ехать к Гайде, так как иных средств для разрешения инцидента не было; трагическое бессилие верховной, по названию, власти и верховного, по званию, командования, вынужденных советоваться с иностранцами и не имеющих реальных средств заставить выполнить свою волю...

Было решено идти напролом; взяли с собой весь конвой верховного правителя, приказали изготавиться находящемуся в Екатеринбурге батальону охраны ставки и двинулись на запад усмирять непокорного сибирского командарма из перебежавших к нам фельдшеро-австрийской армии. Осуществились предсказания тех, которые предупреждали адмирала, когда он пригласил Гайду на русскую службу.

При отправлении было решено, что если Гайда будет продолжать оказывать неповиновение, то его арестовать и отправить немедленно в Омск. Подъезжая к Перми, не

знали даже, встретил ли Гайда верховного главнокомандующего или нет; уже в самой возможности такого сомнения кроются грозные для будущего перспективы. Но Гайда оказался вполне по внешности корректным и встретил адмирала с обычной pompой и по уставу. После встречи и ухода с платформы почетного караула вокзал был занят частями адмиральского конвоя, изготовившимися против всяких случайностей, а адмирал пригласил Гайдю в свой вагон и объявил ему, что, так как он позволил себе отказаться от исполнения приказаний верховного главнокомандующего и пытался поднимать совет министров против верховного командования, то адмирал не считает возможным более оставлять его в должности командующего Сибирской армией и предлагает сдать командование начальнику штаба армии, а затем ждать решения дальнейшей своей судьбы в Омске.

Гайда горячо оправдывался, доказывая, что он был обязан довести до сведения совета министров о том, что распоряжения ставки губят армии.

Тогда адмирал спросил Гайдю, почему же он раньше ему этого не донес, не доложил, не сделал никогда ни одного намека о такой оценке распоряжений ставки, а между тем это была его прямая, как командарма, обязанность. Эти слова адмирала очень знаменательны, ибо дают всему выступлению Гайдю настоящую оценку, подтверждая, что интересы армии были только внешним предлогом, а внутренней причиной были обнищенное честолюбие и шальная несдержанность.

Сейчас отношения старших начальников очень портятся благодаря гнусной и чисто провокационной деятельности многих видных представителей контрразведки, которая ядовитой грибной плесенью обволокла верхи управления и многих высших начальников, незаметно для них втянув их в свою атмосферу сыска, влезания в чужие души и мысли и размазав эту нравственную грязь по всей духовной стороне военного управления. Это я видел в Харбине, Владивостоке и вижу теперь и в Омске; сейчас у каждого большого, политиканствующего начальника имеется отдел (неофициальный, конечно) контрразведки, занятый исключительно шпионством и наблюдением за другими, больше всего, конечно, инакомыслящими и противными их господину лицами.

При дальнейшем разговоре адмирал на заносчивое заявление Гайдю о том, что в случае его ухода с поста командующего армией войска сейчас же побегут, отве-

тил, что за последствия отвечает он сам, как верховный главнокомандующий.

После довольно длительных пререканий и обмена колкостями адмирал поставил Гайде ультиматум выехать из Перми в течение двух часов, причем в случае согласия ему будет разрешено уехать самому и еще в звании командующего армией; в противном же случае будут приняты иные меры. Гайда молчал, но затем с усилием проговорил, что он солдат и полученное приказание исполнит.

Через два часа Гайда экстренным поездом выехал в Омск, сдав командование армией генералу Богословскому; перед отъездом он был у адмирала, который успел за это время совсем отойти и даже беспокоился, не был ли он «слишком жесток к Гайде». Тут же появился всюду сующий свой нос атаман Дутов, стал просить за Гайду, и адмирал совсем смягчился. Вот сущность того, что рассказал мне Акиитиевский.

Гайда явился в Омск с отборным коивоем в 356 человек, и сейчас он — самая реальная сила во всем Омске.

Сегодня стало известно, что адмирал получил из Парижа запрос пяти держав с просьбой сообщить политическую программу омского правительства — при удачном разрешении ожидается признание правительства и власти адмирала.

Адмирал дал ответ, который считается вполне удовлетворяющим союзников, но отказался дать согласие на привлечение к власти членов Комитета учредительного собрания, так как главари их перекинулись на сторону большевиков и с ними невозможно никакое соглашение.

Страшно, однако, что такие серьезные вопросы решаются помимо совета министров каким-то келейным способом; но конституции совета министров принадлежит огромная власть, но все это сведено на нет созданием совета верховного правителя, где все вершится так, как того хотят Михайлов и его подголосок, дипломатический вуиндеркинд Сукин, выскочивший неизвестно в силу каких достоинств на пост управляющего министерством иностранных дел и пытающийся разыгрывать из себя великого дипломата. Какой-то злой рок преследует адмирала в составе его главнейших помощников.

5 июня. Лебедев дипломатически болен и будет считаться таковым до окончания работ комиссии генерала Дитерихса; если последний действительно то, как о нем

говорят, то он должен сказать адмиралу правду и настоять на немедленном удалении Лебедева и на коренной реорганизации ставки. Пока же все стоит; вместо работы идет шушукание, создание и распространение всевозможных сплетен. Вся местная грязь заколыхалась и издает сильное зловоние. Дутов, Иванов-Ринов и иные с ними носятся по городу и что-то мухлюют. Бесконечно тяжело все это, противно и навеивает самые грустные мысли; как я ни погружен в свою работу, но не могу совершенно отгородиться от шумов и запахов окружающей суеты и от миазмов омского болота.

Жалко смотреть на несчастного адмирала, помыкаемого разными советчиками и докладчиками; он жадно ищет лучшего решения, но своего у него нет, и он болтается по воле тех, кто сумел приобрести его доверие.

6 июня. Просил министров земледелия и торговли оказать самую широкую поддержку развитию в Сибири льноводства, овцеводства и кустарных промыслов (особенно по сукну, холсту и мелким металлическим изделиям), дабы поскорей освободиться от рабской зависимости перед заграничными снабжениями и стать на свои собственные сибирские ножки; зачатки всего этого в Сибири есть, и для их развития нужен только кредит, обеспечение от реквизиций и уверенность в хорошем сбыте. Жаль, что для этого потерял весь 1919 год; ведь наши холсты и наша деревенская армячина вне всякого сравнения с той дрянью и гнилью, которые под видом сукна, дрели и разных подделок самого отвратительного качества валят к нам за границы и которые оплачиваются золотым рублем; сейчас, вместо сукна, мы получаем отвратительный японский суррогат, состоящий из разных отбросов, накатанных на бумажную основу, и расползающиеся через три недели носки; наши же шинели, отбывшие всю германскую войну, держатся до сих пор.

Гайда уехал на фронт, как говорят, помирившись с адмиралом, еще одно печальное проявление нашей дряблости, ибо все происшедшее не было личным делом Гайды или Лебедева: это было серьезное, русское, кровью брызжащее государственное дело, требовавшее железного и оглушительного решения, вне личной слабости или твердости, вне личных симпатий и антипатий. Лебедев продолжает болеть.

7 июня. Адмирал, по-видимому, очень далек от жизни и — как типичный моряк — мало знает наше военно-сухопутное дело; даже хуже того — он напичкан и, как

добросовестный человек, очень усердно напичкался тем материалом, который ему всучили Лебедев и К°, сразу видно, что многое напето ему с чужого голоса.

Между тем по всему чувствуешь, что этот человек остро и болезненно жаждет всего хорошего и готов на все, чтобы этому содействовать, но отсутствие знания, критики и анализа не дает ему возможности выбиться на настоящую дорогу; личного и эгоистического у адмирала, по-видимому, ничего нет, — это ярко сквозит во всем его разговоре, в его мыслях и решениях. По внутренней сущности, по незнанию действительности и по слабости характера он очень напоминает покойного императора. И обстановка кругом почти такая же: то же прятание правды, та же угодливость, те же честолюбивые и корыстолюбивые интересы кучки людей, овладевших доверием этого большого ребенка. Скверно то, что этот ребенок уже избалован и несомненно уже начинает отвыкать слушать неприятные вещи, в чем тоже сказывается привычка старого морского начальника, поставляемого нашим морским уставом в какое-то полубожеское положение.

Все, что тревожило меня в Харбине, получило здесь полное подтверждение: с ужасом зрю, что власть дрябла, тягуча, лишена реальности и деловитости, фронт трещит, армии разваливаются, в тылу восстания, а на Дальнем Востоке неразрешенная атаманищина. Власть потеряла целый год, не сумела приобрести доверия, не сумела сделаться нужной и полезной, а поэтому нет ничего мудреного в том, что ее авторитет неудержимо, почти что кувыркком летит вниз. Сейчас нужны гиганты наверху и у главных рулей и плеяда добросовестных и знающих исполнителей им в помощь, чтобы вывести государственное дело из того мрачно-печального положения, куда оно забрело; вместо этого вижу кругом только кучи надутых лягушек омского болота, пигмеев, хамелеонистых пустобрехов, пустопорожних выскочек разных переворотов, комплотов и политически-коммерческих комбинаций; вижу гниль, плесень, лень, недобросовестность, интриги, взяточничество, грызню и торжество эгоизма, бесстыдно прикрытые великими и святыми лозунгами. Среди этого смрада, как редкие зубы, мочалются малочисленные могикане старой, честной добросовестной России, рыцари долга, подвига и самопожертвования.

9 июня. Лебедев успешно вылез из поднятой Гайдой истории и опять прочно укрепился; комиссия Дитерихса

не нашла оснований к подтверждению предъявленных к наштаверху и ставке упреков и обвинений; трудно было и ожидать иного решения от этой специфически омской комиссии, посмотревшей на все это с внешней точки зрения и не способной возвыситься до глубокого анализа всего, эту историю создавшего.

Глубоко тревожно и печально, что во главе военного и оперативного управления остался никчемущный случайный выкидыш ноябрьского переворота, абсолютно неграмотный в том великом деле, за которое самоуверенно взялся, и остро ненавидимый старшими войсковыми штабами, а за ними и всем фронтом; еще хуже, что это еще более усугубляет разрыв между фронтом и тылом, между армией и адмиралом.

11 июня. Федотов принес мне для прочтения доклад профессора Лебедева, председателя комиссии по делу омского военно-промышленного комитета, обвиняемого в целом ряде разных преступных деяний; в докладе приведены факты, достойные немедленного предания военно-полевому суду, но у комитета масса влиятельных друзей, до самого наштаверха включительно, и все дело застопорено под предлогом того, что комитет привлек комиссию Лебедева к суду по обвинению в клевете.

Обвинений в докладе масса, и разобраться в них без подробного ознакомления, конечно, очень трудно, но такой факт, как раздача членам комитета реквизированного для нужд обороны железа и продажа ими этого железа на сторону по четверной цене, достаточно ярко показывает, какие гуси сидели в этом комитете. Указывают и на то, что некоторые члены комитета успели сделаться в очень короткое время состоятельными людьми.

Вообще же считают, что высокие связи комитета вполне гарантируют его от каких-либо посягательств судебной власти.

14 июня. Получено известие, что в Иркутске чехословаки арестовали часть своих офицеров и образовали комитеты. Опять нам придется расхлебывать всю эту ерунду, создаваемую союзниками, посадившими нам в тыл эту разжиревшую и обленившуюся шкурятину, занятую торговлей и скапливанием денег и имущества и совершенно не желающую рисковать не только что жизнью, а даже спокойствием и удобствами своей жизни.

Чехи считают Омск реакционерами, относятся к империалистической власти снисходительно вежливо, они отлично учитывают свою силу и нашу слабость и всячески этим

пользуются, конечно, под соусом видимой помощи. На Урале и в Сибири они набрали огромнейшие запасы всякого добра и более всего озабочены его сохранением и вывозом; ведь требовали они с нас три миллиона рублей за переданную нам императорскую гранильную фабрику под предлогом, что они развили ее новыми станками и машинами; когда же начальник инженеров Тюменского округа полковник Греков стал принимать эти «новые» машины, то среди них оказались снятые с фортов Владивостока, и в том числе дизель-моторы с форта № 6, строителем которого был когда-то этот самый Греков; очевидно, что и остальные машины были приобретены в том же магазине без хозяина, который именуется Россией.

Сейчас чехи таскают за собой около 600 груженных вагонов, очень тщательно охраняемых; они заявляют, что это их продовольственные запасы, но когда при их движении на восток мы, во избежание пробега вагонов, предложили им сдать это продовольствие и получить эквивалент в Иркутске и Красноярске, то они категорически отказались; по данным контрразведки, эти вагоны наполнены машинами, станками, ценными металлами, картинами, разной ценной мебелью и утварью и прочим добром, собранным на Урале и в Сибири.

15 июня. Беспорядки в тылу подбираются ближе к Омску; вчера под Петропавловском спустили под откос пассажирский поезд.

Невеселое впечатление производят омские улицы, кишашие праздной, веселящейся толпой; бродит масса офицеров, масса здоровеннейшей молодежи, укрывающейся от фронта по разным министерствам, управлениям и учреждениям, работающим якобы на оборону, целые толпы таких жеребцов примазались к разным разведкам и осведомлениям. С этим гнусным явлением надо бороться совершенно исключительными мерами, но на это мы, к сожалению, не способны.

17 июня. После обеда имел длинный разговор с Лебедевым; высказал ему свои взгляды на положение и свои опасения за будущее; нарисовал ему грозность слагающейся обстановки и надвигающуюся со всех сторон катастрофу; указал на тот общий развал, который на моих уже глазах прогрессирует с ужасающей быстротой и грозит погубить все наше дело. Высказал, что для авторитета власти нужно, чтобы она была кристально чиста и честна; в наличной обстановке легкомыслия, нера-

дивости и падения нравственного уровня, в вакханалии наживы и эгоизма естественно рождение и процветание всяких гадов и пресмыкающихся, которые облепили органы власти и своей грязью грязнят и порочат эту самую власть.

Указал на прогрессирующий развал фронта, на распухшие штабы, рассказал, что, по сведениям приезжающих с фронта строевых офицеров, высшие и низшие штабы переполнены законными и незаконными женами, племянницами и детьми, о которых начальники заботятся больше, чем о подведомственных им частях; что солдат заброшен; что штабы доносят заведомую неправду; что при эвакуации Уфы раненых бросили на красные муки, а штабы уходили, увозя обстановку, мебель, ковры, причем некоторые лица торговали вагонами и продавали их за большие деньги богатым уфимским купцам; что за последнее время грабеж населения вошел в обычай и вызывает глухую ненависть самых спокойных кругов населения; что общая апатия и чувство безнаказанности родили и развили чисто формальное исполнение своих обязанностей, лишь бы не попасть под ответ; что постепенно гибнут последние остатки того самопожертвования и великого подвижнического служения идее, с коими было начато сибирское белое движение и без которых невозможно торжество того, за что мы боремся.

Указал на дряблость и бессилие власти, признаваемой фиктивно «постольку поскольку», но реально беспомощной и убиваемой атаманщиной; указал на разброд, вялость, бесцветность, бессистемность и никчемность правительственной программы, на отсутствие каких-либо основных и твердых идей в строительной и созидательной работе правительства, пытающегося взгромоздиться на всероссийские ходули и не способного удовлетворить примитивные нужды населения; высказал, что в такой обстановке я не в состоянии нести обязанности его помощника, ибо я привык работать, а не кипятиться в соусе подозрительной по качеству омской политики, совещаний, комиссий и быть рабом каких-то голосований, компромиссов и таинственных комбинаций глубоко противных мне, по их внутреннему содержанию, лиц.

Видимо, разговор произвел на Лебедева большое впечатление; он как-то осунулся и потерял свой лоск и

самоуверенность, обещал разобраться в сообщенном мной материале и принять нужные меры.

20 июня. Под влиянием омских кругов, настроенных в последние дни очень решительно, адмирал решил покончить с Гайдой и уволил его от командования, разрешив отправиться в заграничный отпуск.

21 июня. Труднее всего с подвозом, так как восстания в красноярско-тайшетском районе остановили почти на 2 месяца ночное движение поездов, и восточнее Красноярска скопилось около 140 груженных товарных составов с интендантским и артиллерийским снабжением; большие станции забиты чешскими эшелонами, что еще более затрудняет транспорт и не позволяет рассортировать задержанные составы и пропустить вперед наиболее для нас нужные; наш нищенский график сильно страдает еще и от того, что хозяевами дороги являемся не мы, а многочисленные союзные опекуны, и в первую голову идут поезда чешские, польские, междусоюзные, а восточнее Байкала — японские и семеновские; нам же достаются одни только объедки.

Написал министру финансов письмо, в коем ориентирую его в настроениях фронта, крайне враждебных всему, что делается в тылу, и особенно острых к состоятельной буржуазии и спекулятивным кругам, жиреющим от доходов и барышей, но не желающим ничем жертвовать и реально помочь армии; указал, что в теперешнее болезненное время такое настроение может привести к очень печальным результатам и что необходимы какие-нибудь особые меры, чтобы заставить состоятельные классы понять, что фронт спасает их жизнь, достояние и привилегии и имеет право рассчитывать, чтобы подумали о его нуждах и ему помогли.

Но так как горький опыт показывает, что нет никакой надежды на то, что богатые буржуи раскачаются и откроют свои туго затянутые жадностью и узкомыслием кошельки, то я очень прошу обсудить мое предложение о принудительном обложении богатых классов и крупных доходов большим прогрессивным налогом в пользу инвалидов и семей убитых и умерших на службе государству и на устройство инвалидов домов, ферм, учебных заведений для сирот и пр. и пр. Я полагаю, что в распоряжении министра финансов имеются данные для определения суммы, которую можно будет назначить; эту сумму надо разложить затем между биржевыми комитетами всей Сибири и Дальнего Востока, а те пускай уже

разбираются, сколько с кого взять. Печально идти по этой части по стопам комиссаров, но нет иных способов расшевелить нашу богатую буржуазию, не испытавшую еще как следует всех прелестей большевистской выездки.

Я помню так называемые «дни армии» в Харбине, когда путем благотворительного выжимания собрали около полутора ста тысяч рублей, а между тем в Харбине имелись сотни обывателей, сделавшихся во время войны миллионерами, и многие сотни богачей, наживших за это время десятки миллионов; люди, близкие торговле, говорили мне, что прибыль Владивостока и Харбина за время войны и смуты можно подвести к миллиарду рублей.

Такой же жалкий сбор был произведен и во Владивостоке, когда же полтора года тому назад там установилась большевистская власть и ей понадобились деньги, то она их получила немедленно и в количестве нескольких миллионов, причем давшие эти деньги сейчас же об этом забыли и никогда более не вспоминали.

23 июня. Изъятие из моего ведения всех перевозок, перешедших в одно общее для фронта и тыла управление военных сообщений ставки, сказалось сразу очень печальным образом. Просматривая ведомости о движении грузовых эшелонов, обратил внимание на резкое падение числа прибывающих на станции Иркутск и Омск. Несомненно, что отчасти тут сказывается влияние Тайшетской пробки, но была, очевидно, и другая причина. Произведенное по телеграфу расследование причин этого явления выяснило, что Китайская дорога перестала подавать порожняк к Владивостоку, и это остановило погрузку владивостокских срочных поездов.

Оказывается, что все это подстроено дальневосточными спекулянтами для того, чтобы получить побольше вагонов для местных перевозок и спасти рыбные грузы харбинских и благовещенских купцов продвижением их за Байкал ценой сокращения военных перевозок. Дело было обляпано мастерски; заявили междусоюзному комитету, что Забайкалье умирает без рыбы, но зато ее много в Харбине, почему для спасения Забайкалья надо разрешить подвинуть ее на запад в местном сообщении, где в графике есть свободный запас. Разрешение было дано, и спекулятивная рыбешка поползла на станцию Маньчжурия, где таинственно переползла границу и попала на Забайкальскую дорогу; там же тоже воспользовалась преимуществами местного сообщения и добра-

лась до Иркутска и т. д. Вагоны для этого брались из того порожняка, который мы усиленно гнали с запада и который фатально заболел в пределах Китайской дороги.

Лица, обязанные блюсти интересы боевого транзита, оглохли и ослепли; всего у нас слизнули свыше 400 вагонов, которые пошли под рыбу и другие спекулятивные грузы, подсосавшие наше сквозное движение. Наши вагоны идут без «подмазки», побочных доходов с них никому не счищается, а потому они и подвержены постоянным «заболеваниям»; семеновские же и спекулянтские вагоны болеют очень редко, ибо с ними едут «доктора», обращающиеся своевременно за помощью к сцепщикам, составителям и иным сведущим по вагонным болезням лицам. Обходится это лечение недешево: один харбинский коммерсант истратил на лечение двух вагонов в пути от Харбина до Омска около ста тысяч рублей и на последней остановке отдал за пропуск их дальше последнее, что у него оставалось, — золотые часы.

Сообщил это ставке, но та ограничилась приказанием выбросить бочонки с рыбой из вагонов и отправить вагоны во Владивосток; в просьбе же разгромить всех виновных лиц мне отказали, потому что при этом придется затронуть междусоюзный контроль и его служащих, а это очень некстати ввиду происходящих теперь серьезных переговоров по поводу признания и материальной помощи.

Взамен я уведомил довольствующие министерства, что я готов предоставить в распоряжение крупных биржевых комитетов некоторое количество наших вагонов, в которых по нарядам этих комитетов могли провозиться неспекулятивные грузы, необходимые для населения и здоровой торговли.

Во время доклада адмирал сообщил мне, что ночью арестованы шесть военных летчиков и начальник воздушного флота за провоз частных грузов под видом военного снабжения и что он хочет, чтобы над ними разразилась вся строгость правосудия, но не уверен в осуществлении своего желания и боится вмешательства юристов и адвокатов.

24 июня. Вечером в совете министров — большие и горячие дебаты по поводу законопроекта о легализации союза городов и земств; спорили в температуре самого острого напряжения, причем для меня выяснилась полная разногласия мнений и основных политических

взглядов, как-то не вяжущаяся с солидарностью совета министров.

Мне, новому и случайному человеку, было чрезвычайно неприятно убедиться, до чего резко расходятся во взглядах на внутреннюю политику члены кабинета, имеющего объединенным правительством. Вина в этом лежит несомненно на самом председателе совета министров, которого держат на столь ответственном посту как какую-то драгоценную реликвию (неизвестно только, какой секты и толка), уверяя, что в его имени и личности кроется прочный залог демократического правительства и уверенности союзников и общественного мнения всего Запада в демократичности омской власти.

Очевидно, что весь этот миф создается теми, кому выгодно возглавление правительства этой сношенной и безвольной тряпкой, совершенно потухшим человеком, негодным и не способным уже на руководство делом самого мелкого масштаба; очевидно, что и тут главную роль играет боязнь наиболее честлюбивых членов настоящего кабинета потерять власть и уйти в политическое небытие, раз только будет сменен этот дряблый папаша времен ноябрьского переворота и новый председатель станет подбирать себе сотрудников по своему вкусу.

Горько то, что несчастная судьба России подсунила совершенно не подготовленному к возглавлению верховной власти адмиралу какой-то обмылок, по-видимому, даже мало интересующийся и часто не знающий, что делают подчиненные ему правительственные министерства и возглавляющие их министры.

В сегодняшнем заседании министрам пришлось высказать свои политические взгляды, и меня поразила реакционность, неискренность и умышленная недоговоренность некоторых речей; общее заключение из того, что я сегодня услышал, сводится к выводу, что большинство совета настроено враждебно против всяких общественных организаций и боится их критики, контроля и агитации, но в то же время боится поставить точки над «і» и получить упреки в недемократичности. Видно было, что противники легализации союзов боятся создать в их лице опасного для власти крокодила и были бы рады, если бы сей крокодил благополучно подох, но только так, чтобы их участия в его удачной смерти не было.

Искреннее и прямее других был демократичный по внешности и по репутации министр земледелия Петров,

который очень резко высказался против легализации союзов как учреждений, опасных для государственного строя и органически созданных для того, чтобы его под-
рывать.

Определенен, точен и искренен был министр внутренних дел Пепеляев, высказавшийся самым резким образом против союзов как фиктивной по названию, но антиправительственной по сущности организации. Остальные виляли, старались и демократическую невинность соблюсти, и упрека в реакционности избежать.

Вернулся раздраженным и настроенным, так сказать, «антиправительственно», ибо убедился, что с данным составом министерских упряжек нам не выехать на хорошую дорогу; слишком уж мелки, эгоистичны и не способны на творчество и подвиг все эти персонажи, случайные выкидыши омского переворота.

В ставке уверяют, что контрразведка раскрыла огромный заговор и имеет определенные указания на то, что в самом Омске должно произойти на днях вооруженное восстание; главные деятели контрразведки приняли вдохновенный и озабоченный вид и на все расспросы таинственно помахивают своими провокаторскими глазами.

Глубоко убежден, что это очередная фабрикация этих потомственных и почетных провокаторов, которым надо усугубить важность своего охранительного значения и получить еще несколько миллионов на темные расходы.

Полупочтенное всегда учреждение контрразведки, впитавшей в себя функции охранного отделения, распухло теперь до чрезвычайности и создало себе прочное и жирное положение, искусно используя для сего атмосферу гражданской войны, политических заговоров и переворотов и боязни многих представителей предрежающей власти за свою драгоценную жизнь и за удержание власти.

Все это сделало главарей контрразведки большими и нужными людьми, телохранителями многих сильных мира сего и открыло самые широкие и бесконтрольные горизонты для их темной, грязной и глубоко вредной деятельности.

Здесь мне нет времени углубляться в деятельность этих господ, но в Харбине я видел достаточно, как распухло это гнусное учреждение и как крепко оно опутало верхи власти, грязня их своей грязью. Здесь контрразвед-

ка — это огромное учреждение, пригревающее целые толпы шкурников, авантюристов и отбросов покойной охранки, ничтожное по производительной работе, но насквозь пропитанное худшими традициями прежних охранников, сыщиков и жаидармов.

Все это прикрывается самыми высокими лозунгами борьбы за спасение родины, и под этим покровом царят разврат, насилие, растраты казенных сумм и самый дикий произвол. И во всем этом нет ничего удивительного, ибо довлеет диеви злоба его; контрразведка и охранка всегда требовали особого контроля и умелого наблюдения, ибо при малейшем ослаблении надзора они делались скопищем всякой грязи и преступлений. Кто-то сказал, что во всей охранной деятельности нужно, чтобы чистые головы руководили грязными руками и сдерживали преступные похоти этих грязных рук. Теперь чистых голов уже не осталось, и на верхи контрразведки залезли выскочки или разныи авантюристы, развращенные теми возможностями, которые им дает современная неурядица.

Если мое краткое соприкосновение с чинами прежней охранки дало мне такие случаи, как подполковник Заварицкий и ротмистр Фиотин, посылавшие людей на виселицу и на каторгу ради отличия и получения внеочередной награды, то что же должно быть теперь, когда ослаб донельзя контроль и наблюдение?

28 июня. Видел прибывшего с фронта командующего Западной армией генерала Ханжинна, заменяемого генералом Сахаровым; говорят, что это назначение проводится Лебедевым и поддерживается генералом Ноксом, которые в решительности Сахарова видят исход из того положения, в котором находится сейчас Западная армия. По тому, что я слышал о Сахарове, он подходит больше всего к начальнику карательной экспедиции или командиру дисциплинарного батальона.

Ханжин подтвердил мне, что число ртов, показываемое в войсковой отчетности, превосходит приблизительно вдвое действительное их наличие; подтвердил также и отсутствие разумного эшелонирования запасов, и накопывание огромных складов при частях войск; как пример, он указал, что в одном полку, выдвинувшемся при наступлении далеко вперед, было разных запасов свыше 150 груженых вагонов.

По полученным мной от контроля сведениям, в Сибирской армии были части, имевшие всегда при себе

не менее 2¹/₂ месячного запаса продовольствия всех вдов. Пепеляев слал с фронта угрожающие телеграммы о недостатке довольствия, а при проверке на его базе оказалось свыше 300 вагонов, груженных всеми видами довольствия.

Та же Сибирская армия вопила о недостатке медикаментов и перевязки и обвиняла тыл в гибели раненых, а при проверке оказалось, что рядом с полевой аптекой армии стояло шестнадцать вагонов с нужными медикаментами и перевязочными материалами и что штаб армии был своевременно об этом извещен.

Все, посылаемое на фронт в скромных, но все же достаточных при разумном использовании количествах, тонет в море хаоса, своеволия и безудержной атаманщины. Вот уже два месяца я заваливаю штабы армий телеграммами, прося установить порядок в эшелонировании и расходе снабжения, но все это — глас вопиющего в пустыне.

При таких условиях расходования и при наших нищенских средствах заготовки и подвоза регулярное снабжение распухших численно армий становится невероятно трудным делом.

Все попытки внести в это дело систему, порядок и контроль вызывают и глухое, и открытое сопротивление, причем двигающие этим эгоизм и распущенность прикрываются интересами дела. Государственный контролер показал мне донесение контролера при речной флотилии о том, что когда он опротестовал какой-то шалый расход на постановку особых вентиляторов в каюте начальника флотилии контр-адмирала Смирнова (он же опереточный морской министр), то ему пригрозили поркой.

29 июня. Не проходит и нескольких дней, чтобы не было каких-нибудь донесений с востока о безобразиях и насилиях семеновской опричнины; мне, как представителю военного ведомства, приходится хлопать глазами, когда другие министры обращаются ко мне с требованием прекратить эти безобразия; каждый раз заявляю, что военное ведомство бессильно справиться с чинтинской вольницей, умышленно укрываемой японцами, и что я могу только просить председателя совета и министра иностранных дел устранить это покровительство дипломатическим путем.

30 июня. Скверные известия с фронта, достоверные, но неофициальные, ибо штабы армий не любят доно-

сильно о скверных вещах. Несомненно только, что по моей снабжательской части при стремительном отходе потеряны огромные запасы продовольствия и снабжения, нерасчетливо и безумно выброшенные вперед, несмотря на грозную неустойчивость положения фронта. В одном уфимском районе мы потеряли до 2 миллионов пудов зерна и до 200 тысяч пудов крайне необходимой нам гречневой крупы. Эвакуация фронта производилась возмутительно преступно; было время многое спасти, но сначала шли многочисленные штабные хозяйственные эшелоны с бабами, няньками, детьми и прочими бебехами; затем уезжали в купленных вагонах богатые обыватели. Прибывшие с фронта офицеры трясутся от негодования, рассказывая, как производилась эта эвакуация. Надо еще удивляться прочности нашей дисциплины, которая позволила офицерам и солдатам спокойно смотреть на эти мерзости и не разорвать в клочья тех, кто это делал или допускал делать.

2 июля. Главнокомандующим фронта назначен генерал Дитерихс.

Наши порядки вообще так неудовлетворительны, что переходящие к нам с красного фронта офицеры говорят, что у красных больше порядка и офицерам легче служить.

Инспектор ремонтов показал мне свидетельство на освобождение от конской повинности, на правах кровного и незаменимого производителя, лошади одного омского богача; при проверке лошадь оказалась меринком. По рекомендации убедить ставку доложить этот случай адмиралу для применения моего проекта высылки в красную Россию всех причастных к этой мелкой, но характерной гадости лиц.

4 июля. Для меня ясно, что в неуспехе фронта виноваты те, которые позволили армии распухнуть до 800 тысяч ртов при 70—80 тысячах штыков; те, которые допустили хищническое расходование наших бедных средств снабжения; те, которые по безграмотности и по честолюбию гнали армии от Урала к Волге, забыв о возможности красного контрнаступления и не учитывая усталости, раздетости, растрепанности армий; те, которые по честолюбию не сумели вовремя оценить обстановку, созданную переходом красных в наступление, и продолжали цепляться за авоську, пожертвовав ради этого последними и неготовыми для боя резервами.

Как бы уверенно мы могли смотреть сейчас на буду-

щее, если бы в тылу расстроенных и катящихся на восток армий стояли достаточно подготовленные к бою и маневру резервы Каппеля и Екатеринбургской группы, погубленные нашими горе-стратегами в судорожных потугах спасти заведомо безнадежное положение.

7 июля. На всех больших станциях стоят и благодепствуют чешские эшелоны; устроились они отлично, поставив свои вагоны в лесах и рощах на особо проложенных тупиках; все красиво убрано и разукрашено; кругом идеальная чистота; временам видно, как немецкие пленные в чистых передниках и колпаках готовят для своих бывших вассалов пищу в ослепительно опрятных и блистающих полированной медью кухнях.

Щеголевато одетые чехи, жирные и гладкие, важно гуляют по платформам. Обидно смотреть на наши новенькие вагоны в 3000 пудов грузоподъемности, захваченные чехами под жилье; в вагонах выломаны стенки, сделаны окна и двери; временные хозяева с русским добром не церемонятся.

8 июля. Не везет адмиралу по части ближайшего антуража; он взял к себе личным адъютантом ротмистра Князева, который дивит кутящий Омск своими пьяными безобразиями, много хуже то, что этот гусь злоупотребляет своим положением и позволяет себе разные распоряжения нменем адмирала.

9 июля. Получил полные перечневые ведомости армейских магазинов; понадобилось пять недель напряженной переписки, чтобы вытащить от армий эти сведения. Данные ведомостей показали, что в этих магазинах разбросано столько обмундирования и снаряжения, что им можно одеть все боевые части; по имеющимся же у меня негласным сведениям, в вагонных эшелонах некоторых начхозов кроются еще более крупные склады разного снабжения; повторяется то, что угнетало нашу армию в 90-х годах и против чего начал борьбу Дагомиров, т. е. безумное накопление имущества в складах при раздетых и оборванных солдатах.

10 июля. По ставке бродит прибывший от Деникина генерал Карцев, для которого выдумали какую-то экзотическую командировку с грамотой к Таранчам и в Кульджу; непонятны эти гастрольные поездки, по-видимому, нигде не нужных персонажей.

Лебедев опять собрался на фронт, ему нет дела, что дорога перегружена эвакуацией и что, ндя навстречу эвакуационному потоку на однопколейном участке, он

приносит существенный вред ее успеху; для него составлял поезд, и его прислуге понравился вагон, занятый офицерами управления дежурного генерала ставки; немедленно комендант ставки приказал офицерам очистить вагон и искать себе помещения; в результате начальнические холуи сели в классный вагон, а ответственные работники ставки отправились искать себе приюта. Ругают старые порядки, а ведь при них такие мерзости были даже немислмы.

Адмирал так и не может понять нелепости постоянных поездок своего наштаверха на фронт, где он никому и ни для чего не нужен и где, кроме путаницы в распоряжениях и задержки в движении поездов, он ничего не делает.

Сейчас, например, прямо преступно лезть со своим поездом на фронт, когда от Екатеринбурга и Челябинска тянутся к Омску сплошные ленты эвакуированных составов и эшелонов, и движение навстречу им экстренного поезда остановит все движение. Но, очевидно, наш вундернаштаверх считает, что какая-то эвакуация — это пара пустяков сравнительно с чудодейственным влиянием его появления в штабе какой-нибудь армии.

13 июля. Идет стремительная эвакуация Урала. Омск, несмотря на самые грозные воспрещения, переполнен уральскими беженцами, которые своими паническими рассказами значительно ухудшают и без того скверное настроенное перепуганного населения; особенно панические сплетни расползаются из союзных миссий (французской *par excellence*) и из канцелярии совета министров, при которой болтается порядочная стайка разных балбесов.

14 июля. Гайда с особым поездом отбыл в заграничный отпуск, получив от адмирала 70 000 франков золотом. Его хотели отправить обычным пассажиром экспресса, но он заартачился; создался целый конфликт, в который вмешался Дутов, и в конце концов Омск согласился разрешить Гайде ехать своим поездом и со своим конвоем. Злые языки говорят, что вся собака зарыта в том, что вагоны Гайды нафаршированы золотом, платиной и уральско-сибирскими сувенирами, которые невозможно и небезопасно везти прямо в экспрессе, да еще и с проездом мимо Семенова, у которого насчет мимо едущих ценностей особый нюх для учуяния и станция Даурия для освобождения владельцев от этих ценностей.

Знающие Гайду говорят, что он не простит адмиралу

своей отставки и что адмирал делает большую ошибку, разрешив ему ехать через всю Сибирь вольным человеком.

16 июля. Разговаривал с полковником Зубковским, только что прибывшим с фронта; по его мнению, положение совсем скверное; огромная часть личного состава прямо не хочет воевать, не хочет рисковать жизнью и терпеть разные невзгоды и лишения; набранные наспех уральские пополнения во время отхода армий разошлись по домам, унося с собой все снабжение, частью и винтовки. В частях остались штабы, офицера и очень немного солдат, преимущественно из стариков и из тех, кому некуда уйти. Вся эта редкая паутина ползет на восток, не оказывая уже никакого сопротивления; отходят на забираемых у населения подводах, что и объясняет быстроту отката. Красные ведут преследование тоже на подводах.

Происшедшее с нашими дутыми армиями характеризуется тем, что в Сибирской осталось около 6 тысяч штыков, а еще в июне эта армия требовала денег и снабжения на триста пятьдесят тысяч человек.

Все отправленное за последние 2 месяца на фронт снаряжение, снабжение и вооружение погибло и перешло в руки красных.

Какой великий грех лежит на нашем наштаверхе и его помощниках, которые истерически-шало, ради честолюбия и шумихи, вышвырнули на разлагающийся и уже безнадежный фронт наши последние резервы.

Особенно тяжела потеря с великим трудом добытых и доставленных на фронт винтовок; штабы армий слали нам ультиматумы, требуя винтовок для десятков тысяч «готовых и рвущихся в бой пополнений», — и все это погибло.

Честолюбивые мальчишки, облеченные в генеральскую форму и ведавшие подготовкой резервов, бессовестно лгали, когда доносили об их готовности, и обманывали ничего не понимающего в этом деле адмирала.

То заключение, которое я вынес на екатеринбургском смотре ударных частей Сибирской армии, оказалось вполне верным; эти отлично парадировавшие части разбежались при первом же столкновении с красными и почти сразу же прекратили свое существование.

17 июля. В соборе состоялась панихида по царской семье; демократический хор отказался петь, и пригласили монахинь соседнего монастыря, что только способ-

ствовало благолепию служения. Из старших чинов на панихиде были я, Розанов, Хрещатицкий и уралец — генерал Хорошкин; остальные постарались забыть о панихиде, чтобы не скомпрометировать своей демократичности.

После панихиды какой-то пожилой человек, оглядев собравшихся в соборе (несколько десятков, преимущественно старых офицеров), громко произнес: «Ну и немного же порядочных людей в Омске».

19 июля. Голова идет кругом от работы; эвакуация перемешала все тылы; все многочисленные штабы и управления утекают на восток, потеряв связь со своими частями, и последние, особенно по части довольствия, брошены на произвол судьбы. Бывшая система снабжений (если только ее можно назвать этим именем) рухнула, всякий оборот запасов прекратился, и войска перешли на существование за счет местных средств, причём во многих случаях происходит самый бесцеремонный грабеж.

По словам одного раненого офицера, крестьяне говорят: «Что красные, что свои — одинаковая сволочь». Теперь же, на нашу невыгоду, красноармейцам на фронте отдан строжайший приказ не трогать население и за все взятое платить по установленной таксе. Адмирал несколько раз отдавал такие же приказы и распоряжения, но у нас все это остается писаной бумагой и кимвалом бряцающим, а у красных подкрепляется немедленным расстрелом виновных.

23 июля. В тылу разрастаются восстания; так как их районы отмечаются по 40-верстной карте красными точками, то постепенное их расползание начинает походить на быстро прогрессирующую сыпную болезнь. Какой толк нам в стоянии вдоль линии разных союзников, когда весь организм охватывается постепенно этой красной сыпью!..

25 июля. Только сегодня узнал в ставке, что Лебедев при сотрудничестве Сахарова вырвал у адмирала согласие на какую-то сложную наступательную операцию в районе Челябинска, обещая совершенно ликвидировать красных; в эту операцию вовлечены все три дивизии, вытасненные в последнее время из Омского округа, т. е. последние наши резервы, и притом для боя совершенно неготовые.

Очевидно, что вся эта операция задумана уже дав-

но и все полеты наштаверха на фронт были с нею связаны.

Уверяют, что красные совершенно выдохлись, но то, что я слышу от прибывающих с фронта, совершенно противоречит оптимизму нашей разведки; это несомненно, что наши выдохлись окончательно и к боевым действиям временно не способны.

При таком положении всякая наступательная авантюра сможет привести к полной катастрофе.

Из краткого доклада, прочитанного в оперативном отделении, узнал, что задумана чрезвычайно сложная операция окружения челябинской группы красных, требующая испытанных и надежных войск лучшего старого кадрового типа; операция сложна и искусственна даже для старых войск, так как требует идеального исполнения, и малейшая где-нибудь неустойка все рвет и может привести к полному краху. Такие операции можно производить только на карте или на больших показных маневрах.

Состояние войск, их неспособность к маневру, их неспособность выдерживать прорывы и обходы заставляют считать, что для этой операции 95 процентов за то, что она кончится полной катастрофой. По грубой схеме, показанной мне в ставке, некоторым дивизиям придется вести бой на два и на три фронта, т. е. дана такая задача, которой современные наши войска выполнить не в состоянии, ибо не выдерживают флангового огня и даже признаков нахождения неприятеля в тылу и на флангах.

Несомненно, это безумная ставка Лебедева для спасения своей пошатнувшейся карьеры и для доказательства своей военной гениальности; очевидно, что все обдумано и подстроено совместно с другим стратегическим младенцем, Сахаровым, жаждущим тоже славы великого полководца.

26 июля. За день три комиссии, отнявшие вместе пять с половиной часов рабочего времени. Узнал в ставке кое-какие подробности сумбурной операции, рожденной мудрыми главами Лебедева и Сахарова; оказалось, что они задумали повторить Мамаево побоище, с заманиванием красных в ловушку при помощи добровольного очищения Челябинского узла; считают, что красные бросятся на эту приманку, после чего их там захлопнут при помощи очень сложного маневра, в котором главная роль захлопывающих крыльев отве-

деи совершенно сырым в боевом отношении дивизиям Омского округа и конным частям. С бумажной, теоретической точки зрения все это очень красиво и заманчиво, так что немудрено, что ничего не понимающий в сухопутном деле адмирал согласился на эту операцию; но с точки зрения реального выполнения и оценки средств выполнения операция совершенно безумная и возможная только при условии, что красные представляют стадо баранов и скикуют при первом же обнаружении нашего гениального плана; а так как на сие нет никаких надежд и так как мы замахиваемся совершенно негодными для исполнения средствами, то у меня — по крайней мере — весь шанс на успех заключается в авоське и заступничестве Николая Чудотворца.

Уходя с оперативного доклада в ставке, я сказал: «Господа, помните, что у вас идет не Челябинское наступление, а Челябинское преступление».

28 июля. По приходе в министерство был долго мучим Ивановым-Риновым; он объехал часть станиц своего войска, развез и роздал привезенные с Дальнего Востока товары и теперь вернулся триумфатором, любимцем населения и внеконкурсным кандидатом на переизбрание в войсковые атаманы; он привез с собой навинченные болтовней, водкой и подарочным настроением приговоры станичных сходов о поголовном выходе на службу всех сибирских казаков и сейчас горд и важен, изображая из себя единственного спасителя во всем создавшемся здесь положении. Его носят на руках, ему остается только приказывать.

Все это — очередной казачий бум; ни на минуту не верю всем этим приговорам; не таковы сибирские казаки, чтобы поголовно встать на борьбу с большевиками; тот, кто хотел бороться, сам пошел в ряды армии. Свидетели такого же поголовного выхода оренбургских казаков рассказывают, что все кончилось получением пособия и расходом по станицам, как только тем стала угрожать опасность. Полицейской душе Иванова-Ринова хочется блестящей рекламы, великой шумихи и удовлетворения своему обиженному честолюбию.

Сейчас Иванов-Ринов сделался первым лицом в Омске; ему предоставлено право непосредственного доклада адмиралу, которому он приносит уже готовые к подписи проекты указов и распоряжений; он все ведет к тому, чтобы сформировать отдельный казачий корпус,

сделаться его командиром и заработать с ним победные лавры.

Адмирал забыл все старое, обворожен рисуемыми ему блестящими перспективами, когда геройские казачьи полки погонят красных за Урал, все поправится, и вновь расцветут все надежды, связанные с военными успехами.

Желания Ринова теперь — закон; приказано, чтобы его заявления и требования удовлетворялись вне очереди; обнаглевший от неожиданного успеха казак требует деньги, обмундирование и все виды снабжений в самых геометрических размерах, в двойной и тройной запас.

Армия, потерявшая все свои запасы, этим обездоливается, но на это не хотят обращать внимания.

29 июля. Состоялось совместное заседание министров правительства и высоких союзных комиссаров по вопросу разверстки между союзниками оказываемой нам материальной помощи. Со стороны союзников прибыли Эллиот, Моррис, граф Мартель и Мацусима, генералы Нокс, Гревс, Жанэн и Такаянаги; мы сидели в очень жалком положении бедных родственников персидской категории, ожидающих решения своей участи.

Нокс высказался очень резко, что, собственно говоря, нам не стоит помогать, так как у нас нет никакой организации и большая часть оказываемой нам материальной помощи делается в конце концов достоянием красных. Нокс очень обижен, что после разгрома Каппелевского корпуса, одетого в новое, с иголки, английское обмундирование и снаряжение, перешедшее к красным, тупоумные омские зубоскалы стали называть его интендантом Красной армии и сочинили пасквильную грамоту на его имя от Троцкого с благодарностью за хорошее снабжение.

Сукин очень сдержанно, но с достоинством ответил Ноксу, что, конечно, это дело союзников решать, стоит ли нам помогать, но данное совещание собрано не для этого, а с определенной целью получить от нас определенные сведения, что нам нужно для продолжения борьбы по восстановлению русской государственности, и мы готовы дать эти сведения.

По очереди все министры доложили нужды своего министерства, причем я уменьшил требования ставки вдвое, ибо нелепо, смешно и даже вредно заявлять потребность снабжения на армию в один миллион человек.

Нас выслушали и заявили, что высокие комиссары рассмотрят наши заявления. Вернулся домой взбешен-

ным; все более и более начинаю верить, что нас нарочно водят за нос и кормят завтраками.

С нами все беседуют и нас щупают, а через 1½ месяца зима, и у нас нет ничего суконного; мы все надеялись на заморских дядюшек, заливавших нас обещаниями, и теперь близко к тому, чтобы очутиться в самом скверном положении.

Вечером в совете министров у нас совершенно даром отняли несколько часов времени и кормили протухлым екатеринодарским рагу в виде сообщений приехавших оттуда гастролеров, на сей раз гражданского происхождения, Волкова и Червеи-Водали.

30 июля. Челябинская операция проиграна; Лебедев пытается в своих донесениях замаскировать неприятную правду, но она ясна. Начались уже розыски виновных в неуспехе стрелочников, подлейшее занятие наших верхов.

Итак, великое преступление совершилось, последние резервы погублены ради самолюбия двух безграмотных выскочек, и задержать откат обрывков армий на восток уже нечем. Одновременно поставлена в исключительно тяжкое положение и южная армия, которую упорно держали на уступе вперед ради участия ее в челябинской авантюре, а теперь бросают на произвол судьбы.

31 июля. Тяжкая обстановка грозит разрушить последние остатки нормальной системы государственного управления; появились разные кандидаты в спасители отечества, лезущие к адмиралу с готовыми указами.

Я сторонник единовластия, единоличного управления; в такое исключительное время, но надо, чтобы единовластие находилось в талантливых руках, осуществлялось планомерно; то же, что сейчас у нас творится, хуже всяких совдепов и комиссарщины; адмиралу преподносится и им одобряется и утверждается всевозможная разнокалиберщина, несогласованная, непродуманная; в результате получается невероятная неразбериха. Отзывчивость адмирала и судорожное искание им лучших и действительных средств, при его непрактичности и неподготовленности по большинству вопросов государственного и военного управления, только ухудшают положение.

Иванов-Ринов добился экстренного ассигнования сибирским казакам ста миллионов рублей. Ожил, рыщет, нюхает и пробирается в дамки дальневосточный спиртовоз Хрещатицкий; казачья конференция в полной силе.

2 августа. Сведения от привезенных с фронта ра-

ненных офицеров, даже с поправкой на неизбежное обострение пессимизма, самые тревожные: пока был успех, солдаты шли вперед довольно охотно, но после первых недель поворота военного счастья в пользу красных настроение резко переменялось и началось массовое дезертирство набранных приволжских и уральских мобилизованных; сейчас большинство не желает воевать, не желает обороняться и пассивно уходит на восток, думая только о том, чтобы не нагнали красные; этот отступательный поток увлекает с собой немногие, сохранившие порядок и боеспособность части и отдельных с непоколебленным духом солдат и офицеров.

Наполнение рядов негодным мобилизационным элементом оказалось роковым; в потоке шкурятины растворились геройские остатки истинных борцов за идею и за спасение родины.

Офицеры не скрывают, что многие части по неделям не видят красных, которые идут за ними в нескольких днях расстояния; у тех тоже мало охотников воевать, но там это нежелание парализуется расстрелами и применением сзади коммунистических револьверов и пулеметов.

Много нареканий на офицерские укомплектования, состоящие по преимуществу из насильно набранных и укрывавшихся от призыва офицеров и из вновь выпущенных юнкеров краткосрочных школ очень неудовлетворительного качества.

Жалуются, что при малейшей неустойке первыми сдают офицеры; объясняют это боязнью красного плена и недоверием к своим солдатам, обостряющимся всегда, когда часть попадает в опасное положение и надвигается вероятность ее плена или перехода на красную сторону.

3 августа. Смотрю на карту и наизлющим образом злюсь; если бы вместо преступной авантюры Лебедева мы стояли бы теперь за укрепленной линией Тобола, сохранив все резервы, подняв материальное и моральное состояние отдохнувших войск и предоставив красным нападать, — как бы выгодно было наше положение. А сейчас наше положение много хуже того, что было год тому назад, ибо свою армию мы уже ликвидировали, а против нас, вместо прошлогодних совдепов и винегрета из красноармейской рвани, наступает регулярная Красная армия, не желающая — вопреки всем донесениям нашей разведки — разваливаться;

напротив того, она гонит нас на восток, а мы потеряли способность сопротивляться и почти без боя катимся и катимся.

Год тому назад население видело в нас избавителей от тяжкого комиссарского плена, а ныне оно нас ненавидит так же, как ненавидело комиссаров, если не больше; и что еще хуже ненависти, оно нам уже не верит, от нас не ждет ничего доброго.

Весь тыл — в пожаре мелких и крупных восстаний, и большевистских, и чисто анархистских (против всякой власти), и чисто разбойничьих, остановить которые силой мы уже, очевидно, не в состоянии. Вот годовичные результаты работы ставки на фронте и правительства в стране; от таких итогов можно не то что пессимистом сделаться, а выть от отчаяния. Стоим опять перед разбитым корытом, с задачей начинать все снова, в самых тяжелых условиях.

7 августа. Лебедев пытается проявлять кипучую деятельность; собрал, как военный заместитель адмирала, продолжение последнего совещания. Просидели мы около шести часов, занимаясь невероятными пустяками. Началось с создания белой гвардии, и первым оратором выступил сам наштаверх, понесший какую-то детскую околесицу. На этот раз не выдержал, перебил его доклад и коротко выявил всю его несостоятельность.

Важный наштаверх натопорщился и попробовал стать в положение повелевающего, но я закусил удила; единодушная поддержка большинства участников заседания, мне выявленная, сбила Лебедева с гордой позиции.

Вглядываясь все чаще во внутреннее содержание этой большой по наружности, но ничтожной по содержанию фигуры, завидуешь удаче большевиков и неблагосклонности к нам фортуны, выбросившей во главу распоряжения сибирскими войсками такую безнадежную ограниченность.

Бетонноголовый, но очень решительный Сахаров пытался опять наступать, причем окончательно расквасил последние сохранившиеся остатки своей армии. При этом произошла какая-то частичная катастрофа, которую усердно скрывают.

В Барнаульском районе начались крупные восстания — результат хозяйничанья разных карательных экспедиций и отрядов особого назначения; к Вологодскому приезжал из Славгорода какой-то крестьянин,

из бывших членов Государственной думы, и жаловался, что в их округе нет деревни, в которой по крайней мере половина населения не была бы перепорота этими тыловыми хунхузами (очень жидкими по части открытой борьбы с восстаниями, но очень храбрыми по части измывательства над мирным населением).

9 августа. Вчера состоялась публичная лекция полковника Котомина, бежавшего из Красной армии; присутствующие не поняли горечи лектора, указавшего на то, что в комиссарской армии много больше порядка и дисциплины, чем у нас, и произвели грандиозный скандал, с попыткой избить лектора, одного из идейнейших работников нашего национального центра; особенно обиделись, когда К. отметил, что в Красной армии пьяный офицер невозможен, ибо его сейчас же застрелит любой комиссар или коммунист; у нас же в Петропавловске идет такое пьянство, что совестно за русскую армию.

10 августа. Новая серия картин омского кинематографа. Лебедева решили убрать, а на его место по должности наштаверха военного министра назначается Дитерихс, остающийся вместе с тем и главнокомандующим восточным фронтом; сначала вздвигали должности, а теперь начинают их встраивать; неужели же думают, что единство и стройность управления достигаются сваливанием в одну кучу трех совершенно несовместимых должностей — командной, штабно-оперативной и административно-тыловой. Нет людей, чтобы хорошо справиться с каждой из этих трех должностей в отдельности, и в то же время валят на одного человека все их три вместе.

Лебедева назначили командующим южной степной группой, выдумав это абсолютно ненужное новое соединение только для того, чтобы спустить куда-нибудь ставшего уже невтерпеж всем наштаверха. Нам надо уничтожить десятки ненужных штабов и управлений; мы комичны с нашими бесчисленными штабами и, несмотря на это, создаем новый штаб армии, т. е. целое грандиозное по личному составу учреждение только ради того, чтобы устроить золотой мост выгоняемому по негодности и принесшему столько вреда ничтожеству.

Иванов-Ринов развертывается все шире и шире, гребет деньги и материалы обеими лапами, грозно машет руками и сулится не только все выручить, но и неукоснительно покорить под нозы всех противящихся.

Исследование удравших в район Новониколаевска и даже Красноярска армейских и войсковых тыловых учреждений дало ничуть меня не удивившие открытия в виде 30 тысяч пар сапог в одном эшелоне, 20 тысяч пар суконных шароваров в другом, 29 тысяч пар белья и третьем и пр. и пр., нашли вагоны с револьверами, биноклями и разным снаряжением, над которым мы распластывались, стараясь возможно скорее подать его войскам; все это попадало в руки разных начхозов, не в меру заботливых о будущих нуждах своих частей, и складывалось ими про запас на будущее время. А фронт и армии вопили, что у них ничего нет, не пытаясь даже заглянуть в хранилища своих же частей и учреждений.

Случай на почте дал мне возможность познакомиться с какой-то таинственной бухгалтерией между чехами и Жанэном; ко мне попал конверт, шедший от какой-то чешской комиссии к Жанэну, с требовательной ведомостью текущих ассигнований. Дежурный офицер вскрыл конверт и положил мне в очередную почту. Я наткнулся на эту бумагу, удивился, почему она ко мне попала, но, пробегая ради любопытства ведомость, узрел, что, вслед за разными рубриками на разные виды довольствия, указывается к зачету круглая сумма в девять миллионов франков «за спасение для русского народа Каслинского завода».

Выходит, что чехи не только нагребли у нас сотни вагонов нашего имущества и разбогатели на нашем несчастии, но и ставят на какой-то таинственный счет разные «спасения», связанные с их вооруженным выступлением против большевиков.

11 августа. Родилась новая организация ставки: Дитерихс в тройной короне своих должностей с тремя помощниками: Андогским, Бурлиным и мною, причем опять заявлено, что это только на несколько недель, до начала наступления, которое назначено в начале сентября.

Затем все будет так, как решит едущий сюда генерал Головин, назначаемый начальником штаба верховного главнокомандующего. Наступление будут вести Сахаров и Лебедев, причем последнему дадут всех казаков. Совершенно не понимаю, какое наступление возможно с остатками наших развалившихся армий и при полном отсутствии каких-либо резервов.

Имел двухчасовой разговор с Дитерихсом; он понимает недостатки существующей организации фронта, но

недостаточно решителен в вопросе сокращения старших штабов; к сожалению, он усвоил себе сибирскую точку зрения на то, что гражданская война требует старших начальников, ходящих в атаку с винтовкой в руке. Положение армий он учитывает неправильно, но считает себя непогрешимым авторитетом, подчеркивая, что все последнее время он провел в самой гуще войск и отлично знает их состояние и настроения.

Приходил ко мне порядочно выпивший Иванов-Ринов и в пьяной болтливости высказал несколько весьма характерных мыслей из своей системы управления:

1. Предать суду и публично расстрелять некоторое количество спекулянтов (конечно, жена его казачьего превосходительства, привозившая с Дальнего Востока товары вагонами, ничего не платя за провоз, а потом публично продававшая их в Омске по кубическим ценам, к числу спекулянтов не относится).

2. Устраивать постоянные облавы на офицеров и чиновников, причем известный процент захваченных тут же расстреливать.

3. Объявить поголовную мобилизацию, ловить уклоняющихся и тоже расстреливать.

Симпатичная идеология, непредвиденная даже Щедриным, изобразившим в «Истории одного города» самые разномастные типы российских помпадуров; несомненно, что в лице этого отставного Держиморды Совнарком потерял замечательного председателя чрезвычайной комиссии, который затмил бы славу Дзержинского и К^о.

И однако этот городской вылез на ампула общего спасителя, и на него с надеждой и упованием взирает вся посеревшая от страха буржуазная слякоть и ждет, что сей рыкающий лев наверняка избавит ее от красного кулака.

12 августа. Аппетит Иванова-Ринова по части денег и материалов не знает предела; он чувствует себя полновластным хозяином положения и не стесняется, хватка у него по этой части настоящая казачья. Сначала говорилось, что казакам нужны только одни винтовки, но это было повторением рассказа о приготовлении щей из топора; за винтовками посыпались требования, подкрепляемые весьма недвусмысленными угрозами на случай неисполнения, и ко вчерашнему дню сибирскому войску выдано: 102 миллиона рублей, все снабжение летнее и зимнее на 20 тысяч человек, седла, упряжь, значительная часть обоза и обозных лошадей.

Все наличие идет казакам; снабжение полураздетой и потерявшей свои запасы армии фактически приостановлено; на мои заявления получаю приказания прежде всего удовлетворить казаков.

Исполняю приказы и вспоминаю рассказы свидетелей такого же поголовного выхода оренбургских казаков, получивших всякое пособие и снабжение, а потом расплывшихся по своим станицам.

Кроме казны, Иванов-Ринов не забыл и буржуев; биржевым комитетам Сибири почти приказано дать деньги для вспомоществования казакам.

13 августа. Вернулся домой в 4 часа утра; в 11 часов ночи началось знаменательное закрытое заседание совета министров; грозность положения смыла сразу весь глянец искусственно дружеских отношений, и началась грызня, обвинения и уязвления.

Гинс обрушился на заместителя председателя совета министров Тельберга и на совет верховного правителя с яркими обвинениями в олигархии, в проведении указов задним числом и т. п. Это развязало языки. 10 месяцев совет министров был только фиктивной властью, исполняя все то, что было угодно Михайлову, Сукину и К°, все насущные вопросы государственной жизни решались в секретных заседаниях пятерки министров-переворотчиков, членов совета верховного правителя, причем остальные члены совета министров совершенно не знали, что делается в этом тайном совете и какие решения там принимаются; это была настоящая дворцовая камарилья, пленившая представителя верховной власти, помыкавшая им по своему желанию и управлявшая его именем.

В своем нападении Гинс воспользовался тем, что Тельберг, недовольный, что совет министров не принял его редакции проекта совета обороны, а утвердил его в иной, неугодной Тельбергу, редакции, добился подписания адмиралом указа, утверждающего совет в тельберговской редакции, причем для получения права первенства и преимущества над оставшейся, таким образом, за флангом редакцией совета министров указ верховного правителя был помечен задним числом (7 августа) по сравнению с днем соответственного заседания совета министров.

Трудно найти название этому поступку, совершенному заместителем председателя совета министров, министром юстиции и генерал-прокурором ради удовлетво-

рения своего самолюбия и ради того, чтобы настоять на своем (при этом очень характерно, что по тельберговской редакции права совета обороны передавались совету верховного правителя, т. е. той же олигархической пятерке).

Я вполне разделял мнение Преображенского и других уважающих себя министров о необходимости всему составу совета министров немедленно же подать в отставку, ибо происшедшим совет министров доведен до последней степени унижения, и дальше идти некуда.

Тельберг всячески вывертывался, но факт настолько ясен, что было неловко слушать эти жалкие оправдания.

Гинс поставил на голосование, доверяет ли совет министров совету верховного правителя, который ведет свою собственную политику, не считаясь совершенно со всем правительством; это предложение, конечно, не получило большинства, ибо за Михайловым всегда стоит квалифицированное большинство в нашем совете.

Предложение Преображенского о выходе правительства в отставку было также смазано под предлогом, что это отразится на настроении страны и флота; думаю, что и та и другой встретили бы наш уход с ликованием, хотя бы потому, что в этом крылась бы надежда на перемену неудачного курса и на улучшения.

Государственный контролер внес предложение обратиться непосредственно к верховному правителю с запросом по поводу участвовавших за последнее время единоличных указов, выпускаемых по таким случаям, в которых нет ничего спешного, чрезвычайного и что может быть проведено нормальным порядком через совет министров; предложение это также большинства не получило.

Постепенно страсти разгорелись, свалились все фнговые листы; во всей безнадежности представилась разрозненность, хилость и дряблость правительства, пестрота его членов, искусственность состава, ничтожество председателя...

Вообще заседание было на редкость колючее: в начале его Устругов заявил, предъявив документальные доказательства, что Сукин передал союзным комиссарам, как уже подписанные всеми русскими представителями, официальные копии им самим, Сукиным, составленного протокола совещания по железнодорожным делам, в котором — вопреки нашим интересам и вопреки известному ему несогласию тех лиц, подписи которых он поме-

стил, союзному комитету представлялось полное правое распоряжение всеми нашими железными дорогами.

Сукин нагло вывертывался, но, видя, что против очевидности идти дальше нельзя, и даже не покраснев, самым нахальным образом заявил, что протокол уже в руках союзников, изменить его нельзя и поэтому надо искать какой-нибудь компромиссный выход.

Заявление Устругова замяли, молча выслушали наглое заявление Сукина и ничем дальше на него не реагировали.

Сегодняшнее заседание — это апофеоз всей деятельности нашего совета, упали все ризы и стали видны все кости, все изъяны и язвы.

Когда возвращались домой, я весь трясся от негодования, а мой спутник Преображенский меня успокаивал и повествовал о том, что все у нас управлялось организованной компанией из восьми министров, возглавляемых Михайловым, делавших все, что нужно было им самим, их честолюбию и поддерживавшим их кругам, кружкам, союзам и организациям. Дикими в совете, оказывается, считались я, Устругов, Шумиловский и Преображенский.

Пошел в министерство, не ложась даже спать; после такого заседания не до сна; меня как с головой окунули в помойную яму. Несчастный, слепой, безвольный адмирал, жаждущий добра и подвига и изображающий куклу власти, которой распоряжается вся та компания, с внутренними достоинствами которой я сегодня познакомился.

В армии развал; в ставке безграмотность и безголовье; в правительстве нравственная гниль, разлад и засилье честолюбцев и эгоистов; в стране восстания и анархия, в обществе паника, шкурничество, взятки и всякая мерзость; наверху плавают и наслаждаются разные проходимцы, авантюристы. Куда же мы придем с таким багажом!

14 августа. Был в ставке; видел много офицеров, прибывших с фронта с разными поручениями, преимущественно по части снабжений; встретил нескольких старых знакомых по немецкому фронту и послушал их рассказы о состоянии армий; общее заключение, что присылаемые укомплектования могут при умелом обращении дать весьма сносных солдат, но зато большинство присылаемых офицеров ниже всякой критики; наряду с небольшим числом настоящих дельных офицеров прибы-

вают целые толпы наружно дисциплинированной, но внутренние распушенной молодежи, очень кичащейся своими погонями и правами, но совершенно не приученной к труду и к повиновению долгу; умеющей командовать, но ничего не понимающей по части руководства взводом и ротой в бою, на походе и в обычном обиходе. Очень много уже приучившихся к алкоголю и кокаину; особенно жалуются на отсутствие душевной стойкости, на повышениую способность поддаваться панике и унынию; свидетельствуют — что мне говорили и раньше и что отмечено в донесениях посылаемых мной на фронт офицеров, — что очень часто неустойчивость и даже трусость офицеров являются причинами ухода частей с их боевых участков и панического бегства. Мне показывали донесение начальника ижевского гарнизона, в коем отмечалось, что задолго до прихода на Ижевский завод отходивших через него войск он наполнился десятками бросивших свои части офицеров, которые верхом и на повозках удирали в тыл.

Дитерихс добился наконец, что армии доставили сведения о действительной их численности; оказывается, что у нас около пятидесяти тысяч строевых чинов при трехстах тысячах ртов; в армиях боевого элемента не больше 12—15 тысяч человек в каждой, т. е. примерно около дивизии хорошего состава.

Я очень удивлен малой решительности Дитерихса по части уничтожения ненужных высших войсковых соединений; нелепо иметь на 50 тысяч бойцов несколько десятков штабов армий, групп, дивизий, бригад; реорганизацию армий надо было начать с беспощадного уничтожения из лишних штабов. Говорят, что это, однако, невозможно, ибо подлежащее упразднению начальство этого не хочет и не допустит.

16 августа. Иванов-Ринов обобрал все наши склады, и я бессилён помочь фронту; я делаю наряды для отправки на фронт, но о них узнает этот пронырливый казак, и все попадает в его обширные лапы; малейшая задержка вызывает жалобы адмиралу с угрозой, что это отражается на выходе сибирских казаков на испеление красных; в результате на каждого выходящего казака взято по пять и по шесть комплектов и летнего и зимнего обмундирования, а на фронте войска голы и босы.

В организацию снабжения казаков пущена полная автономия с демократическим соусом в виде дружбы

и совместной работы с общественными организациями; в известные времена наши полицейские администраторы всегда любили такие демократические соусы как средство сдобрить непрезентабельный вкус их привычных, основных блюд.

17 августа. В совете министров Сукин сделал первый доклад о деятельности своего министерства. Между прочим, доклад подтвердил то, о чем я мельком слышал раньше от Преображенского и что оказалось ужасным по своим последствиям; это было самодовольное, с подчеркиванием его величия и значения, заявление нашего дипломатического руководителя о том, что два месяца тому назад генерал Маннергейм предлагал верховному правителю двинуть на Петроград сотысячную финскую армию и просил за это заявить об официальном признании нами независимости Финляндии.

С сияющим и гордым видом Сукин заявил, что Маннергейму был послан такой ответ, который отучил его впредь обращаться к нам с такими дерзкими и неприемлемыми для великодержавной России предложениями: по сияющей физиономии и по всему тону сообщения было видно, что главную роль в этом смертельно-гибельном для нас ответе сыграл наш дипломатический вундеркинд. Я не выдержал и громко сказал: «Какой ужас и какой идиотизм», чем вызвал изумленные взгляды своих соседей.

Теперь для меня стала ясна та неразбериха, которая была в начале лета с вмешательством Финляндии и с занятием Петрограда и о которой я смутно слышал в оперативном отделе ставки. Ведь если бы не кучка безграмотных советников, вырвавших у адмирала то решение, коим гордо хвастался сегодня Сукин, то теперь Россия была бы свободна от большевиков, не было бы уральского погрома и над нами не висели бы те грозные тучи, которые временами застилают последнюю надежду на благоприятный исход.

Ярко характерно то, что такое решение принято даже без осведомления о нем совета министров, то есть того, что по букве закона считается правительством и несет на себе всю ответственность; видно, до чего доходила наглость этой пятерки, захватившей власть и не считавшей даже необходимым соблюдать хотя бы внешнее приличие по отношению ко всему совету министров.

Ужас, злоба и негодование охватывают по мере

того, как раскрываются внутренние язвы того, что является нашим правительством и что позволяет себе брать в свои руки управление страной в такие тяжкие времена.

Смешно говорить о каких-то законах истории, когда всю эту историю может свернуть такое жалкое ничтожество, как какой-то очень юркий и краснбайный секретарь вашингтонского посольства, как назло швырнутый судьбой в Омск, быстро пришедшийся ко двору при омском градоначальстве и феерично выбравшийся в руководители всей нашей иностранной политики.

20 августа. Адмирал за последнее время несколько раз был в третьей армии, и это очень усилило положение Сахарова, который очень импонирует адмиралу своей решительностью, категоричностью, наступательными тенденциями и оптимизмом; это обстоятельство мешает работе Дитерихса, который довольно решительно реорганизует остальные армии, но как-то избегает касаться третьей армии, продолжающей до сих пор состоять из десяти дивизий; часть этих дивизий не насчитывает и 500 штыков, но при всех неукоснительно состоят обозы по 4 и 4¹/₂ тысячи повозок и при 6—8 тысячах нестроевых.

Подъезжая к Лебяжьей, видели вереницы этих обозов, отходившие на восток; на подводах бабы, дети, масса домашнего скарба; масса тарантасов с дамами и детьми. Все это тщательно вывезено, а артиллерия, пулеметы и средства связи потеряны; по данным начальника инженеров, при отступлении брошены десятки тысяч верст телеграфного и телефонного кабеля; обычная картина безудержного отступления, когда бросается все, предназначенное для боя, и сохраняется все ценное для брюха и для кармана; ведь и на большой войне мы видели, как сначала бросалась лопата, потом патроны и винтовки, но бережно сохранялся вещевой мешок.

Недалеко от штаба армии расположен полевой госпиталь, находящийся в самом ужасном состоянии; больные и раненые валяются в пакгаузах, стоящих среди луж зеленой жижи, которая все время пополняется производимыми тут же естественными надобностями больных, половина которых тифозны.

Раненые валяются на грязных и колючих досках без всякой подстилки; единственный на весь госпиталь доктор и две сестры сбились с ног от непосильной работы;

вместо чая дают какую-то жидкую грязь, хлеб черствый.

Зато рядом в штабе помещается санитарный инспектор армии с порядочным штатом докторов и фельдшеров, пишущих на машинках.

21 августа. За завтраком у адмирала видел весьма юного генерала Косьмина, из недавних поручиков, убежденного сторонника того, чтобы все старшие начальники сами ходили с винтовками в штыковые атаки или прикрывали отступление.

Этот абсурд самым прочным образом укрепился на фронте, и им так нафаршировали адмирала, что он сам готов взять винтовку и драться наравне с солдатами; я уверен, что он проклинает омскую работу, которая мешает ему устремиться на фронт и показать тот идеал начальника, который ему рисовали и рисуют; это объясняет его частые поездки на фронт, ибо он боится, чтобы его не упрекнули в отсиживании в тылу.

Вечером адмирал разговаривался на политические темы и выказал свою детскую искренность, полное непонимание жизни и исторической обстановки и чистое увлечение мечтой о восстановлении великой и единой России; он смотрит на свое положение как на посланный небом подвиг и непоколебимо убежден, что ему или тому, кто его заменит, удастся вернуть России все ее величие и славу и возвратить все отпавшие и отторженные от нас земли.

22 августа. (20 августа автор вместе с Колчаком выехал на фронт.) По дороге встретили массы отходивших обозов, шедших в большом внешнем порядке; на каждой повозке по 1—2 здоровенных солдата с винтовками — это многочисленные обозные и нестроевые; физиономии у всех весьма пухлые, и никаких военных тягот и лишений на них не видно, в этом резкая разница с подтянутыми, сухими и обожженными лицами ижевских стрелков и офицеров; точно так же большинство обозных одето щеголями сравнительно с ижевцами.

Войсковые части тоже злоупотребляют подводами, требуя их от населения; это очень раздражает местных жителей, так как их отрывают от полевых работ по уборке сена и хлебов, уродившихся в этом году так, как не бывало уже много лет; лошади и повозки остро нужны самим крестьянам, так как обычная здесь уборка машинами сейчас невозможна вследствие неполучения запасных частей, шпегата и машинного масла.

Убедился, что сведения о гомерических размерах войсковых обозов не преувеличены; есть полки с обозом свыше тысячи повозок, и армейское начальство бессильно бороться с этим злом; можно по этой части отдавать любые распоряжения о сокращении, но никто их не исполнит.

Все обозные и тыловые должности переполнены сверх штата, что самым тяжким образом отражается на довольствии и снабжении строевого состава.

Все это результат деятельности 25- и 28-летних генералов, умеющих ходить в атаку с винтовкой в руке, но совершенно не умеющих управлять своими войсками, придавать им правильную организацию и не позволять им обращаться в сплошные обозы.

То, что увидел и узнал за эти три дня, вполне подтвердило те выводы, к которым пришел еще в Омске по отношению к невозможности для нас наступления. Нельзя наступать, не имея пехоты, ибо в так называемых дивизиях — по 400—700—900 штыков, а в полках — по 100—200 штыков; нельзя забывать, что надо занимать широкие фронты; а наши дивизии равны по численности батальонам. Нельзя наступать с растерянной артиллерией, почти без пулеметов и с остатками технических средств связи.

Сюда надо добавить совершенно расстроенный армейский тыл, не способный правильно довольствовать войска, даже при отходе их, на свои запасы; как же мы будем довольствовать при наступлении, когда вступим в район разрушенных железных дорог и истощенных и нами, и красными местных средств, т. е. попадем в такую обстановку, в которой правильная и налаженная работа тыла приобретает исключительно важное значение. Те обозы, которые я видел в эти дни, не могут работать правильно по кругообороту правильного подвоза, ибо это не военные обозы, а кочующие таборы; они нагружены разным добром, продовольственного груза принять не могут и, кроме того, так непомерно велики по сравнению с боевыми частями, что сами слопают все подвозимое.

Для Валяй-Сахаровых и им подобных полководцев все это пустяки; у них горизонты и масштабы не выше ротного командира, и им все это кажется так просто. Такие типы не новость для нашей армии; сколько мы видели их и в японскую, и в немецкую войну; для них тыл, снабжение и зависимость военных операций мас-

совых армий от вопросов подвоза и снабжения не существуют; они считают, что их дело приказывать и командовать, а об остальном обязаны заботиться интенданты и всякая тыловая шушера.

При посещении ижевцев впервые видел адмирала перед войсками; впечатления большого начальника он произвести не может; говорить с солдатами он не умеет, стесняется, голос глухой, неотчетливый, фразы слишком ученые, интеллигентные, плохо понятные даже для современного офицерства. Говорил он на тему, что он такой же солдат, как и все остальные, и что лично для себя он ничего не ищет, а старается выполнить свой долг перед Россией. Он роздал много наград, произвел десятки офицеров и солдат в следующие и офицерские чины, привез целый транспорт разных подарков, но сильного впечатления не произвел.

Он не создан для таких парадных встреч; вместе с тем я уверен, что если бы он объехал стоянки частей, посидел с солдатами, запросто пообедал, удовлетворил бы несложные запросы и просьбы, то впечатление осталось бы глубокое и полезное.

25 августа. Свита адмирала позволяет себе делать очень печальные для авторитета власти распоряжения; сегодня утром остановили оба эшелона адмиральского поезда на забитом разъезде только потому, что иначе адмирал не успеет побриться до прихода поезда на станцию Петропавловск.

Адмирал этого и не подозревал, а между тем это на 1½ часа задержало всю эвакуацию заваленного эшелонами и грузами Макутинского узла.

26 августа. Неприятно смотреть на висящую в моем кабинете огромную карту, на которой заведующий сводками офицер наносит красными точками пункты и районы восстаний в нашем тылу; эта сыпь делается все гуще и гуще, а вместе с тем все слабее становится надежда справиться с этой болезнью.

Говорил на эту тему с Пепеляевым; он очень озабочен затруднениями по части организации отрядов особого назначения и не скрывает, что нравственный уровень их личного состава очень невысокий; все лучшее забрано фронтом и центральными управлениями.

Пепеляев составил себе очень хороший, но очень запоздалый план объезда наиболее важных областей Сибири для того, чтобы на месте, путем непосредственного общения с населением, выяснить причины недовольства

и восстаний и меры, необходимые для успокоения края; по его сведениям, главными заправителями всех восстаний являются новоселы, преимущественно столыпинские аграрники, плохо устроившиеся в Сибири и мечтающие о том, как бы пограбить богатое старожильческое население Сибири, достаток которого разжигает их большевистские аппетиты.

Вкладывать персты в раны дело хорошее, но надо было заняться этим еще зимой. Теперь заниматься диагнозом столь очевидной болезни уже поздно.

27 августа. Состоялось мое назначение на должность военного министра с подчинением прямо верховному правителю; просил адмирала смотреть на меня как на временного заместителя, так как здоровье мое совсем плохо и я могу скоро совсем свалиться.

Фронт продолжал ползти назад; настроение в Омске, несмотря на все казачьи завывания, за последние дни сильно сдало; дутый подъем начала августа начинает падать и сменяться растерянностью и пессимизмом; тяга на восток делается все сильнее, так как «служебные и коммерческие дела» того требуют; много охотников получать разные командировки в восточном направлении для разрешения накопившихся там вопросов.

Отбыли на Дальний Восток и далее к Деникину недавно приехавшие оттуда генералы Лебедев 2-й и Нагаев; первый — набирать служащих, а второй — для еще более анекдотического поручения — провести сюда через Закаспий и Туркестан дивизию из уроженцев Сибири, которую он собирается сформировать у Деникина.

Для последней цели экстренно ассигновано около 80 миллионов рублей романовскими и керенками.

Кредит этот проведен через совет министров уже постфактум; впервые я не выдержал и, отбросив все приличия, высказал совету свой взгляд на такие командировки; высказал свое негодование по адресу ставки и авторов этого нелепого и невыполнимого проекта, ибо они, как офицеры генерального штаба, не могут не знать истории наших Туркестанских походов и всех исключительных условий движения и военных действий в тех краях; сказал, что только высокое место, в коем я присутствую, удерживает меня от того, чтобы назвать все это дело и его авторов тем названием, которого они заслуживают.

Тем не менее ассигнование было утверждено, и два превосходительных гастролера, отряса омский прах от

своих ног и получив 2000 фунтов стерлингов на расходы, плюс обобранные из всех казначейств десятки миллионов романовских, изволили отбыть обратно на юг.

30 августа. Имел длинную беседу с Головиным; доказывал ему необходимость принять исключительные меры по реорганизации фронта и по сокращению штабов и тылов. Мы представляем колоссальное туловище, пухлое и бессильное, с маленькими руками. Достаточно указать, что на красной стороне против нас работает один штаб армии, состоящей из 3—4 дивизий и 2—3 конных бригад; на нашей стороне штаб главнокомандующего, пять армейских штабов, одиннадцать штабов корпусных групп и, кажется, тридцать пять штабов дивизий и отдельных бригад.

Думается, что комментарии к этим цифрам излишни; думается также, что, не справившись с этим штабным злом, мы будем бессильны сделать вообще что-либо путное.

31 августа. Вечером состоялось заседание совета министров с участием адмирала; выяснилось, что казачья конференция, делавшаяся в последнее время все наглее и наглее, явилась к адмиралу и предложила ему принять на себя полную диктаторскую власть, подкрепив себя чисто казачьим правительством и оперевшись преимущественно на казаков. Сначала создалось очень острое положение, смягченное затем вмешательством соединенных общественных организаций; в результате все требования свелись к необходимости сокращения министерств, упрощения и ускорения правительственной работы и созыва совещательного собрания. Требования эти заявлены казачьей конференцией и всеми группами государственного экономического совещания, т. е. представителями внушительной и наиболее государственной части населения.

Я лично согласен со всеми этими заявлениями, но боюсь, что положение фронта и восстания в тылу делают их очень запоздалыми.

Обращаясь к совету министров, верховный правитель высказал свое неудовольствие по поводу разногласия в мнениях членов совета по многим важнейшим государственным вопросам; он подчеркнул, что недопустимо, чтобы решение принималось большинством одного голоса и перевесом голоса председателя.

Сказал он очень резко, затем сообщил о неудовлетворительном настроении и состоянии армии, объяснив

это, довольно для меня неожиданно, тем, что армия пропитана большевизмом.

Государственный контролер просил адмирала передать совету министров, какие именно требования были заявлены ему казачьей конференцией, так как об этом ходят по городу разные слухи и версии.

Адмирал, не давая ответа по существу, указал только, что он ответил казакам, что сейчас уже не время производить какие-нибудь реформы и перемены в составе совета министров, так как это может отразиться на «настроении армии».

1 сентября. Несмотря ни на что, на фронте началось наступление. Дитерихс взял на себя великую ответственность и поставил на карту последние сибирские ресурсы белой армии.

Я видел его у Головинна перед самым его отъездом на фронт и повторил ему тот же вопрос, который задал при первом с ним разговоре по поводу наступления: «А что же будет, если наступление не удастся?»

И он опять повторил, что «тогда придется разделиться на партизанские отряды и вновь начать то же, что было в 1918 году».

Я с удивлением посмотрел на этого главнокомандующего, так легко и просто решавшего судьбу России и армии и решавшего ее легкомысленно и ложно; ибо теперь уже не 1918-й, а осень 1919 года, и вся обстановка резко изменилась не в нашу пользу; теперь для нас, белых, уже немыслима партизанская война, ибо население не за нас, а против нас, немыслима она и потому, что на Сибирь надвигается регулярная красная армия и идут красные комиссары, уже специализировавшиеся на подавлении наших белых восстаний. Где же мы найдем оружие, патроны и пр. и пр.?

3 сентября. В ставке уверяют, что Дитерихс, Хрещатицкий и К^о задумали под видом стратегического резерва восстановить гвардейский корпус как основание будущего монархического переворота; поэтому-то все назначения в этот резерв делаются из бывших гвардейских офицеров.

При желании сварить жирные щи из старого топора в выдумках не стесняются.

Для чешско-русского хамелеона новый монархический вольт не представляет ничего особенного; в Кневе он именовал себя республиканцем, а в Сибири стал монархистом.

Тяжелое положение Омска делает семеновщину все более и более наглою; мой судный отдел и канцелярия комитета по охранению законности (председатель — министр юстиции) наполнены жалобами на грабежи и насилия, чинимые семеновскими агентами; китайский консул жалуется на постоянные случаи ограбления китайских купцов при осмотре их чинами контрразведки на станции Даурия; американский консул заявил многомиллионный иск от фирмы Вульфсон за захваченные Семеновым два вагона ценной пушнины. Телеграфирую, прошу Сырбаярского повлиять на Читу, но все бесполезно; такие язвы выжигаются только каленым железом.

Из Владивостока прислана краткая сводка деятельности Хорвата; очень характерно, как сам верховный уполномоченный и его ближайший антураж разобрали себе свободные земли Посъетского района; самому Хорвату отведен кус в восемнадцать тысяч десятин земли, одному из деятелей дальневосточного комитета, Тетюкову, — в двенадцать тысяч десятин, остальному антуражу — по важности и по способности.

К сожалению, это не выдумки контрразведки нового состава, опорачивающей старых владык, ибо подтверждено документами и официальными справками.

4 сентября. Подняли большую шумиху с поголовной мобилизацией бывших пленных из Карпаторуссии; к этому делу примазался Иванов-Ринов, заявивший, что этим путем он получит пехоту вдобавок к своему конному корпусу.

Бедных карпаторуссов стали хватать с помощью облав (Иванов-Ринов по этой части дока); благодаря этому Омск остался без хлебопек и ассенизаторов, так как миролюбивые и неприхотливые карпаторуссы специализировались по черному труду: узнав о принудительной мобилизации, они разбежались из Омска, и в риновские сети попала только часть.

Озлобление среди них страшное; их собрали на станции Куломзино, рядом с бараками, в которых помещаются семьи ижевских рабочих; на днях у меня были старики-ижевцы и сообщили, что озлобленные карпаторуссы ругают их за верную службу своей родине и, не стесняясь, говорят, что им только бы попасть на фронт, а там они расправятся с теми, кто их туда погнал, а сами уйдут к красным; те же отправят их домой.

Сообщил это 3-му ген-квару, прося обратить внимание, что это идет не из контрразведчичьих сфер, а общается стариками-рабочими, не способными на выдумку.

В результате новая глупость и новый вред: до сих пор у нас был добровольческий карпаторусский батальон очень хорошего состава, очень добросовестно несший на себе тяжелые наряды и караулы. Теперь эта надежная и прочная горсточка растворена в массе насильно согнанных и не желающих воевать людей.

В газетах моря платных восторгов по поводу «изумительного по своему единодушию поголовного подъема героев подъяремной Карпатской Руси на спасение родного русского народа». Платные перья всегда были особо подлы, а в теперешней гнилой атмосфере они побили все старые рекорды.

5 сентября. Вечером в совете министров узнал от Сукина, что он, по поручению адмирала, был у генерала Такаянаги, чтобы узнать, правда ли, что японское правительство требует обязательного назначения инспектором формирований Дальнего Востока ген. Хрещатицкого, связывая с этим назначением вопрос об оказании нам дальнейшей помощи.

По словам Сукина, Такаянаги был донельзя удивлен этими вопросами и ответил, что ни о чем подобном они никогда и не думали и что они не считают себя вправе вмешиваться в такие дела.

Таким образом открылась вся провокаторская махинация превосходительного спиртовоза.

Но тем не менее Хрещатицкий остается в распоряжении Дитерихса и предназначается на должность инспектора формирований в Омском округе.

Спрашивается, сколько же мерзостей надо сделать, чтобы над вами поставили, наконец, крест!

6 сентября. Капризное настроение Омска опять потемнело; присяжные оптимисты продолжают еще находиться под угаром «фронтовых побед», но тревожные нотки начинают проскальзывать уже даже у заправил ставки; мелкие успехи есть, но разгрома красных не только нет, но они сами начали нас кое-где теснить; лучшие наши части уже израсходованы, резервы подходят к концу, а красные не желают даже начать отступление.

Спрашивал ставку о причинах бездеятельности до сих пор конного корпуса; по секрету сообщили, что на-

ступление начато, не дожидаясь не то что развертывания, а даже сбора частей конного корпуса; это так ужасно, что не хочется даже верить возможности столь чудовищной оплошности; ведь ничто не требовало начать наступление в столько-то часов такого-то дня.

Отказываюсь понимать поведение Дитерихса; сам адмирал, конечно, тут ни при чем. Как мог допустить это Андогский, который, по званию профессора военной академии, обязан понимать, что значит подготовка операции и удачное для нее развертывание?

В ставке сознаются, что сбор казаков шел очень медленно; угар станичных постановлений, навешанных риновскими ситцами, подарками и пособиями, рассеялся, как только пришлось выходить на службу; но зато вылезли во всей будничной остроте жалость потерять хороший урожай, боязнь за семьи, страх за жизнь и пр. и пр.

Некоторые казачьи части сели в вагоны, забрав с собой жен и обильные запасы водки; по пути казачьего движения идет разгром наших продовольственных магазинов. Иванов-Ринов очень много шумел о том, что у него будет автономное и демократическое снабжение, но когда дело дошло до реального снабжения продовольствием и фуражом, то оказалось, что, кроме пустопорожного названия, у нашего наполеонистого Держиморды ничего не имеется. Скверно то, что все это свалилось на нас неожиданно; все берется по казачьей ухватке в двойной и тройной запас; забираются склады и вагоны, приготовленные для армии и для пополнения магазинов; индентант ходит как очумелый, но я приказал все давать и все разрешать, дабы хоть чем-нибудь не помешать быстрейшему сбору казаков.

Немало затруднений в деле заготовки снабжений чинят нам милые наши интервенты, любящие плотно и хорошо покушать; сейчас они навалились на ограниченные запасы средней Сибири и изрядно их подсасывают; конкурировать с ними мы не можем, ибо они выменивают необходимое им довольствие у населения на разные товары и этим привлекают к себе весь сбыт. Очень много жалоб на безобразия и насилия, чинимые польскими войсками в районе Новониколаевска; эти не стесняются грабить, производить насильственные фуражировки, расплачиваться по ничтожным ценам и захватывать наши заготовки, эшелоны и баржи с грузами.

На наши жалобы, обращенные к Жанэну, не полу-

чаем даже ответа; польское хозяйничанье особенно для нас обидно; чехам мы все же обязаны, и часть их дрались вместе с нами за общее дело; польские же войска создались у нас за спиной из бывших пленных и наших поляков, взявших с России все, что было возможно, а затем заделавшихся польскими подданными и укрывшихся от всяких мобилизаций и военных неприятностей в рядах польских частей.

Очень много нареканий на безобразия, учиняемые весьма экзотическими морскими командами речной флотилии; они разрушили нам весь план тюменской эвакуации, забрав приготовленные для нее пароходы; теперь они плывут по Оби, возмущая своими безобразиями местное население и забирая разные запасы.

11 сентября. Штаб Приамурского военного округа прислал заключение военного прокурора о деяниях хабаровского разбойника-атамана, или, как он назван в прокурорском заключении, мещанина Ивана Калмыкова. Заключение составлено на основании документов и свидетельских показаний; написано оно обычным для таких заключений кратким языком, причем одно изложение учиненных Калмыковым преступлений занимает около 20 страниц.

Я давно добивался этого документа, чтобы дать адмиралу оружие для начала борьбы с атаманами; сейчас все это запоздало, ибо хозяевами положения являются казаки и их конференция, определенно поддерживающая дальневосточных атаманов.

Доложил заключение адмиралу, дал прочесть Головину и послал помощнику военного министра по казачьей части для сообщения казачьей конференции; вечером мне сообщили частным образом, что, по мнению казачьих лидеров, делу надлежит не давать никакого хода, так как нельзя дискредитировать Калмыкова ввиду его «государственных заслуг». При этом сказано, что такое решение будет поддержано конференцией и будет окончательным, так как, ввиду автономий казаков и выборного звания атамана, никто не может привлечь Калмыкова к ответственности.

Десятки страниц этого заключения дают яркую картину преступного разгула наших белых большевиков — сухое, но наполненное ужасом и кровью перечисление злодеяний и гнусностей, совершенных хабаровским исчадием, «младшим братом» (он себя так всегда именовал) читинского атамана.

Было бы очень хорошо послать этот документ в Японию для непосредственного доклада императору; думаю, что тогда не поздоровилось бы тем японским генералам, которые добивались посылки хабаровскому убийце и разбойнику приветственной телеграммы от имени наследника японского престола.

16 сентября. Наступление выдохлось и замерло; кое-где продолжают небольшие стычки, и мы еще сохраняем свое положение; боюсь, что это продолжится недолго, а тогда вымотанные вконец части покатятся вновь назад. Остановить их и поддержать будет уже нечем; честолюбивые игроки израсходовали все ресурсы, уложили все резервы; то, что начали Лебедев и Сахаров, dokonчили Дитерихс и Андогский. И если грядущая катастрофа разразится и белое движение, начатое в Сибири полтора года тому назад, окончится полным крахом, то красные окажутся очень неблагодарными, если не поставят благодарственного памятника этим белым генералам и не наградят их заочно всеми красными наградами за деятельную помощь по сокрушению бирских армий.

Иванов-Ринов получил от адмирала Георгиевский крест за первый успех своего корпуса, а затем почил на лаврах; по сведениям ставки, он не исполнил шести повторных приказов Дитерихса и адмирала двинуться на Курган в тыл красных.

17 сентября. На фронте мы выдохлись окончательно и не без труда отбиваем переход красных к активным действиям; сводка отмечает усиление красных частей; больно и противно читать в ведомостях сводки про такие красные части, которые во фронтовых реляциях показаны совершенно уничтоженными.

Иванов-Ринов отказался окончательно исполнить приказ главнокомандующего о движении в тыл красных; здесь считают ошибкой, что Дитерихс не вызвал его к себе, как бы для получения инструкций, и не отдал приказа его заместителю; говорят, что дивизиями конного корпуса командуют молодцы, которые повели бы за собой свои части.

Иванов-Ринов крепко базируется на свое звание выборного атамана. В этом много скверного для настоящего и еще более опасного для будущего.

То положение, которое занял сейчас И.-Р. в Омске, заставляет особенно желать, чтобы правительство уехало в какое-либо более безопасное от таких влияний

место. Правительству надо быть подальше от разных честолюбий, особенно же военных и казачьих; омские перевороты достаточно это доказали.

18 сентября. Под чьим-то влиянием и ничего мне не говоря, адмирал не сдержал данных мне обещаний по моему докладу о невозможности ломать управление округами и дал согласие на проект Дитерихса и на назначение Хрещатицкого инспектором формирований на Дальний Восток.

Выяснено, что между дальневосточными атаманами идут оживленные сношения в связи с тяжелым положением Омска и правительства; атаманы считают, что наша песня спета (в Чите уже несколько раз праздновали взятие красными Омска и бегство правительства; то же было и в красных кругах Харбина и Владивостока), и приготавливаются делить остающиеся бесхозными ризы. Пока намечена полная автономия всего Дальнего Востока под главенством Семенова и под негласным протекторатом Японии; сейчас идет захват всех идущих с востока грузов; захват Семеновым первого эшелона золотого запаса, отправленного на Владивосток, обильно снабдил Читу золотой валютой и поднял атаманское настроение.

20 сентября. Ставка совершенно ошалела и проводит разные командировки, причем трудно даже сказать, какая из них наиболее нелепая. На днях ко мне явился присланный ставкой очень brave полковник, измысливший для себя командировку в Хиву и Бухару для руководства свержением большевиков и совместных затем действий против их тыла. Приказано ассигновать ему несколько десятков пудов серебряной монеты и выдать разное снабжение. В связи с этой командировкой в совет министров внесен проект правительственных грамот на имя эмира бухарского и хана хивинского, с тем, чтобы эти грамоты были вручены сему brave полковнику для передачи по назначению.

Вместо упрощения организации у нас идут все новые формирования; за последнее только время родились штабы южной группы (создана для устройства Лебедева), отдельного конного корпуса (создан ради честолюбия Иванова-Ринова), инспектора добровольческих формирований (для пропитания Голицына), инспектора стратегического резерва (для пропитания Хрещатицкого), но ничего не слышно по части сокращений.

При каждом штабе пышно расцветает контрразвед-

ка и осведомление, последнее почти обязательно с собственной газетой.

23 сентября. Получены сведения, что в ночь на 19-е во Владивостоке была произведена первая попытка устроить переворот, но неудачно. Розанов, несмотря на протест союзников, ввел в город надежные русские войска, и заговорщики сниксовали.

Ведь если подсчитать наш актив и пассив, то получается самый мрачный вывод «every item dead against you»; за нас офицеры, да и то не все, ибо среди молодежи много неуравновешенных, колеблющихся и честолюбивых, готовых поискать счастья в любом перевороте и выскочить наверх, на манер многих это уже проделавших; за нас состоятельная буржуазия, спекулянты, купечество, ибо мы защищаем их материальные блага; но от их сочувствия мало реальной пользы, ибо никакой материальной и физической помощи от него нет. Все остальное против нас, частью по настроению, частью активно.

Даже союзники — кроме японцев — от нас как-то отошли; чехи же определенно настроены против нас настолько, что ничто не гарантирует возможности их активной помощи эсеровскому перевороту, вопреки всяким гарантиям Жанэна и приказам Массарика.

24 сентября. Я имел случай беседовать с несколькими старшими священниками фронта, и они в один голос жалуются на пошатнувшиеся нравственные основы офицерства, преимущественно молодого, сильно тронутого переживаниями войны и революции; по мнению главного священника Западной армии, из восьми случаев насилия над населением семь приходится на долю офицеров (за исключением казачьих частей, где «пользование местными «средствами» составляет общий и непреложный закон»). Особенно возмущает население отбор офицерами лучших крестьянских лошадей и притом не для войск, а для торговли.

25 сентября. В ставке узнал подробности о причинах бездействия конного корпуса; Иванов-Ринов после первого удачного дела на Курган не пошел и посланных ему шести директив и телеграмм — из них две за подписью адмирала — не исполнил.

Дитерихс отстранил Иванова-Ринова от командования, но тогда, когда уже было поздно и когда общее положение на фронте исключило возможность успешного набега на тыл красных.

Иванов-Ринов прибыл немедленно в Омск, поднял всех своих сторонников, и по ультимативному требованию казачьей конференции его отрешение было отменено, и он с апломбом вернулся на фронт к своему корпусу. Яркое проявление импотентности и дряблости власти, засосанной омским болотом и находящейся в пленении у разных безответственных, всесильных организаций, во все мешающихся, но ни за что не отвечающих.

Такая власть не может существовать, ибо *sine qua* поп (необходимое условие) всякой власти это — ее сила.

Удивляюсь, как Дитерихс на это согласился; он ведь тоже реальная сила и имел право и возможность принять такой тон, с которым должны были бы считаться омские лягушки.

26 сентября. После обеда Сукин передал мне полученное им из английской миссии известие, что агенты Калмыкова убили во Владивостоке полковника Февралева; его схватили на улице среди белого дня, увезли за город и там застрелили. Таким образом исполнилась угроза, которая висела над несчастным Февралевым больше полугода, и отвратительный хабаровский разбойник «вывел в расход» (специальное выражение Читы и Хабаровска) опасного кандидата на звание атамана.

Нокс возмущен до глубины души и заявил, что он готов открыто отказаться от поддержки такой власти, которая не в состоянии предупредить такие гнусные убийства. Всецело разделяю его негодование.

Сообщил об этом убийстве казачьей конференции; телеграфировал Розанову о розыске и предании виновных военно-полевому суду; телеграфировал Семенову, выразив надежду, что он, по званию походного атамана дальневосточных казаков, примет все меры, чтобы не осталось без примерного наказания убийство одного из старших и лучших уссурийских казаков, кем бы оно ни было совершено.

Печальное положение той власти, которая не может расправиться с такой гнусностью, а именуется Всероссийской и заботится о великодержавии России¹.

¹ 29 сентября автор дневника заболел и, пролежав две недели, уехал в Томск, а затем в Харбин для лечения. Возвратиться к своему посту ему не было суждено, так как уже 15 ноября Омск был занят Красной Армией.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>СЛЕДУЯ КРЕСТНОМУ ПУТИ. Предисловие Павла Горелова</i>	3
Роман Гуль. Ледяной поход (С Корниловым)	
Часть первая. С фронта — до Ростова	19
Часть вторая. От Ростова до Екатеринодара	49
Часть третья. От Екатеринодара до Новочеркасска	82
А. И. Деникин. Поход и смерть генерала Корнилова	
Первый Кубанский поход	101
Поход к Екатеринодару	115
Поворот на юг	124
Поход в Закубанье	132
Судьба Екатеринодара	142
Ледяной поход	148
Штурм Екатеринодара	157
Смерть Корнилова	169
Барон А. Будберг. Дневник	
1918 год	172
1919 год	240

Гуль Р. Б.

Г 94 Ледяной поход. Деникин А. И. Поход и смерть генерала Корнилова. Будберг А. Дневник. 1918—1919 годы. — М. : Мол. гвардия, 1990. — 318[2] с.

ISBN 5-235-01493-6 (2-й з-д)

Сегодня наконец мы осознали необходимость восстановления нашей истории, культуры во всей полноте. На родину возвращаются книги русских писателей, критиков, философов, историков, по воле роковых обстоятельств вынужденных жить и работать в эмиграции. Пришло время открыть и всю многомерность трагедии братоубийственной гражданской войны. В книге собраны документальные произведения участников белого движения — Романа Гуля, прапорщика Добровольческой белой армии на Дону; генерала А. И. Деникина, одного из ее руководителей; бврона А. Будберга, члена колчаковского правительства на Дальнем Востоке, — которые безусловно расширяют наши представления о сложном периоде отечественной истории.

Г 4702010000—156
078(02)—90 — **КБ—008-043-90**

ББК 63.3(2)712

ИБ № 7094

Гуль Роман Борисович

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД

Деникин Антон Иванович

ПОХОД И СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА

Будберг А.

ДНЕВНИК. 1918—1919 ГОДЫ

Заведующий редакцией С. Нонин

Редактор Л. Калюжная

Младший редактор Е. Ширялина

Художник А. Хисимиидинов

Художественный редактор В. Федотов

Технический редактор З. Ахметова

Корректоры Е. Дмитриева, В. Нвзарова, М. Пензяков

Сдано в набор 09.01.90. Подписано в печать 26.04.90. Формат 84X108¹/₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,22. Уч.-изд. л. 18,1. Тираж 200 000 экз. (100 001—200 000 экз.). Цена в переплете 1 р. 50 к. (100 000 экз.), в мягкой обл. — 1 р. 20 к. (100 000 экз.). Изд. № 1008. Заказ 0—276.

Набрано и сматрицировано в типографии ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 103030, Москва, Суцевская, 21.

Отпечатано на полиграфкомбинате ЦК ЛКСМ Украины «Молодь» ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»: 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—44.

ISBN 5-235-01493-6 (2-й з-д)



1 р. 20 к.

